

Евгения Гинзбург

КРУТОЙ

МАРШРУТ



1

9

3

7

Евгения Гинзбург

**КРУТОЙ  
МАРШРУТ**

**ХРОНИКА  
ВРЕМЕН  
КУЛЬТА  
ЛИЧНОСТИ**



РИГА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ  
«КУРСИВ» — ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ  
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЛССР  
1989

63.3 (2) 72  
Г 492

Оформитель обложки С. Тяжелова  
В оформлении использован плакат  
Ю. Димитерса «1937 год».

Г 0503020000—838—89  
М 801 (02)—89

© «Даугава», 1988—1989  
© Издательство ЦК КП Латвии, 1989  
© «Курсив» — Творческая фотостудия  
Союза журналистов ЛССР, 1989



## О МАТЕРИ

*Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?*

Б. ПАСТЕРНАК  
«Свидание»

*«У меня отняли восемнадцать лет, а Взморье мне их вернуло... море... сосны... воздух... культура...» — говорила моя мать Евгения Семеновна Гинзбург. Любила она эти места благолепия, где, пешком измеряя километры песчаного берега от Лиелупе до Яундубулты, осуществляла уже созревшую, начиная с Кольмы, первую часть хроники времен культа личности «Крутой маршрут». А если кто-то был рядом, читала вслух любимые стихи (равных ей по знанию наизусть я не знала). Такая сдержанная, деловая в Москве, она в Юрмале удивительно молодела, остро чувствовала все самые маленькие радости жизни... «Море... сосны... воздух... культура...»*

*Приехали мы в Ригу в 1958 году, после жутких квартирных мытарств, летом, уже с очень больным отцом Антоном Яковлевичем Вальтером (я приемная их дочь, но для меня они — Отец и Мать). Это было в Лиелупе, дом у реки, отец на раскладушке в сосновом лесу и мать, которая ему читает первые главы своей трилогии. Удивительно умела она каждый свой миг использовать для любимого дела — писать, и это было ее счастьем и спасением от всех бед. После смерти А. Вальтера в 1959 году жила в Булдури у Вильгельмины Ивановны Руберт (муж ее, секретарь Свердловского обкома, был арестован и расстрелян), с которой мать прошла Эльген. Удивительная, умнейшая женщина — ее нет уже в живых. Когда мама останавливалась у Вилли (так Е. Гинзбург называла В. Руберт) в двухэтажном деревянном доме — все наполнялось юмором и жизнью от этих эльгеновских подруг, прошедших вместе адовый маршрут. До позднего вечера мать читала главы из своих черновиков, и я и дети Вилли слушали, замерев, — так страшно, но с такой артистичностью и заразительностью она это делала. А какая необыкновенная рассказчица! С юмором и озорством зачитывала из своей записной книжечки наблюдения-зарисовки...*

*В 1962 году Е. Гинзбург отдала первую часть и часть второй своей книги в «Новый мир» и в «Юность». К 1966 году все надежды на публикацию, все замечательные отзывы Каверина, Аникста, Горелова, Эренбурга, Чуковского, Пастернака, Паустовского, Пановой, Евтушенко, Вознесенского и многих других — все это рухнуло...*

*Для матери было потрясением издание ее книги в Милане (изд-во «Мандадори», 1967). Как? Каким образом? Рукопись «... без моей правки, без всякого моего участия в издании... — Е. Г.» — пустилась в новый маршрут... Как потом выяснилось, на магнитофонную пленку был наговорен текст и вывезен за границу. Очень горько, тяжело перенесла она это — почему не на Родине, а Там? «Книга стала чем-то вроде*

взрослой дочери», безоглядно пустившейся «по заграницам», начисто забыв о брошенной на Родине старухе-матери. — Е. Г.»

Уже писалась третья часть книги, мама приезжала в Москву из своей Юрмалы и в очень узком кругу, в основном из оставшихся в живых политкаторжан, проверяла написанные главы. Из своей квартиры рукопись «Крутой маршрут» не выпускалась, сработал Великий Страх, который сопутствовал ее поколению . . . До конца жизни мама под подушкой в сумке держала свой паспорт и партийный билет и куда бы она ни выходила — носила с собой. На подтрунивание близких она отшучивалась: «Без бумажки ты — букашка». Чего ей стоил этот паспорт?! Чего ей стоила партийная реабилитация?!

Каждый день в десять утра она садилась за машинку — ежедневный труд, ее радость . . . Трилогия «Крутой маршрут» была закончена, мама торопилась успеть — и успела . . . Было много планов, обдумывалась новая книга — но увя . . . Уже «море . . . сосны . . . воздух . . .» — все это было недоступно ей: страшные физические боли, страдания уничтожали ее . . .

Семнадцать лет мама приезжала в Ригу, и когда я прохожу по ее местам в Юрмале, я думаю: пусть будет благословенно это «море . . . сосны . . . воздух . . . культура . . .» и низкий поклон всем тем людям, с которыми прошла так много бед и унижений эта красивая, мужественная женщина — Евгения Семеновна Гинзбург.

Антонина АКСЕНОВА

*И я обращаюсь  
к правительству нашему  
с просьбой:  
удвоить,  
утроить  
у этой плиты караул.*

ЕВТУШЕНКО

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?

Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой природы, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

# ЧАСТЬ I

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж — Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепу, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.



Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то — коммунист . . .

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? — Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» — значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, — все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

... И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забжавшего в комнату. И горвит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела, по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумыч?

— Все. Все конечно. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т. д.

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется, с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и

стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

— Профессора-то нашего... рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в февралье 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором

мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедшей под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него . . .

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишним лет, до самого XX съезда партии, или по крайней мере до сентябрьского Пленума 1953 года.

. . . В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

— Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

— Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

— Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

— Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

— Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастала роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому

времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидание ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

— За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») — поставить на вид «недостаточную бдительность».

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### СНЕЖНЫЙ КОМ

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем — Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных, он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м, когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря.

— Михаил Осипович, вам ночью воробьи глаза выклевали. Посмотрите, на Черном озере!

Летом в «Ливадии» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

— Это что еще за рыжий Мотеле? — шепотом спросила я мужа.

— Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по-партийному на «ты».

— Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

— Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

— Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убеждать Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала.

— Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов . . .

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь, в сущности, я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

— Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию . . .

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым.

Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюты излучали открыто сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал. Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеки от тех, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели! Правовевацкие уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю эти свои переживания периода «прелюдии» с тем, что довелось вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума ЦК, разоблачившего Берия, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолятора или пилила вековые деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Преследовала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая история коммунистки Питковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 г. Питковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики . . . Кожаные куртки . . . Энергично функционировать . . .» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не звал по имени. Питковская! Ее



можно было нагрузить партработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство! Самоотверженной натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской — Донцов — примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская.

Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула:

— Так он лгал мне? Так он все-таки шел против партии?

Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:

— Бельшишко ему соберите . . .

Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кровати спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загродила кровать:

— У моего сына нет отца.

Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии.

Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодях, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках — не умещалась в этом чистом, угловатом сердце.

На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и

была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения: «За связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: это идет к нам Питковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении и «связь с Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту наткнулось на подленький страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила стакан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за примиренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую работу.

Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### «УМА — ПАЛАТА,

### А ГЛУПОСТИ — САРАТОВСКАЯ СТЕПЬ . . .»

Моя свекровь Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве, простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам

жизни. Говорила она на певучем южно-русском наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему царю Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое «И это пройдет», наша бабушка, выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила: «Такое-то уж было...»

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова.

— Такое-то уж было...

— Как это было?

— Да так. Царя-то ведь уж убивали... (Она имела в виду ни больше ни меньше как убийство Александра II). В ту пору я еще молоденька была... А только сейчас чегой-то не туды стреляли-то... Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин... Пошто в Кирова-то? Ну, да это дальше видать будет...

До мельчайших подробностей помню день первого сентября 1935 года, когда я, снятая партколлекцией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь или училась или учила других. День первого сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отверженная, а с улицы доносятся привычные звуки возрождающейся после лета жизни вузов, школ. Шумит Казань — город студентов. Но я не войду больше под колонны родного университета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздастся резкий звонок и торопливый бабушкин голос:

— К тебе, Евгенья-голубчик. Выдь-ка...

В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов — астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчишка. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая:

— Да ты ж, моя болезная... Да ты ж, моя головушка бедная...

Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит:

— Отчаянные головушки, студенты-то... Що им за те цветы еще будет... Евгенья-голубчик, а я тебе що скажу... А ты мене послухай, хочь я и старая и неученая... Капкан, Евгенья,

капкан круг тебе вьется . . . Беги, покудова цела, покудова на шею не закинули. Ляжить пословица — с глаз долой, из сердца вон! Раз такое дело, надо тебе отсюда подальше податься. Давай-козь мы тебя к нам, в сяло, в Покровское, отправим . . .

Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения.

— Право слово . . . Тамotka таких шибко грамотных, как ты, дюже надо. Изба-то наша стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони . . . Пятнадцать корней.

Я прислушиваюсь.

— Что ты, Авдотья Васильевна? Как же это я все брошу: детей, работу?

— А с работы-то вишь и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.

— Да ведь я должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?

— Евгенья-голубчик . . . Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту-то свою доказывать станешь? До бога высоко, до Сталина — далеко . . .

— Нет, что ты, что ты . . . Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду . . .

— Эх, Евгенья-голубчик! Ума в тебе — палата, а глупости — саратовская степь!

Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего «баба рязанская».

Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля, мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напоминавшим вариант Авдотьи Васильевны.

Там, на Ильинке, встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми в «сеть Люцифера». В очереди у кабинета партследователя я встретила знакомого молодого врача Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности, и теперь он доверительно рассказал мне о своей «чертовщине». Он тоже «не проявил бдительности», и, наоборот, «проявил гнилой либерализм». Он тоже куда-то «объективно скатился» и т. д.

— Слушай, Женя, — сказал он мне. — А ведь если вдумать-ся, дела наши плохи. Хождение на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например, если бы я спел тебе популярный романс «Уйдем, мой друг, уйдем в шатры к цыганам»?

Его синие белки сверкнули прежним озорством.

— Еще можешь шутить?

— Да нисколько! Ты послушай. Я цыган натуральный, ты тоже вполне сойдешь за цыганку Азу. Давай исчезнем на энный период с горизонта. Для всех, даже для своих семей. Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке. Дескать, П. В. Аксенов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга . . . Ну и так далее. Пожалуй, тогда твоему Бейлину волей-неволей придется сдать дело в архив. А мы с тобой присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные туристы, пока волна спадет. А?

И это, по сути дела мудрое предложение показалось мне авантюристским, заслуживающим только улыбки. А между тем несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические, районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, который фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к «группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов, прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки здорово просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, те, над кем не довлела почти мистическая сила «формулировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные доказательства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожащими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли «ума — палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Он был удивительно противоречив для меня, этот последний год моей первой жизни, оборвавшейся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон. Шли процессы. Процесс Зиновьева — Каменева. Кемеровское дело. Процесс Радека — Пятакова.

Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впились в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должна была тоже иметь своих «врагов», чтобы не отстать от центра. Как в любой кампании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это... Почти весь этот год я прожила в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть. Таковы были гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз в жизни видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его.

Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше чем «без обожания». Правильнее будет сказать — с затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня в этом отношении! Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть

религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое исступление, с которым она шептала: — Видела Сталина. Теперь можно и умереть . . .

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово: «идиотка»!

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с Хозяином» о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе.)

. . . Самые различные характеры встречались среди «меченых», штурмовавших коридоры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди, покорно ждущие решения своей судьбы; и были люди, переходящие в наступление на партследователей. Вот рядом со мной томится на деревянном жестком диванчике директор одного из харьковских заводов.

— Прошу!

Это он протянул мне раскрытый портсигар.

— Спасибо. Не курю.

— Как — не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем же вы тогда это самое . . . — Он колотит себя в грудь мелкими ударами. — Чем заглушаете?

— Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня — в Малый.

— Неужели помогает?

— Да ничего вроде . . .

В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и простодушным мягким ртом.

— Вы еще шутите, товарищи. А мне не до шуток . . . Жену ревматизм разбил, второй год как обезножила. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы . . . Так разве до театров тут? Последнее проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый.

Харьковский директор протягивает ему портсигар:

— Кури, браток. А на шуточки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?

Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись впе-

ред, как под бременем невыносимого груза, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:

— Через Плеханова пропадаю!

— Как?

— Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить . . . А я . . . Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-то, лежит, понимаешь ты, в лежку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спрашивают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать: «Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине семейного тяжелого положения». А я . . . Дернула же нелегкая. Послышалось мне вроде кто-то шепчет, подсказывает: «Плеханов!» Ну я взял да и брякнул наотмашь: «Плеханов, мол, основал». Вот с тех пор и пошло. По первости-то было выговор объявили, а потом — дальше в лес, больше дров. Большевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки. А она . . .

Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого сто-на.

— Не вынесет. Помрет . . .

Он помолчал еще немного и добавил:

— И все через Плеханова . . .

Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос:

— Признаете ли вы себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?

В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось, между прочим: «запретить пропаганду марксизма-ленинизма».

— Черт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма! Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку: в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой — «за притупление политической бдительности».

— А затихнет немного обстановка, подадите через годик на



снятие, — сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК:

«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте в Москву. Емельян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:

— Не ездите в Москву-то, Евгений, пра не ездите! В Покровское, да потихоньку . . .

И опять я ответила:

— Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?

И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова, который САМ эту статью поместил в отредактированной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП(б)». Было от чего взяться за голову!

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### СЧЕТ ПОШЕЛ НА МИГИ

С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».

Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки — думала я — хоть что-то, хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голосули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии.

— Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать! — поддерживал меня в этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!

В купе пятого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врач-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:

— Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизовалось некрасовское четверостишие:

*Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,  
Может смертью еще доказать,  
Что в нем сердце не робкое билось,  
Что умел он любить и . . .*

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства. Стало полегче. Потом снова навалилось.

Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг . . . Один миг . . .

И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться . . .

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:

— Ведь это все пройдет . . . А жизнь только одна . . .

. . . Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное — это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем — все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел — все равно. Объективно, это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», записанному совестливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».

Таким образом, точка над «и» была поставлена. Пособничество врагу — уголовно наказуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.

Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабине Ярославского, я позволила себе кричать ему:

— Ну хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только

не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной Истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы — партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:

— Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я, человек, не мыслимый вне партии, виноват в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос: «Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?»

Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу — беспощадная ясность: все безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### НАСТАЛ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

И вот он наступил — этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР Астафьево, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

— Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним — директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа . . .

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он, как член бюро обкома, сидел в президиуме и должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали зльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и про-износил:

— Кто его знает, Векслина-то . . . Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь . . .

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытер-тое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда . . .

— Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? — спрашивала я.

— Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии . . .

— Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? — горько острою я. Он раздражается.

— Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не оби-жаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

— Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

— О, будь спокоен! И без меня тоже . . .

Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллею сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле — нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще, каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности, что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, невысказанный даже самим себе.

. . . Астафьево — пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского — было в свое время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольщики» и «Бьюишники» котировались высоко, «Фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

— Противные ребята, — говорил он, — ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях . . .

Несмотря на то, что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы, и пир шел вовсю.

Подшел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

— Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая . . .

Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг

вызвали к телефону. Побежала радостно, думала — муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой — Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань — не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего — было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома — мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предreshен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.

- Вопросы?
- Нет.
- Выступления?
- Нет.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е. С.? — хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:

— Решайте без меня . . .

Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:

— А билет . . . он с вами?

И точно поперхнувшись, выкашливает:

— Вы оставьте его . . .

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого . . . Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было — трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и любознательными — эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас . . .

Все это проносится передо мной и — уверена! — перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

— Оставьте билет . . . пока . . .

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим — палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

— Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я его берегла, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

— Ну что?

— Оставила билет . . .

Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ЭТОТ ДЕНЬ . . .

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала . . . И все мои близкие ждали.



Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск — поедем опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова... Он член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошку. «Поешь, деточка. Помнишь, ты любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклиний» умолила меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегалщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

— Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

— Во время заседания? Что они? .. Я занят, скажите...

Но секретарша вернулась.

— Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома? Тоже «оказался»? ..

— Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих выпускать...

Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комичное. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столиком и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходявших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место СТРАХУ, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страй.

— Павел! Машина!

— Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много . . .

— Остановилась! Право, остановилась . . .

Муж босиком подсакивает к окну. Он бледен. Преувеличенно спокойным голосом он говорит:

— Ну вот видишь, грузовик!

— А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

— Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только — как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увезли Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах.

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой; я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно-спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

— Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:

— Это тебя, Женюша . . . Веверс . . . НКВД . . .

Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

— Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

— Я теперь всегда свободна. А что?

— О-о-о! Всегда свободна! Уже пали духом? . . . Все это проходяще. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кое-какие сведения от этом Эльвова. Дополнительные сведения. Ох, и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выяснится.

— Когда прийти?

— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.

— А вы меня долго задержите?

— Да минут так сорок. Ну, может быть, час . . .

Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас.

— Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего! И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.

— Может быть, забежать к маме?

— Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это, — тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной . . . Больше я его уже не увидела.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагирующий на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла . . .

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту, умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

— Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть . . .

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно — совершается неизбежное и его не умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретила Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неуточное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось мне потом годами.

Внизу у входа встретила еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

— Пешком?

— Да, пройдемся напоследок.

— Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

— У меня нет никаких сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

— Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

— Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию.

— Иногда и у меня мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовывать?

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он раздражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных открытий.

Но вот и знаменитый дом — Черное озеро.

— Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

— Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь.

Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос.

— Женюша!

Оглядываюсь.

— До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### КАПИТАН ВЕВЕРС

Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния. Прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый навсегда.

Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пустое место, на котором должно было быть отмечено время моего ухода отсюда, — все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова?

Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди, из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек, где-то

виденный, даже рассеянно кивнул и обронил «здрасьте». Самое обыкновенное учреждение!

И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты № 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. И сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза.

Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. Без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев.

Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю:

— Можно сесть?

— Садитесь, если устали, — пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса — смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне.

Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно: «Протокол допроса»... потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называя мою отцовскую фамилию.

— Что, бережете его? Не поможет...

Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тягучей скукой.

— Ну-с, так как же ваши партийные дела?

— Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.

— Еще бы! Предателей разве в партии держат?

— Почему вы бранитесь?

— Бранитесь? Да вас убить мало! Вы — ренегат! Агент международного империализма!

Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распалая себя все больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще только политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью.

Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу.

Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается как заключительный аккорд двухлетней пытки короткая фраза:

— Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?

Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета понесли вскачь перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет.

— Незаконно! Я не совершала никаких преступлений, — еле ворочая сухим языком, произношу я.

— Что? Незаконно! А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. Пятым февраля датирована. А сегодня пятнадцатое. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают?

Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону.

— Дайте мне возможность сообщить домой.

Он весело хохочет.

— Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?

— Тогда сами позвоните.

— Успеется. Аксенова это не так уж и интересуется. Он ведь от вас уже отказался. Нечего сказать, пикантно! Член правительства, член бюро обкома — такая жена! Да сейчас не в этом дело. Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы.

Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос:

— Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это?

— Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не состояла.

— Молчать!

Снова удар кулаком и жалобный дискантовый отзвук стекла.

— Вы мне этот дамский тон бросьте! Отгуляли в дамах. Теперь за решетку!

— Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником управления, с товарищем Рудь.

— Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!

Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы.

— Обыскать!

Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых большевиков да книгами о «Народной воле». Поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, скользкими улиточными ползками пробегающих по моему телу.

Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в сумочке маленькие ножницы для маникюра.

Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир — мужчина. Веверс снова с ненавистью и презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами.

— А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все!

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### ПОДВАЛ НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ

Черное озеро — это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь был дорогой ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выставок, а зимой был каток.

Но после того, как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу, прямо против сада, название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы.

— Не болтай, а то на Черное озеро попадешь!

— Слышали, его ночью на Черное озеро увезли?

Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? — не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверно, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть.

Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще только преддверие ада. Прокуренное помещение без окна, освещенное лампочкой, висящей под потолком. За столом — бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые набрякшие мешки под глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на меня как на пустое место. Единственное, что его интересует во мне, — это мои часы. Пояса у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта — изъятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил после того, как потеряли тогда в сугробе старые. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки.

Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета требуется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвести.

А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло освещенный одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допустить, что это одна из стен того самого дома, где расположен комфортабельный кабинет капитана Веверса... А слева...

Слева двери, двери, двери... Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, наверное, до революции закрывались какие-нибудь купецкие амбары в глухой провинции. И за этими дверьми люди? Конечно же! Коммунисты, товарищи мои, попавшие в ад раньше меня. Профессор Аксенцев, секретарь горкома Биктагиров, директор университета Векслин... И еще многие...

Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на которой написан номер 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не одна? Это уже счастье.

Дверь снова с тем же грохотом закрывается, шаги гулко удаляются в сторону, и я произношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине:

— Здравствуйте, товарищ!

Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно, как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос, затем грустно улыбается и говорит:

— Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте. Здесь холодно... Вы так спокойны... У вас, наверное, дома никто не остался?

— Дети... Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной года.

— Несчастье-то какое! Бедная вы моя!

Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пылкий взгляд.

— О чем вы хотите спросить меня?



Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит:

— И спрашивать не буду. Сама вижу. Вы хорошая. Дело в том, что я все время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговаривала и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат . . . А мама совсем одна осталась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хунхузов.

Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграничница, что ли? Что это она говорит про хунхузов? Но ответное чувство симпатии возникает во мне. Это красивое простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза не могут принадлежать плохому человеку. И яжимаю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:

— Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете мне ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все. Чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в таком страшном несчастье . . . Меня зовут Женей. Зовите меня так, хоть вы и моложе меня. А вас как?

Ее звали Ляма Шапель. Настоящее ее имя было Лидия, но за ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в младенчестве.

— Я кавежединка.

— Кто?

Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим странным словом. Короче — это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие, служившие на Китайско-Восточной железной дороге и приехавшие на Советскую родину после того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по многу лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или манчжурской разведкой.

Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Харбине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником. Брат, старше ее на несколько лет, сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Манчжурии, приехал за несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехали к нему

только после продажи КВЖД, несколько месяцев назад. Уже месяц, как ее, отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже.

— Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него слабое. А мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках перебили.

То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагогических навыках я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все наши «потери бдительности», «примиренчество», «гнилые либерализмы» звучали для нее китайской грамотой, вернее абракадаброй, так как в китайской-то грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенной и сразу ввела меня во все подробности предстоящего мне существования.

— Сейчас скоро уже ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения.

Тут только я заметила, что две железные койки подняты к стене на крючках. Спускать их разрешалось с одиннадцати до шести утра по специальному сигналу. В шесть — подъем и до одиннадцати лежать нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.

— Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает. А у того, косоглазого, с голоду умереть можно... На opravку сегодня, наверно, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали.

Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился тошнотворный запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параша эта рыбная вонь вызывала отвращение.

Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши.

— Я не отказываюсь от вашей порции сегодня, знаю, что в первые дни не едят.

После еды Ляма встала у дверей, и как только раздался краткий возглас «Посуду!» и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол.

— Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.

После ужина повели на «opravку». Идти по коридору надо было гуськом, в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно

впивалась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидеть томящихся в камерах людей.

Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктировала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей.

— Встаньте спиной к двери, быстро! — свистящим шепотом бросила она мне, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгновенно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы.

— Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадуются, если они казанцы, что это вы. Передадут соседям. Связь установить — самое главное.

— А как передадут?

— Стучат.

— Вы умеете?

— Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена дежурных. Вот что: когда пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас . . .

Окно камеры кроме толстой решетки загорожено еще высоким деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный кусочек неба.

— Темно здесь днем? Читать нельзя?

Ляма улыбается моей наивности.

— Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забито . . . А насчет чтения не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают . . .

Ляма переходит на самый тихий шепот:

— Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете?

Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки . . . Доски . . . Мир закрыт. Но, оказывается, вот она, крохотная щель в этот мир. Между второй и третьей доской просвет примерно в палец шириной.

— Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это самое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил. А то ведь они так врут, следователи, так врут . . .

И намолчавшаяся за месяц одиночки Ляма долго, до самого «отбоя» горячим шепотом рассказывает мне обо всем: и о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикниках на китай-

ской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. «Особенно вот эту шубку. Котик натуральный, теперь век такую не справишь, а истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь, и в сырости сидишь . . .»

Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хоть я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что я, как коммунистка, несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна отцов встретила Ляму, веселую,мышленную, хорошую русскую девушку, вот этой камерой.

Отбой. Потрясающий лязг спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезглива, и я старательно прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма утешает:

— Может, вам передачу разрешат . . .

Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне:

— Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со мной! Только теперь я вижу, как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! Рада! Не тому, конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да?

Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения: то лица моих детей, то затравленный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный судак», разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название . . . Ляма . . . Еще несколько часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне . . .

Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков и чей-то скучный, нарочито тихий голос:

— Приготовьтесь на допрос!

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### СЛЕДСТВИЕ РАСПОЛАГАЕТ ТОЧНЫМИ ДАННЫМИ

Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция тридцать седьмого года. Каково им было! Ведь не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством.

Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступенькам, от человека — к зверю. Их лица становились все более неопиcуемыми. По крайней мере я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.

Но все это постепенно. А в ту ночь следователь Ливанов, к которому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола (вопросы), немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом», «давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызывало целый комплекс домашних чувств.

На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие, осталось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь — обычный мир нормальных людей. Вон она звякает за окном трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с красивой гардиной. И тарелка, оставшаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу, а на тумбочке, в углу кабинета.

Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Ливанов, медленно записывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы: с какого года работала там-то и там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то . . . Но вот страница исписана, и следователь дает мне подписать ее.

Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я знакома с Эльвовым, и я ответила «с 1932-го». А здесь написано: «С какого года вы знакомы с ТРОЦКИСТОМ Эльвовым?» И мой ответ: «ТРОЦКИСТА Эльвова я знаю с 1932-го».

— Я так не говорила.

Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением, точно дело идет и впрямь о точности формулировки.

— Но ведь он же троцкист.

— Я этого не знаю.

— Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными.

— Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я познакомилась с ПРОФЕССОРОМ Эльвовым. А троцкист ли он и знала ли я его как троцкиста — это уже другой вопрос.

— А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки. Вы только отвечаете.

— В таком случае запишите мой ответ не своими словами,

а точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное.

Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само Безумие в лице лейтенанта госбезопасности Царевского.

— А-а-а . . . Сидите уже за решеткой? А давно ли в нашем клубе доклад о Добролюбове делали? А? Помните?

— Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добролюбов!

Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопарого парня с лицом маньяка.

— Так, стало быть, стенографистку требуете, ни больше, ни меньше? Юмори-и-стка! Кажется, снова в редакции себя вообразили?

Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них наряду с упоением палачества живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.

— Итак, сидите уже за решеткой? — снова издевательски обращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти, точно я убила его ребенка или подожгла его дом. Потом продолжает уже более спокойно:

— Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обкомом? Все раскрыто. Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все рассказал. Он тоже троцкист.

Я мысленно сопоставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от «такой жены». Да, Ляма была права. Врут они страшно.

— А разве Эльвов здесь?

— Да! Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас.

— Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне. Пусть повторит в глаза.

— Ах, повидаться с дружкой захотелось?

И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отношению к себе.

— Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком.

— А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Тоже мне люди!

И он снова раздражается грязным гоготаньем. Потом он орет на меня во всю силу легких, стучит по столу точно таким

движением, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он требует, чтобы я подписала протокол.

С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Ливанов взирает на это беснование с полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело.

— Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы? — спрашиваю я его.

Ливанов улыбается почти добродушно.

— Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запирательство бесполезно. Ведь следствие располагает точными данными.

— Какими?

— О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отношение. Передачу разрешим. Свидание с детьми и мужем.

Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами наброситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность, — часть продуманной методики.

Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда наконец появляется вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на фальцет.

— В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!

Спускаясь по лестнице, в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там, оказывается, лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарища по несчастью. И грохот замков лучше, чем визги иступленных Нечеловеков.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### КНУТ И ПРЯНИК

За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо, к кабинету Ливанова, где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный, но отчетливый голос конвоира:

— Налево!

Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского.

Широкие зеркальные окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого взгласа изумления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цветные лампочки украшали его праздничными гирляндами. Мне виден был сидящий на возвышении духовой оркестр и мелькающие фигуры конькобежцев.

На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие карцеры и «особые методы», которыми мне ежедневно угрожают.

— Красиво, правда? — раздается вдруг так называемый «бархатный» баритон.

Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового окна.

— Сегодня праздник, День Красной Армии. Большое соревнование конькобежцев, — объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно добавляет:

— Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь? Алеша и Майя . . . Они ведь катаются на коньках?

Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что «они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень неожиданно. И слезы льются градом.

— О-о-о . . . Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло, здесь удобнее.

Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее он напояминает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрят сочувственно. Он заводит со мной непринужденую беседу, совсем как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании. Он уверен, что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника.

— Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными статьями . . .

Я еще пока не понимаю, к чему все это. Но скоро все выясняется.

— Такая порывистая эмоциональная натура. Немудрено, что вы поддались на ложную романтику этого гнилого подполья . . .

Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала ученая за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказывают, только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что «молчание — золото», что отвечать надо только на прямо поставленные вопросы, и то возможно короче.



— Да-а... — продолжает майор, — все мы были молоды, все увлекались, все могли ошибиться.

Тыфу ты, черт! Неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории революционного движения! Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми словами увещевали молодых студентов-террористов.

— Не курите? — любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая сам с собой. — Романтика... Огюст Бланки... Степняк-Кравчинский... Помните, «Домик на Волге»?

Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую небольшую речь, — минут на десять, — смысл которой сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы уместны гордое молчание, отказ от подписывания протоколов, нежелание назвать сообщников. А здесь ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, стать перед партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывистую эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье. А потом вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера только беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским — уж майор скажет напрямик — поведением...

Молчу как убитая, стараюсь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу.

— Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Может быть, вы проголодались? Вы немного бледны. Впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено, что этот Эльвов потерял голову, не так ли?

Горка бутербродов с нежной розоватой ветчиной и слезящимся швейцарским сыром вырастает передо мной.

Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба с кипятком, — не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе.

— Спасибо. Я сыта.

— Ай-ай-ай! Вот и это плохо. Считаете нас врагами? Не хотите из наших рук принимать пищу?

Снова молчу, стараюсь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов писчей бумаги и автоматическую ручку.

— Напишите нам все. Все, что было, с самого начала. Я пока

займусь своими делами, а вы пишете. Как можно подробнее. Оттените главных заправил. Напишите, кто из редакционных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде татарских писателей. . . Да уж не мне учить вас писать.

— Боюсь, майор, что это не мой жанр.

— Почему же?

— Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу. Публицистика. Переводы. А вот жанр детективного романа — не мой. Не приходилось. Вряд ли я смогу сочинить то, что вам хотелось бы.

Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому, его ампула строго ограничено «пряником» и кнут ему применять не положено.

— Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.

— Что же писать об университетских? Ведь они все уже арестованы, — пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения.

— Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же его арестует? Не за что! Бывший грузчик, татарин, ставший профессором химии. Преданный член партии.

— Да, это, наверно, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше профессоров на грузчиков переделываете.

Терять мне уже нечего — теперь я убеждена в этом — и потому изредка позволяю себе немного дерзить.

— Ай-ай-ай, — по-отечески журит меня майор Ельшин, — ну, сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдает троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского оружия?

Пожалуй, бумагу и перо надо использовать. И я пишу. Пишу подряд четыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего «дела» сначала в партийных инстанциях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не приписывать себе, а тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляемые следователями в не известных мне целях.

Майор Ельшин уже очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену ему приходит. . . все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление.

Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за револьвер. Но я знаю, что убивать им запрещено, тем более, что следствие еще не закончено. Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор.

И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема, до шести утра.

Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как Царевские и Веверсы получили право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытаться физически, надругаться над телами своих жертв.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### ОЖИВШИЕ СТЕНЫ

Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворике под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, «оправкой». Следователи как будто забыли о моем существовании.

— Это они нарочно, — говорила Ляма, — меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.

Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским «правосудием», что была рада этой передышке.

— А мы давайте не осатанеем, Ляма. Давайте используем это время для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи. Ведь он все стучит, правда?

Да, он все стучал, наш сосед слева, каждый день после обеда. Но замученная допросами, я еще как следует не прислушалась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непостижимости тюремной азбуки.

Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева ходил «на оправку» раньше нас, — а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре, — в уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обязательно было выдвинуто чем-то тоненьким, может быть булавкой, — «Привет»! И как только мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и немедленно замолкал. Эти стуки отличались от его длительных послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке.

Так повторялось несколько раз, и наконец меня осенило.

— Привет! Он выстукивает привет! И пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.

Подсчитали.

— Поняла! — восторженно прошептала Ляма. — Каждая буква обозначается двумя видами стуков — отдельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То есть — п-р-и-в-е-т!

Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в тот день, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука.

Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляме, сама поражаясь своим словам:

— Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом — пять букв. Каждая буква обозначается двумя стуками — отдельными и частыми. Первые обозначают ряд, вторые — место буквы в данном ряду.

Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания дежурным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка.

— К-т-о в-ы? — спросили мы своего соседа.

Да! Все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего адресата. Наконец-то поняли! Увенчалось успехом его беспримерное терпение.

— Там-там-там-там-там! — Этим радостным мотивчиком он отстукал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания.

И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять «привет», а понимающим людям, которым он сообщает свое имя.

— С-а-г-и-д-у-л-и-н!

— Что? Сагидуллин?

Ляме это имя ничего не говорит, но мне... Стучу гораздо смелее:

— Тот самый?

Да, он подтверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин, имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина». «Сагидуллинщина». Это был один из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султангалеевщина и сагидуллинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же попал сюда сейчас?

За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину. И вот я принимаю передачу:

— Был и ос-тал-ся ле-нин-цем. Кля-нусь седь-мой тюрь-мой . . .

А дальше уж что-то совсем непонятное:

— Верьте мне, Женя!

Откуда он знает, что я Женя, откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо. И так ясно. Призрак провокации встает перед нами.

И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Институте красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет вышкой.

С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничто не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подглядывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал самый удобный час для стенного телеграфа.

Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках Гарей. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок, мир, приводивший попавших в него людей то к полному душевному краху, измельчанию, опустошенности, то к рождению настоящего мужества.

Я узнала от Гарей, что все, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезены сейчас на так называемое «переследствие». Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, «перевести все эти дела на язык 37 года», то есть заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была другая цель — вынудить этих «опытных» оппозиционеров (у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще не апробированной мысли по вопросам теории, как, скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания»)

давать свои подписи под сфабрикованными следователями чудовищными списками так называемых «завербованных». Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами. (К избияниям начали обращаться только начиная с июня-июля, после процесса Тухачевского и других.)

Гарей страстно ненавидел Сталина, и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал:

— Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании.

Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения.

— Вы ведь не в гестапо попали, — звенели у меня в ушах слова майора Ельшина.

Да, насколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо! Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? И как должен коммунист вести себя в «своей» тюрьме, выражаясь словами того же майора?

Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарейю, который был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать — по партийному стажу.

Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление: как может он предлагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее репрессированных» вести себя так, как он советовал мне.

— Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называя как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будет тысячи таких протоколов, то возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его» свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельна для нас лично, но это единственный путь к спасению партии.

Нет, так поступать я не могла. Хоть я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно поддерживала и индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства. А это и была ведь основа линии.

Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих

стенах вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей.

Нет. Уж если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что я не могу сейчас дать самостоятельного анализа положения в стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит — говорить только правду о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не называть ничьих имен. Не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой решила отдать всю свою жизнь.

Все это я — конечно, гораздо короче — перестучала Гарее.

В течение двух-трех недель я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю так здорово владела ею, что мы с Гареем часто перестукивали друг другу стихи. Мы понимали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом, что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и справедливость требует отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверно, попалась бы, если бы не он. Он не терял бдительности даже при самом интересном разговоре.

Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не имела возможности уточнить его политические взгляды. Со многим из того, что он говорил, я была не согласна. Но знаю одно: с покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### «ПРОСТИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?»

Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали выдерживать без вызовов наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву, который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов: «Дети здоровы». Потом он сообщил, что мне разрешена передача и, наконец, пристально глядя на меня красными, как у всех следователей, глазами, нечленораздельно буркнул, что был Пленум ЦК, февральско-мартовский Пленум, что, возможно, дела мои еще не так-то плохи, только надо вести себя разумно.

Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Гарей на другой же день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений Пленума, наивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные

инструкции. Понимать все надо наоборот, идут новые аресты, а на допросах стали шире применяться зверские методы.

Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромыхал замок и засов на нашей двери. Вошли два надзирателя. Они поставили посередине камеры кривоногую железную койку.

— Третья! — взволнованно шепнула Ляма.

— Горячий сезон. Путевок не хватает, — мрачно сострила я.

Через десять минут дверь снова прогрохала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Оказалось — это Ира Егерева, аспирантка биофака университета, гидробиолог. Я встречала ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»? Какие извилистые пути привели ее сюда?

Четыре года тому назад она посещала семинар Слепкова и даже немного пококетничала с красивым талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в участии в группе правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются правые от левых, и вообще, с чем все это едят.

Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался короткий стук в стену.

— Я не один, — простучал Гарей.

Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь обкома партии.

Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парторганизации боялся принять их у меченого человека. Как я ни уговаривала его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана, — это не помогало.

Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать: оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносов? Или положить билет на стол, дав этим новую пищу для обвинений?

Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически пресекавшим возможность дальнейших разговоров:

— Партия имеет основание не доверять вам, особенно после того, как вы отказались признать свои ошибки.

А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили рядом на даче.

И вот он рядом со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Сагидуллиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального негодования.

Секретарь обкома. Человек, которым гордился татарский



рабочий класс. Неужели Гарей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии?

К вечеру из тревожного стука Гареев мы узнали, что Абдуллину предъявлено обвинение в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероятно, в том, что у алжирского бея под самым носом шишка.

— Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить бывшую Казанскую губернию в состав Оттоманской империи, — ехидно комментировал Гарей.

Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передач резко изменился.

— Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерывно. А когда он все-таки отказался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.

Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «особых методов», которыми мне постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в «подвале подвала», то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер называется потому, что в нем нет табуреток. Наивность! Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может ТОЛЬКО стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть там попросту НЕТ МЕСТА.

— То есть человек замурован в стене?

— Вот именно!

Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молчании. Даже Ира перестала спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый купальный халатик, напоминающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека, а Бари Абдуллина, который еще недавно делал на партактиве доклад о международном положении; который бегал по дачным аллеям, везя на плечах свою дочурку, а по воскресеньям играл в волейбол в одной команде со мной.

Наконец раздался стук Гареев.

— Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Ввели камфару. Сейчас лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя?

Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить? Или приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать?

Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на opravку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти первой. Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когда входишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо наклониться и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверь душевой. Это на-лево. Та, что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержать таким образом конвой.

Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу-максимум. Что значит несколько папирос для человека в таком состоянии? Обе пачки! И еще мыло впридачу! Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочиста после такого ужаса. А то им ведь, наверно, еще меньше, чем нам, обмылочки дают.

Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла, или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили: одну пачку папирос и мыло.

— Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300 граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание. Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять выдержку!

Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была простой машинисткой и массу свободного камерного времени отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее настоящим бесстрашии, великодушии, размахе.

Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь выражение «пачка» папирос — это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы передавались только в рассыпанном виде, после тщательной проверки каждой штучки — не спрятана ли в ней записка? Мыло тоже передавалось без обертки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло — в банке. Даже самый ничтожнейший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом.

Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались.

— Ах мы глупые! — хлопнула себя по лбу Ляма. — У нас ведь ниток сколько угодно . . .

Мой махровый халат . . . Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два тонких ломтика хлеба, густо намазанных маслом.

Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу — идти первой и положить передачу в отверстие под дверь душевой — взяла на себя Ляма. Я должна была идти третьей, возможно более растягивая шествие, и главное — натурально споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между нами, и ей мы отводили, так сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти, как обычно.

Все разыгралось как по нотам. Ляма змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить вещи в отверстие и даже проверить — не заметно ли? Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир даже буркнул: «Смотреть надо . . .»

Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли! Готово. Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.

— Там-там-там-там-там!

Радостно выстукивает Гарей. А потом уже медленно и членораздельно: «Ум-ные! Сме-лы-е! Доб-ры-е!»

У всех нас такое чувство, какое, наверно, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным героизмом. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она уже спрашивает, красивая ли жена у Абдуллина и хорошо ли она одевается.

К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то стучал медленно и осторожно, очень неопытной рукой.

— Же-ня! Же-ня! — зовет стена.

Это Абдуллин. Его осторожные стуки складываются наконец во фразу, понятную только мне:

— Простишь ли ты меня?

— За что это он прощения просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?

А Абдуллин, видимо до основания потрясенный всем происходящим, никак не успокаивается. Стучит и стучит.

— Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушные? Что было бы, если бы вы попались?

— А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техникой. А техника, как известно, в период реконструкции решает все.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ НА КОНВЕЙЕРЕ

За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Непрерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток без сна и еды, даже без возвращения в камеру. Хорошо выбритые, отоспавшиеся, они проходили передо мной как во сне. Ливанов, Царевский, Крохичев, Веверс, Ельшин и его «ассистент» — лейтенант Бикчентаев — коротенький розовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индюшонка.

Цель конвейера — истощить нервы, обессилить физически, сломить сопротивление, заставить подписать то, что им требуется.

В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сменяющихся следователей. Ливанов по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я подписала самую чудовищную чушь, с таким видом, точно это самая естественная и притом незначительная часть некоей канцелярской процедуры. Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок — кокаин. Нюхавшись, он не только угрожает, но и хохочет надо мной.

— Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки! Да вам сейчас сорок лет можно дать! Не узнал бы Аксенов свою кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабуся превратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет? Ну, значит, еще все впереди...

Майор Ельшин остается неизменно галантным и «гуманным». Он любит говорить о моих детях. Он слышал, что я хорошая мать. А оказывается, я своих детей совсем не жалею. Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», и услышав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он «изумляется».

— Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального пустякового протокола? Подписывайте быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы вас не тревожили.

В пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при Союзе писателей Татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда следую-

щих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего председателя союза Кави Наджми.

— Жалеете Наджми? А он вас не жалел... — загадочно бросает майор.

— Это дело его совести.

— Да что вы — евангельская христианка, что ли?

— Просто честный человек.

Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о морали. Честно то, что полезно для пролетариата и его государства.

— Для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколения татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной.

— Мы имеем точные данные, что эти люди — враги народа.

— Тогда зачем же вам в дополнение к этим точным данным еще и мои показания?

— Для документального оформления.

— Я не могу оформлять то, что мне неизвестно.

— Вы не верите нам?

— Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы следствия?

— Что же мы делаем незаконного?

— Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые показания.

— Пожалуйста, обедайте. Сейчас принесут. Подпишите только. Сами себя мучаете...

Лейтенант Бикчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить.

— Сами виноваты, — говорит майор.

— ... виноваты, — как эхо откликается лейтенант.

— Только задерживаете следствие... — Это майор.

— ... следствие! — подтверждает лейтенант.

Однажды майор Ельшин составил протокол о моих отношениях с татарской интеллигенцией.

— Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось приняться за изучение татарского языка?

— Для литературно-переводческой работы.

— Но ведь это язык некультурный...

— Некультурный? А вы тоже такого же мнения, лейтенант?

Индюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в котором сказано,

что по заданию троцкистского центра я пыталась наладить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интеллигенции. Я еще острою:

— Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама.

Майор похохатывает, но есть и пить мне все-таки не дает и спать не отпускает.

Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны. Но через несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах сутками. Мне давали иногда воду из следователяского графина. Меня не били.

Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом, и страшно испугало самого Веверса.

Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь. Я была уже в полубредовом состоянии. Чтобы оказать «давление на психику», практиковалось усаживание арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбуа, примыкавшего в 1927 году к троцкистской оппозиции.

— Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции.

— Что-о-о? — Распаленный кокаином и моим упорством, Веверс окончательно сатанеет. — Оппозиция? Вы именуете эту банду убийц и шпионов оппозицией! Ах вы . . .

Большое каменное пресс-папье с веверсовского стола со всего размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая опасность мне грозила.

Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с водой. Руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось. Он немного увлекся.

На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвою, которые все время расталкивали меня, приговаривая: «Спать нельзя!»

В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова. Так же мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в голове.

Как сквозь густую пелену я видела брезгливую мину полковника, заметила револьвер, лежавший на столе, очевидно для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружки на обоях. Такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами.

Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя: «Не подпишу!» Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. Потом все смешалось. Я упала.

Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась в камере, на своей койке. Открыв глаза, я увидела склоненное надо мной, залитое слезами милое лицо Лямы. Она вливала мне в рот по каплям апельсиновый сок, только что присланный в передаче Ире.

Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Абдуллин беспокоились.

— Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.

Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки, именуемой у нас в камере «суп-ротатуй». На закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из своей передачи.

Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### ОЧНЫЕ СТАВКИ

Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился с ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше шести утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставала койки уже подвешенными к стене и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке, положив голову на Лямино плечо, съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь камерный сахар, в количестве шести пиленых кусочков) — все это немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаз. «Спать днем нельзя», — разъяснялось мне.

В эти дни мы узнали от Гарей о смерти Орджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он получал информацию сидя в одиночке, но знаю, что уже в 1956 году, после XX съезда партии, после реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся докладе Хрущева ту же историю

смерти Орджоникидзе, которую узнала в 37-м в стенной телеграмме Гарая.

... Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни ельшинского варианта о «беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией», ни веверсовской стряпни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома.

Не хочу становиться на геройские или мученические котуры. Я далека от мысли объяснять свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо особым мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук подписали все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала широкого применения «особых методов». Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество — чистая совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал в «сеть Люцифера».

Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердечные признания», руководители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бикчентаеву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов переливания из пустого в порожнее Бикчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это сообщение заинтересовало и взволновало, хотя вообще то ко всем заявлениям «индюшонка» можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонными аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка, из которой глупость сочилась, как жир из баранины.

Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно, такое же «переследствие», как у Гарая. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя, но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу!

Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бикчентаева, был не Эльвов. Это был литсотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала.

Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех этих недоумений, я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты», они учились



вместе с гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно видеть такое близкое лицо. И, прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки:

— Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее . . .

Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему его свидетелю! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».

— Порядок очной ставки такой, — разъясняет Бикчентаев, немилосердно коверкая русские слова, — я задаю «вопрос». На него сначала отвечает «свидетелю» Дьяконов, потом обвиняемая . . .

Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным Г.

— Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?

Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.

— Обвиняемая! (У него получается «авиняема».) Прекратите оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя, как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.

Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо вытесняет мысль о фарсе. Он изжелтабледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях он лепечет:

— Я-я-я . . . Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.

— Свидетель Дьяконов, — торжественно возглашает Бикчентаев, — вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?

Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит.

— Это . . . это . . . Я, собственно, говорил, что те люди, о ко-

торых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю.

Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне.

— А вы подтверждаете это?

— Что же тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции... О подпольщине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.

Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции «Красной Татарии» существовала подпольная контрреволюционная группа».

Потом подсовывает листок Володе.

— На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!

Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.

— Володя, — мягко говорю я, — ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете столько людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.

Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.

— Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сейчас в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь отказываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.

И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали. Потом еле слышно шепчет:

— Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.

— А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут вписали?

Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается «снижение плана». Я добавляю:

— Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа, и не сообщили о ней куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34 до 37 года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!

Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.

Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте . . .

Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подружка Надя Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей и писавшей Нальки было — Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет!» И вот она тоже, вслед за Володей Дьяконовым, пришла сюда, чтобы помочь моим палачам.

У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «Все погибло: свобода мира и личное счастье» . . . А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.

Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится так нервничать, как со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает такие четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером.

Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа.

Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать.

— Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела такие же и в студенческие годы?

И моя подружка Налька — милая, смешная, богемистая Наташа Козлете — отчеканивает как по писаному:

— Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированным Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего их связывало политическое единомыслие.

Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому

уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»

Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налеи Козловой были отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:

— Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма-пера! Ты что, рехнулась?

Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:

— Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бердникова.

Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особенно страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного «репрессированного» имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.

— Попробуй, — прошипела я, — тогда я сейчас же меняю свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу — я сама завербовала ее . . .

В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка.

— На каком языке вы оказываете давление на свидетеля?

— На французском.

Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.

— Извините, лейтенант, — говорю я любезно, — я просто привела поговорку. Примерно, «век живи — век учись» . . . Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.

Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба. Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова буквально.

Так и есть. Примиренным голосом заявляет:

— Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия — русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же поговорку (и тот же пагавурк!) вы могли сказать порусски . . .

Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца и, закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск.

— Вы свободны, товарищ Козлова.

В дверях Налька вдруг мнетса, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она протягивает мне свернутую газету.

— Возьми. Сегодняшняя.

— Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.

Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом.

Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она недодумывала.

— Значит, ты не знаешь никаких новостей? — быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном. — Орджоникидзе умер. И еще Ильф . . .

— Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел . . .

Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.

Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, «пока я не аннулировал пропуска» . . . Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна была «очная ставка»!

Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на вопросы Лямы. Не отвечаю и на стук Гарея. Наступает ночь. Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне после «конвейера».

Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время от времени — грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в висках.

Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Васильеве! А как зайцами на симфонические концерты пробирались! Да, нам было по восемнадцати и мы дружили.

Светаает. Через решетку, через деревянный щит в камеру пробирается солнце. Малюсенький блик. Он выглядывает на грязно-серой стене, как крохотный золотой жучок, заползший в большую вазонную чучу.

Ведь уже апрель. Весна. Весна 1937 года.

## РАССТАВАНЬЯ

Это утро началось, как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток. Хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что Ляма показала сегодня «класс», утачив у старшего надзирателя иголку.

Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их «старшой», который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки. Старшой приходит каждое утро, проверяя свое поголовье и бдительно осматривая нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже заглядывал в парашу.

Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вытянуть у него одну из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры.

— С вещами! . .

Меня! С вещами . . . Значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас.

— Это на волю. Домой, — выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. — К нашим зайдите. И пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты «Снежинка».

Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:

— Бросьте ерунды! Чего это — после очных ставок да вдруг домой! Не в карцер ли? Или в этап?

Все разъяснил стук Гареея, как всегда отлично информированного.

— Во дворе «черный ворон». Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых.

В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та, что создается тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали у меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Гареея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно. Как в смерть. А может быть, и действительно в смерть. Ведь у каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на «высшую меру».

— Косыночку на память, Женечка, родная!

Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием.

Косыночку — соблазнительную, заграничную — у меня потом, уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза — «круглые да карие, горячие до гари».

Волнение Гарая (он снова один, Абдуллина терзают на самом усовершенствованном конвейере) передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности слова, немного патетические, как всегда у Гарая.

— Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помню до смерти. Она, правда, недалеко. А впрочем, кто знает... Вдруг — оковы тяжкие падут, темницы рухнут...

В коридоре идет бурная организационная работа. Формируется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения удобно отстучать Гарее последние прощальные слова.

... Наша дверь... За мной! Мое имущество — узелок с бельем — галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Гарей прав и еще падут тяжкие оковы?

Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Так вот это, значит, и есть «черный ворон»? Крытая, крашеная темно-синей краской машина для перевозки заключенных. Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая на ней внимания. Думала — колбаса, молоко...

Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки — кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток.

Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже опытная заключенная, ученица Гарая. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за на-

лаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топчут снаружи, стучу направо и налево. Кто? Кто? И слышу слева ответ:

— Ефрем Медведев.

Необыкновенная удача. Знакомый. Ремка Медведев, аспирант Института марксизма.

— Когда?

— 20 апреля.

Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там, в городе. Кто взят после меня?

Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шептать. Все слышно. А шум мотора заглушает эти звуки для конвоира, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой, настоящий Ремкин голос.

— Здорово, Женя. Аксенова видел на улице в начале апреля. Он вернулся из Москвы. Хлопотал о тебе, ничего не вышло. Ребята твои здоровы. Старшие горюют очень.

— Кто взят после меня?

— Спроси лучше, кто не взят...

И он перечисляет десятки фамилий из числа городского партактива, научных работников, инженеров.

Через другую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски. Долго не отвечает на мои вопросы, но наконец, преодолев страх, называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что он председатель райисполкома одного из сельских районов.

Нас везут довольно долго. Мне очень душно и тяжело, но я отвлекаюсь от своих ощущений, прислушиваясь к голосу Ефрема Медведева.

— Ягода-то тоже сидит, — говорит Рема, — сейчас Ежов. Тот самый, что был заворгом ЦК. Жутковатый, говорят, тип из него вытанцовывается.

«Черный ворон» останавливается. Нас выводят по-одному. Каждого проглатывают ощерившиеся черной пастью ворота старинной тюрьмы, выдавшей еще пугачевцев.

Опять все, как на Черном озере. Анкета. Новое отображение часов. (Зря только завела их!) По недосмотру надзирателей происходит «столкновение поездов» — запрещенная встреча заключенных. Я увидела обросшего черной щетиной Аксянцева, директора Туберкулезного института. Поговорить не пришлось: испуганный своей ошибкой конвой буквально растащил нас в разные стороны.

В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только часы, но и пояс с резинками. Медсестра с ящичком лекарств, по совместительству обыскивающая заключенных женщин, жалостливо морщит веснушчатый носик.

— Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То



были девки-воровки да уличные. А теперь все такие дамы пошли культурные, что даже жалко смотреть. Нате вот вам бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то? Не показывайте только никому смотрите!

Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной тюремной амбулатории, где происходил личный обыск, она торопливо осведомляется:

— Что вас заставило-то, а? Ну, против Советской власти что вас заставило? Ведь я знаю — вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежда-то поди все из комиссионных? Да и вообще . . .

Кажется, ее представления о роскошной жизни исчерпаны. Я устало улыбаюсь.

— Недоразумение. Ошибка следователей.

— Тш-ш . . . — Она косится на дверь. — А что, может правда, мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников то есть, чтобы им облегчение?

К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от необходимости отвечать. А вообще-то любопытны эти попытки найти хоть какое-то разумное основание происходящего.

Я поднимаюсь с надзирательницей по выщербленной каменной лестнице на второй этаж. Здесь уже не подвал, но запах плесени, грязи, параш еще острее, чем на Черном озере. Я называю составные части этого запаха. В целом же они составляют, в сочетании с еще чем-то неуловимым, запах тюрьмы.

Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере, но сразу чувствуется более слабый режим. Тюрьма долгое время существовала как уголовная, и еще не успела перестроиться применительно к потребностям. Разве на Черном озере, с его безмолвными надзирателями, был бы возможен подобный разговор при обыске?

Из камер доносятся довольно громкие голоса. Надзиратель, принявший меня на втором этаже, не выглядит истуканом. Он рассматривает меня со смешанным выражением веселого любопытства и сочувствия.

— В шестую давай! Там вроде почище бабенки, — добродушно тыкает он. Это на Черном озере тоже не допускалось.

Впоследствии я установила совершенно точный закон: чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем болтливей и грубее конвой и надзор — тем меньше непосредственной опасности для жизни. Чем чище, сытнее, вежливее конвоиры — тем ближе смертельная опасность.

Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с большими пыльными «глазками». Замки тоже висячие, но не слишком большого размера.

— Принимайте новенькую! — фамильярно провозглашает надзиратель и даже улыбается.

Дверь запирается. Я оглядываюсь. О-о-о! Здесь целое общество. Все устремляются ко мне с расспросами. Из одного угла раздаётся странный, почти торжествующий возглас:

— Здорово! Да ведь это жена Аксенова!

Худая, немного кособокая, совсем седая женщина с папиросой в зубах почему-то явно довольна, что я в тюрьме. Она встает и протягивает мне руку:

— Дерковская. Член партии социалистов-революционеров. Знаю вашего супруга. Приходила к нему как просительница. Не думал он тогда, что через несколько месяцев его жена будет со мной в одной камере сидеть. Да . . . Откровенно говоря, я рада, что коммунисты наконец-то сидят. Может быть, практически освоят то, чего не могли понять теоретически. Однако устраивайтесь. Поговорим потом.

Устраиваться оказалось делом не простым. Камера переполнена. Рассчитанная на троих, она вмещала уже пятерых. Я шестая. Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль стен наскоро сколочены еще сплошные нары посередине.

Пока соседки сдвигали свое тряпье, снова загремели двери и в камеру ввели . . . Иру Егереву. «Черный ворон» совершил второй рейс и привез из черноозерского подвала еще партию людей, чье следствие закончилось или приближалось к концу.

Появление Иры сразу отвлекает общее внимание от меня. Ира еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешал ей еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнеженной профессорской дочки, существу из незнакомого ему мира, не то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его незамысловатые силлогизмы и подписывала всякую чушь.

По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из них. Над вонючей камерой плывут благоуханные слова.

— Вот в этом я в прошлом году, в Сочи, всегда в теннис ходила. Потом стало узко. А сейчас опять впору. Похудела здесь.

Отзывчивей всех на Ирины воспоминания о Сочи и теннисе оказывается высокая, круглолицая, склонная к полноте молодая женщина, с лицом напоминающим мопассановскую Пышку. Это Анечка. В камере ее зовут Аня Большая, чтобы отличить от Ани Маленькой, расположившейся у противоположной стены.

Аня Большая — москвичка, сейчас работала в Казани, в управлении железной дороги. Ей 28 лет. Детей и мужа у нее нет,

но есть некий Вова, из постели которого Аню и вытащил месяц тому назад, на рассвете, следователь, производивший арест. Вова побледнел. «Что ты натворила?» — «Абсолютно ничего», — пожалла плечами бесстрашная Пышка и, чмокнув на прощанье дрожащего Вову, смело вышла со следователем. Везли ее сюда на легковой машине.

— Я его спрашиваю: в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь антиморальном или в антисоветском? Отвечает: «в антисоветском». А-а-а, говорю, ну тогда вам придется извиниться . . . Только хмыкает, змей полосатый! И в чем же дело, как вы думаете? Анекдоты! Два анекдота! Семь лет хотят дать за них. По три с половиной за каждый.

И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два отличных протокола. Один на тему об оскорблении величества (Сталина), другой — о клевете на колхозный строй. Веселая Пышка возмутилась и крикнула в лицо следователю: — Ну и расказала, ну и что? Я ведь не на собрании рассказала, а дома, за столом, в узком кругу. А во-вторых, не правда, что ли? Небось вас вот, к примеру, в колхоз калачом не заманишь!

И подписала оба протокола.

Теперь Аня Большая ждала суда. Семь лет были уже ей определенно обещаны. Аня Большая была первым встретившимся мне представителем мощного племени анекдотистов, так называемых болтунов, обладателей «легкой» статьи 58-10, выгодно отличающихся своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпионов и т. д. В тюремном быту Аня Большая оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым, склонным к немного циничному, но добродушному юмору.

Когда подавленные горем соседки не хотели с ней болтать, она не сердилась. Тогда она пела. Ее излюбленным номером был «Бананово-лимонный Сингапур» и некая заунывная «Беседка». Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейшее контральто, гудела «ты уж не верне-е-ешься», ее ближайшая соседка Лидия Георгиевна стонала, как от зубной боли.

Лидии Георгиевне Менцингер было уже 57 лет. Она была арестована в третий раз. Немка-колонистка, в прошлом учительница немецкого языка, она была фанатично религиозной сектанткой, адвентисткой седьмого дня. Я до сих пор отчетливо вижу ее огромные карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя в эти глаза, я вспоминала рассказ Леонида Андреева о воскресшем Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и ликовали по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых людей и смотрел на всех вот такими же глазами, как у Лидии Георгиевны. Потому что он уже познал, что такое Смерть.

Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопытство к жизни во всех ее проявлениях, даже в уродстве, жестокости, глупости, порой отвлекало меня от собственных страданий. Такое же чувство я наблюдала и у многих других моих спутников, шедших по крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и иллюзии. Все происходившее было слишком нелепо, чтобы длиться долго, — думали многие. И это ожидание, что вот-вот развеется какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери и каждый побежит к своему остывшему очагу, — поддерживало бодрость.

У Лидии Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий. Она отлично знала, что надеяться не на что. Знала также, что ничего особенно любопытного для нее не произойдет. Ведь у нее все уже было.

Я встречала потом массу религиозных самых различных толков. Все они обязательно агитировали за свою веру, вербовали неопитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она молчала сутками, сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов своим взглядом андреевского Лазаря.

Аня Маленькая была женотделкой.

— Я никогда не была беспартийной, — говорила она, все время поправляя падающую на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос, — октябренок была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой.

И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной среде 20—30-х годов, невозможно было представить себе Аню Маленькую. Аня то и дело забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось перестроить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планировала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть; то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той же тюрьме, как раз под нами, во втором этаже.

Только после допросов Анечка возвращалась с посеревшими губами, ложилась лицом к стене и молчала до ночи. Ночью она подходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала:

— Тш-ш-ш, Женя... Чтобы не слышали беспартийные. Такая, понимаешь, разношерстная публика. Даже эсеры есть... Истолкуют еще по-своему. Но ты только послушай...

Ее обвиняли во «вредительстве в партийной работе» и в связях с врагом народа. Этот «враг» был секретарем одного из казанских городских райкомов партии и, кроме того, приходился Ане Маленькой мужем. Любимым красавцем-мужем очень простенькой, даже не миловидной Ани.

— Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня любил. Сколько за ним девчат бегало! Но вот уже семь лет живем и все он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня любит, за партийное мое сердце. А следователь . . .

Аня захлебывается слезами. Следователь, оказывается, говорит ей, что ее брак сам по себе подозрителен. Красавец-мужчина женат на замухрышке. Наверно, скорее всего это фиктивный брак, заключенный по заданию вредительского центра. А как же тогда Борька и Лидочка? От фиктивного, что ли?

Я глажу Аню Маленькую по худенькому, почти детскому плечу.

— Не слушай ты этого ирода! Весь партактив знает, как тебя Ваня любит.

— Тш-ш-ш . . . Не ругай следователя. Нина может услышать. Беспартийная работница. Скажет — уж если коммунисты следователей ругают, так что же мне тогда?

Но Нина Еременко крепко спала по ночам, только изредка испуганно вскрикивая. Зато днем она очень нервировала остальных обитателей камеры. Поджав ноги калачиком, она мерно раскачивалась на нарах, повторяя все одну и ту же фразу: «Когда же конец-то?»

Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяжелых мыслей, не интересовали Нину. Никакие курортные воспоминания Иры Егеревой не будили в ней ответных чувств. Черноморский пляж и теннис — все это было слишком далеко от разнорабочей фабрики «Спартак», нескладной девчонки с неотмывающимися руками и неистребимым запахом сырой кожи, который шел от Нины вопреки двухмесячной давности.

Нине было 20 лет, из которых пять она проработала на фабрике «Спартак». Погубили ее именины. Да, Лелька рыжая позвала ее на именины, а она и пойди, дура такая! А пошла-то, правду сказать, из-за Митьки Бокова. Он уж сколько раз подвезжал. Да не как-нибудь, а все про семейную жизнь заговаривал. Я, говорит, если что, своей жене работать не дам. Пусть домохозяйкой живет. Ну и пошла, чтобы лишний раз с ним повидаться. Еще брошку Лельке купила в ювелирном. Хорошую, позолоченную. А там, на именинах, ребята выпили. Ну, и кто-то будто на Сталина что-то сказал . . . Вот лопни глаза — не слыхала! А теперь двенадцатый пункт предъявляют. Недонесение. Ты, говорит, обязана была, как советская пролетарка, на другой день на изменников в НКВД заявить, а ты их покрыла.

И вот уже два месяца сидит Нинка поджав ноги калачиком и твердит: «Когда же конец-то?» И ничто ей не мило. Даже конфет у Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда Аня Большая уж очень надрывно запоет про беседку, Нина на-

чинает рыдать. Главное, она боится, что Митька Боков не дождется ее, на другой женится. И уплывет у Нинки из рук синяя птица — счастливая судьба неработающей домохозяйки.

Иногда мы пытаемся утешать Нину тем, что Митька Боков скорее всего тоже сидит. Ведь и он не донес на кого-то. Но тут лицо занудливой девчонки хорошеет и озаряется внутренним светом, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел, и она начинает страстно доказывать, что Митьку Бокова не возьмут, без него в цеху ведь совсем невозможно. Спаси Бог! Пусть уж лучше он на Лельке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропадает. Так уж, видно, ей на роду написано.

А Аня Маленькая, привыкшая работать именно с такими, как Нинка, пуще всего боится, как бы у Нинки не возникло «нездоровое отношение к партии в целом». Поэтому свои горести после допросов Аня Маленькая поверяет только мне, «как партиец партийцу». Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

— Понимаешь, Женя, ведь по сути дела она — настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться . . . И материала против партии нашей им нельзя давать.

Да, я тоже поддаюсь жалости, особенно когда речь заходит о Вовке, двадцатилетнем сыне Надежды Дерковской. Вова родился в 1915 году, в одиночке царской тюрьмы. Родители его, оба эсеры, сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 1917-го освободил семью, и двухлетний Вова увидел родину матери — Петроград. Но уже в 1921-м они снова были в ссылке. Отец Вовы умер в Соловках. Странствуя с матерью из ссылки в ссылку, Вова попал в Казань. Здесь он провел последний светлый промежуток своей жизни, и здесь его застал 1937 год. Бог знает в который раз — уж не меньше чем в десятый — была арестована Надежда, мать Вовы. Но на этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вовка, только что ставший, к великой радости матери, студентом пединститута.

— Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрьме, а вырос в ссылке, — говорила Дерковская, — он ничуть не эсер. Аполитичен. Прекрасный математик. Ездил он за мной только потому, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете . . .

С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки подростка Алешу. Непереносимо. Еще можно как-то продолжать жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя подхватила и закрутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье, разум, превратить тебя в труп или в бессловесную

рабочую скотину. Но когда все это проделывают с твоим ребенком, с тем, кого ты растила и оберегала . . .

И я жалею Дерковскую едкой щемящей жалостью, хоть она действительно первая живая эсерка, которую я увидела, хоть она и резко высказывает мне в глаза свои мысли.

— Аксенов, муж ваш, мне понравился, как никто из коммунистов, облеченных властью, — рассказывает она, прикуривая одну папиросу от другой, — я приходила к нему, когда меня уволили с работы. По-хорошему, не по-палачески говорил со мной. Лично вас мне жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты наконец тоже почувствуют на себе многое, о чем мы им давно говорили . . .

Мне любопытно дознаться, что же противопоставляют нашей программе современные эсеры. После нескольких бесед становится ясно, что никакой позитивной программы нет. Все, что говорит Дерковская, носит только негативный характер по отношению к нашему строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, укрепившиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем, уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как сильны эти связи, принявшие почти кастовый характер.

Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая дымить беспрерывно, она жестоко страдала. Как раз в это время мне снова принесли передачу, в которую мама снова положила две пачки папирос.

— Вот и ваше спасение пришло, — весело сказала я, обнаружив эти пачки.

Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачивается, говорит «спасибо», но папирос не берет.

— Минуточку. Сейчас.

Подсаживается к стене и начинает стучать. Рядом сидит Мухина, секретарь их подпольного (настоящего!) областного комитета. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что я свободно прочитываю ее стук.

— Одна коммунистка предлагает папиросы. Брать ли?

В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли эта коммунистка в оппозиции. После вопроса Дерковской и моего ответа — «Нет, не была» — Мухина категорически выстукивает:

— Не брать!

Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи Дерковской. Ей, тонкой как сухое деревцо, легче было бы остаться без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на средних нарах, и в голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условна грань между высокой принципиальностью и узколобой

нетерпимостью, и еще о том, как относительноны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### КРУГЛЫЕ СИРОТЫ

Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось, впервые за 20 послеоктябрьских лет стала местом заключения политических. До 1937 года они вполне умещались в подвале Черного озера. Зато теперь все три казанские тюрьмы были битком набиты «врагами народа». Однако традиции, сложившиеся в бывшей уголовной тюрьме, — привычка к грязи, грубости и некоторая свобода режима, — еще продолжали существовать по инерции.

Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как тонкий звук перестукивания тонул в общем гуле этого перенаселенного, знойного, вонючего ада. (На Черном озере гулко отдавался даже тоненький звук гареевской булавоочки.) Замечания по этому поводу делались дежурными как-то вяло и не всерьез. Благодаря вольности мы скоро установили связь чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в ветхом окне были выбиты, а деревянный щит имел несколько иную форму, чем в подвале. Он резко расширялся сверху, пропуская в камеру больше света и являясь в то же время звукоуловителем. Если подойти вплотную к окну и громко сказать что-нибудь прямо в глубь щита, то в нижней камере можно было все слышать.

Однако разговаривать так громко все же опасно. И вот был изобретен так называемый «оперный» метод общения. Инициатором его явился сидящий в камере, расположенной под нами, секретарь пригородного райкома партии. Фамилии не помню, звали его Сашей.

Однажды, на исходе знойного мучительного дня, когда надзиратели были отвлечены раздачей «баланды», мы услышали неплохой баритон, исполняющий арию Тореадора по такому неожиданному либретто:

*Сколько вас там, женщины-друзья?  
Сколько вас там, спойте вы нам!  
Спойте  
Фамилии свои подряд,  
Здесь все  
Вас знать хотят,  
Да знать хотя-а-ат,  
Да знать хотят, хотят!*



Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные мотивы были пропеты наши, а потом и их фамилии. Установилась тесная вокальная связь, дававшая возможность своевременно узнавать все новости. А их было много. Ежедневно мы слышали имена новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъявлены, как усиливаются «особые методы» при допросах. Нам удалось даже наладить обмен записками через уборную. Писали на развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и маленьких клочках, все тем же огрызком карандаша, который Ляма украла у следователя и на прощанье подарила мне.

Саша, секретарь пригородного райкома, вначале был полон «титанического самоуважения». Все происходящее казалось ему маленьким кратковременным недоразумением. В вокальных беседах с Аней Маленькой он даже продолжал приглашать ее после «выхода отсюда» идти на работу «в мой район». С вельможными бархатными интонациями перечислял преимущества этого района сравнительно с тем, где работала до ареста Аня Маленькая. Даже сидя на нарах рядом с двумя беспартийными инженерами и выноса по очереди с ними парашу, он не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей.

Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу только подчеркнуть силу инерции и гипнотическую власть представлений, полученных в начале жизни.

Отрезвление, как у тысяч таких Саш, началось после применения на допросах «активных методов». Однажды один из беспартийных инженеров пропел нам на мотив арии князя Игоря, что Сашу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и кровоточит. Нет ли у нас чего-нибудь смягчающего, вазелина например? Потом папирос бы ему . . .

Есть папиросы, но как передать? Через здешнюю уборную нельзя. Это настоящая клоака, и как возьмешь в рот что-нибудь, побывавшее в ней? Возникла мысль опустить папиросы на ниточке через окно. Из моего уже совсем облысевшего махрового халата были опять надерганы нитки. Папиросы привязали, как червяка на удочку, и все сооружение было спущено через отверстие в нижней части деревянного щита. «Нижние» удачно сняли при помощи деревянной ложки две папиросы. Но третья застряла между окнами двух этажей, и, выйдя на прогулку, мы увидели, как она ярко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы спели на мотив популярной студенческой песенки:

*Саша, Саша, над твоим окошком  
Папироска белая висит.  
Ты ее достать попробуй ложкой,  
А то всем нам здорово влетит.*

Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично:

*Да, да, я слышал,  
Ах, все теперь я понял,  
Ее достать решился  
Сегодня ж вечером...*

В такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися школьниками. Именно в один из таких моментов, когда мы, вопреки всему, весело смеялись, мне и суждено было принять новый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к окну.

— Ну, как там, как там наша папироска? — шутивно пропела я. Но в ответ услышала не спетые, а сказанные слова:

— Женя, соберись с силами. У тебя новое горе. Твой муж здесь. Арестован несколько дней тому назад...

Я опустила на нары...

И сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С момента ареста я категорически запрещала себе думать о детях. Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными были конкретные мысли о мелочах их жизни.

Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при этом: «Мамуля, ножки закутай красным платочком...» Как он сейчас смотрит на этот красный платочек, ненужным комком валяющийся на диване?

Алеша и Мая наперебой жаловались мне на Ваську и дразнили его: «Васенка-поросенка! Любимчик! Ябеда!»... Иногда Васька звонил мне на работу и спрашивал:

— Ето университет? Позовите мамулю...

Как точно об этом у Веры Инбер:

*Смертельно ранящая, только тронь,  
Воспоминаний иглистая зона...*

До этого дня, когда эти смертельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я отгоняла их короткой формулой: «Отец с ними!» И вот... А я наивно думала, что эта чаша минует наш дом. Ведь по тюремному телеграфу я узнала, что он снят с поста предгорисполкома, но не исключен из партии и даже назначен на новую работу — начальником строительства оперного театра. Это казалось мне признаком того, что с ним будет все хорошо. Ведь других вот не понижали в должности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму. Нелепая была затея — устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев.

Навалилась ночь, душная, непроглядная, провонявшая парашей и испарениями сгрудившихся в кучу давно не мытых людей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная до краев отчаянием.

Напрасно я стараюсь переключить мысли на «мировой масштаб». Нет, сегодня мне не до судеб мира. Мои дети! Круглые сироты. Беспомощные, маленькие, доверчивые, воспитанные на мысли о доброте людей. Помню как-то раз Васька спросил: «Мамуля, а какой самый кичный зверь?» Дура я, дура, почему я ему не ответила, что самый «кичный» — человек, что именно его надо особенно опасаться!

Я больше не сопротивляюсь отчаянию, и оно вгрызается в меня. Особенно терзает воспоминание о пустяковом эпизоде, произошедшем незадолго до моего ареста. Малыш забрался в мою комнату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я застала его собирающим черепки и источающим нестерпимое парфюмерное благоухание. Он смущенно взглянул на меня и сказал с наигранным смешком: «Я просто хлопнул дверью, духи сами упали».

— Не ври, противный мальчишка! — крикнула я и сильно шлепнула его. Он заплакал.

Сейчас этот эпизод жег меня адской мукой. Казалось, нет на моей совести более черного преступления, чем этот шлепок. Маленький мой, бедный, совсем одинокий в этом страшном мире. И чем он вспомнит мать? Тем, что она так ударила его за какие-то идиотские духи. Как я могла сделать это? И главное — теперь уже ничем, ничем не искупить...

Боль той ночи была так остра, что расплескалась на много лет вперед и дошла до сегодняшнего дня, когда я, спустя больше чем 20 лет, пишу об этом. Но я должна писать. Как у Инбер: «Без жалости к себе, без снисхожденья идти по этим минным загражденьям».

Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как В. Инбер. Но думаю, что нам было страшнее в наши тюремные ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В их страданиях был смысл. Они чувствовали себя борцами с фашизмом. А мы, терзаемые под прикрытием привычных слов, были лишены даже этого утешения. Зло с большой буквы, почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, не то явь. Какие-то чудовища с картин Гойи наползают на меня.

Сажусь на нарах и оглядываюсь. Все спят. Только место Лидии Георгиевны пусто. Она стоит около меня. Ее маниакальные глаза устремлены сейчас на меня с простой человеческой теплотой. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет по-немецки слова библейского многострадального Иова: «То, чего я боялся, случилось со мной; то, чего я ужасался, пришло ко мне».

Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать и не могла. Сухое горе выжигало глаза и сердце. Сейчас я упала

на руки этой чужой женщины из неизвестного мне мира и разрыдалась. Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки: «Бог за сирот. Бог за сирот».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ТУХАЧЕВСКИЙ И ДРУГИЕ

Мы уже давно заметили, что ранним утром, в очень ясную погоду, сквозь разбитые стекла нашего окна можно слышать обрывки доносящихся с улицы звуков радио. Репродуктор был, видимо, где-то поблизости, да и деревянные щиты играли роль звукоуловителей.

В это тихое летнее утро мы явственно услышали повторяемые с большой экспрессией слова «Красная Армия», «Вооруженные Силы» в сочетании со словами «враги народа».

— Что-то опять стряслось, — буркнула, протирая глаза, Аня Большая. — Нет, зря я раньше не интересовалась политикой. Довольно забавная штука, оказывается. Каждый день новые фортели!

— Если неблагополучно в армии — это значит, что расшатаны самые глубокие основы данного государственного строя, — взволнованно заявила Дерковская.

— Думаете, к учредилке, что ли, вернемся, — запальчиво бросила ей Аня Маленькая, а сама потихоньку сжала мне пальцы и тоскливо прошептала: «Неужели и в армии враги народа?»

Все мы замерли у окна. Но ветер доносит только жалкие обрывки слов. Вот как будто «на страже», а вот похоже, что сказали «изменников». И потом, точно назло, совсем ясно два слова: «мы передавали». Потом треск и маршевая музыка. Что случилось? Стучим направо и налево. Все в смятении, никто ничего не знает. Только к вечеру получили более точные сведения. Произошло это при таких обстоятельствах.

В самый разгар дневной жары, когда все мы, изнемогая от духоты и грязи, в одних трусах и лифчиках валялись на нарах, открылась дверь камеры и раздался добродушный басок дежурного по прозвищу Красавчик:

— Ну, девки, потеснись! Принимай новенькую!

Мы зашумели. Это немислимо. И так уже нас семеро в трехместной камере. Куда же восьмого? Дерковская стала грозить голодовкой, но Красавчик, неискушенный в истории революционного движения, еще добродушнее хмыкнул:

— В тесноте, да не в обиде . . .

И легонько подтолкнув новенькую в спину, запер за ней дверь камеры наружным замком. Она так и осталась, точно вписанная в рамку двери.

Прошло несколько минут, пока я опознала за гримасой ужаса, исказившей эти черты, знакомое лицо Зины Абрамовой, Зинаиды Михайловны, жены председателя Совнаркома Татарии Каюма Абрамова.

Значит, берут уже и таких, как Абрамов? Член ЦК партии, член Президиума ЦИК СССР.

— Зина!

Нет, совсем невозможно узнать в этой до нутра потрясенной женщине вчерашнюю «совнаркомшу», с ее сановитой осанкой. Она больше похожа сейчас на ту провинциальную татарскую девчонку, торговавшую папиросами в сельской лавке, девчонку, на которой лет за двадцать до этого женился Каюм Абрамов. Выражение ужаса смыло все детали показного грима. Обнажились и классовые (простая крестьянка) и национальные черты. Татарский акцент, с которым Зина яростно боролась, проступил с особой силой в первых же сказанных ею словах:

— Нет, нет, меня сюда только на минуточку!

В ответ раздалась полная яда реплика Ани Большой:

— Ах, на минуточку? Ну, тогда я и двигаться не буду на ногах. Пойдите там пока.

Сарказм не дошел.

— Да-да, я постою, ничего.

Я никогда особенно не симпатизировала вельможной Зинаиде Михайловне. Она была куда хуже своего мужа, хоть и любившего выпить, хоть и обросшего немного бюрократическим жирком, но все же оставшегося добрым человеком, не забывшим своего пролетарского прошлого. Зина же, превратившаяся из Биби-Зямал в Зинаиду Михайловну, резко порвала все нити, связывавшие ее с татарской деревней. Туалеты, приемы, курорты заполнили все ее время. Улыбки были дозированы в строгом соответствии с табелью о рангах. Мне, правда, перепало больше любезности, чем полагалось бы по скромному чину жены предгорисполкома. Объяснялось это пристрастием Зины к печатному слову. Время от времени она любила выступить со статьей то в газете, то в журнале «Работница». Тогда-то и требовалась моя помощь.

Сейчас, однако, все это было неважно. Потрясенную, почти потерявшую от ужаса сознание женщину, стоявшую в дверях камеры, надо было приласкать и успокоить, насколько это возможно. Я отлично помнила, как поддержала меня в мои первые тюремные дни Лямина доброта. И я подошла к Зине, обняла и поцеловала ее.

— Успокойся, Зина. Пойди ляг пока на мое место. А потом подумаем, куда тебя положить...

К моему изумлению, Зина восприняла мой поцелуй как укус

ядовитой змеи. Дико закричав, она отпрыгнула от двери, чуть не свернув парашу. У меня мелькнула было догадка об остром психозе, но последующие слова Зины все разъяснили:

— В двери глазок. Часовой увидит... Подумает — старые друзья. А ты ведь... про тебя в газетах писали...

Эти слова сразу вооружили против Зины всю камеру.

— Вот моральный уровень членов вашей партии! — патетически воскликнула Дерковская.

— А вы верите нынешним газетам? — прищурившись, осведомилась Ира. — Там вон и про меня писали, что я «правая», а я беспартийная и до тюрьмы даже не знала, что такое правый уклон.

— Думаю, что для мадам будет отведен лучший диван в кабинете Веверса, так что мы уж на нарах тесниться не будем... — И Аня Большая демонстративно повернулась к стене.

Часа три Зина простояла, как распятая, в амбразуре двери. Никто не предлагал ей места на нарах, да она и сама, поднимаясь на цыпочки, брезгливо озиралась кругом, боясь прикоснуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной чайкой, непонятно зачем приземлившейся на помойной яме.

Потом за Зиной пришли. По ее лицу молнией сверкнул восторг. Ведь ей так и говорили: «Мы вынуждены вас задержать на пару часов». Она даже улыбнулась нам на прощанье.

— Полная кретинка! — резюмировала Аня Большая. — Ведь и впрямь вообразила, что ее на волю повели! Куда же мы все-таки ее положим? На нарах даже воробья не сунешь. А тут такая де-белая сорокалетняя тетя...

Прошло несколько часов. Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны, доносящиеся из нашей камеры. Зина Абрамова лежала на полу, у самой парашы. Белая кофточка, смятая и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажившемся плече синел огромный кровоподтек.

Мы застыли в ужасе. Началось! Это был первый случай (по крайней мере, такой наглядный для нас!) избиения женщины на допросе.

Зина была почти без сознания, на вопросы не отвечала. Поднять в такой тесноте ее оплывшее тело на нары нам не удалось. Приложив к ее лбу мокрое полотенце, мы в абсолютном молчании улеглись спать.

— Женечка! — донеслось вдруг из Зинино угла.

Сейчас это звучало уже совсем по-татарски: «Жинишка!»

— Женечка, милочка! Не спи, страшно! Скажи, стрелять нас будут, да?

До сих пор не могу простить себе той мелочной мстительности, с какой я ответила:

— А ты не бойшься со мной разговаривать? Обо мне ведь много кой-чего писали в газетах!

Сказала — и тут же почувствовала стыд за сказанное. Такой детской обидой задрожали ее пухлые губы, разбитые бесстыдной рукой.

— Иди ложись на мое место, Зиночка. А я посижу с тобой. Успокойся. Продумай все происходящее. Наша судьба будет зависеть от общего хода событий. Ты утром была еще на воле. Скажи, о чем передавало радио? Что случилось в Красной Армии?

— Ой, Женечка, милочка, страшно! Ой, джаным, нельзя ведь это здесь говорить-та . . . Ну скажу, не уходи . . . Тебе только . . . Тухачевский . . . Оказался . . .

— А еще кто?

Но на нее уже снова нашел приступ опустошающего страха. Не отвечая на мой вопрос, она судорожно тербит мои пальцы, повторяя:

— Будут расстреливать? Будут, да?

Аня Большая проснулась и садится на нарах. Она вытаскивает из-под соломенной подушки футляр от очков Лидии Георгиевны, блестящий и глянцевиный. Он заменяет Ане отобранное зеркальце. Это свое первое при каждом пробуждении движение Аня повторяет и сейчас. Она вытаращивает глаза и протирает их уголки, оскаливает зубы и рассматривает их, поправляет безнадежно размочалившийся перманент.

— Хорошо! — говорит она, зевая. — Теперь смена нашей Нинке пришла. Надо их сретировать на дуэт. Нинка — контрольно: «Когда же конец-то?», а новая дама — сопрано: «Женечка, милая, стрелять нас будут?» А потом вместе: «Ах мы, зануды, ах мы, зануды!»

Мне по-настоящему жалко Зину. Кроме того, меня почти физически тошнит от негодования при мысли о том, что некий бандит типа Царевского-Веверса только что бил кулачищем по лицу эту сорокалетнюю женщину, мать двоих детей. Но еще сильнее жалости желание узнать, что случилось сегодня в стране, в армии, в нашей безумной тюремной жизни. И я с холодным расчетом отвечаю на Зинины стоны:

— Чтобы ответить на твой вопрос, надо знать обстановку в стране. Скажи мне, кто еще взят вместе с Тухачевским и за что. Тогда я пойму масштаб событий. Тогда будет яснее, уцелеем ли мы лично или нас убьют.

— Ой, Женечка, милочка! Как говорить-та? Дежурный слушает . . . Скажет — информацию дает заключенным. Хуже нам тогда будет.

Зина встает с моего места и, кряхтя, снова укладывается на голый пол, у самой парашаи.

— Спи, Женя! Охота тебе с этой тлей возиться! Завтра мужики все узнают и в окно нам пропоют, — ворчит Аня Большая.

Но не успеваю я закрыть глаза, как Зина снова приподнимается и садится на полу. Она страшна. Распухшая, потерявшая приметы: возраста и общественного положения, даже приметы пола. Просто стонущий кусок окровавленной плоти.

— Страшно мне, Женечка, милая. Ты ведь ученая, высшее образование имеешь (у нее получается «бысшее образовани»). Скажи только: стрелять нас будут?

— Послушайте, гражданка, — негодуяще вмешивается вдруг Дерковская, — чего же вы лезли в политическую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь? И почему вы обращаетесь за моральной поддержкой к тому, кому не доверяете? Ведь вы оскорбили Женю, своего товарища по партии, вы оттолкнули ее, когда она подошла к вам с лаской. Вы не хотели ей ответить на вопрос о том, что происходит на воле. А ведь она сидит уже пятый месяц, и ей так важно знать, что делается за тюремной стеной . . .

Зина отмахивается от нее, как от жужжащего комара.

— Молчи, баушка. Ты за что сидишь-то? За веру, что ли? Богомолка, видать . . .

Дерковская пренебрежительно улыбается.

— Новую внучку дарует судьба. Моя фамилия Дерковская. Член обкома партии социалистов-революционеров.

— Член обкома? Врешь ты, баушка. Я обком весь по пальцам знаю. Да и не похожа ты на старую большевичку. Язык у тебя вроде не нашинский.

Да, с Зиной надо, конечно, на другом языке. Я присаживаюсь на корточки возле того места, где рядом с вонючей ржавой парашей лежит бывшая «первая дама Татарстана», и, с напряжением вспоминая татарские слова, выбор которых у меня крайне ограничен, все же слеплю фразу:

— Успокойся. Засни. Не бойся меня. Это ведь все неправда, что про меня там писали. Сейчас вот и про тебя так напишут. Завтра я тебе много расскажу и ты мне все расскажешь.

Я глажу ее по волосам. Потом называю имена ее детей. Ремик . . . Алечка . . . Надо сберечь себя ради них.

Да, это был правильный подход. Зина вытирает мокрым полотенцем свое распухшее страшное лицо и вдруг быстрым страстным шепотом рассказывает мне по-татарски обо всем. От яростного желания узнать все мои скудные сведения в татарском



языке как-то волшебным образом расширяются сами по себе. Я понимаю почти все.

Да, теперь-то Зина и сама поняла, что все это была ложь про меня. Ведь вот и про нее выдумали же, что она буржуазная националистка, что Каюм — турецкий шпион. А сегодня с утра по радио . . . Никто ничего понять не может. Тухачевский, Гамарник, Уборевич, Якир и еще многие с ними . . . Все начальники военных округов. Как понять-та? И у нас в Казани все взяты. И председатель ТатЦИКа, и первый секретарь горкома, и почти все члены бюро обкома.

Большого Зина рассказать не может. И без того она заметила немало для своего кругозора. Она замолкает, оглядывается вокруг себя и вдруг со всей беспощадностью осознает свое положение, видит крупным планом и парашу, и тараканов на полу, и свою изорванную одежду.

— Эх, Женечка, милочка! Знала бы ты, на каких кроватях я лежала!

Перед ней, видимо, проносятся видения царственных альковов из дорогих номеров гостиницы «Москва» и правительственных санаториев.

Спи, бедная Зина! Ты так же мало заслужила те пышные ложа, как и этот грязный тюремный пол с тараканами и парашей. Быть бы тебе веселой, круглолицей Биби-Зямал из деревни под Буинском. Траву бы косить, печь хлебы. Так нет же, понадобилось кому-то сделать из тебя сначала губернскую помпадуршу, а теперь бросить сюда.

И всех-то нас история запишет под общей рубрикой «и др.». Ну, скажем, «Бухарин, Рыков и др.» или «Тухачевский, Гамарник и др.».

Смысл? Дорого дала бы я тогда, чтобы понять смысл всего происходящего.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### В МОСКВУ

Тюрьма гудела. Казалось, толстые стены рухнут под напором неслыханных новостей, передаваемых по стенному телеграфу.

— Сидит весь состав правительства Татарии.

— При допросах теперь разрешены физические пытки.

— В Иркутске тоже сидит все руководство.

Иркутском казанцы интересовались особенно живо, потому что наш бывший секретарь обкома Разумов был с 1933 года сек-

ретарем Восточно-Сибирского крайкома партии и увез с собой целый «хвост» казанцев. Звал он много раз и нас с Аксеновым и был очень обижен нашим отказом. Когда я встречала его как-то в Москве, в период моих предрестных мытарств, он торжествующим тоном говорил:

— Ну что, убились, каково жить без своего секретаря? Были бы у меня — разве я допустил бы, чтобы с вами так разделались?

За все два месяца пребывания в этой старой тюрьме меня ни разу не вызывали на допрос. Тем более я разволновалась, когда на другой день после прихода к нам Зины мне велели приготовиться ехать на Черное озеро.

Кругом только и говорили о кампании избиений и пыток. Неужели и эта чаша не минует меня?

Дерковская, точно прочтя мои мысли, категорически заявила:

— Абсолютно нечего бояться. Во-первых, сейчас два часа дня и светит солнце. А для всех этих дел у них существует ночь. Во-вторых, ваше дело окончено. Скорей всего, вас и вызывают только затем, чтобы объявить об окончании следствия.

Она была права. Меня вызывали, чтобы я подписала протокол об окончании следствия, а также о том, что злодеяния мои квалифицированы по статье 58, пункты 8 и 11. Дело мое передается на рассмотрение военной коллегии Верховного суда. Объявил мне об этом тот же Бикчентаев.

Он был в прекрасном настроении. Солнце отражалось в графине с водой и в эмалированных кукольных глазах «индюшонка». Он старательно писал, оформляя бумаги, и давал их мне подписывать. Время от времени он взглядывал на меня весело и вопросительно, как бы требуя одобрения своей неутомимой деятельности. Казалось, я должна была восхищаться тем, как здорово все спорилось в его ловких руках.

— Итак, — благодушно заявил он наконец, — дело ваше будет слушаться военной коллегией Верховного суда СССР и, значит, в ближайшие дни вы будете отправлены в Москву.

Он снова выжидательно посмотрел на меня, точно удивляясь, почему я не рада такому известию. И как бы желая все же добиться моего отклика, добавил:

— На меня вам обижаться нечего. Я вел дело объективно. Даже прошел мимо вашей связи с японским шпионом Разумовым. А ведь и об этом можно было неплохой протокол составить.

— С кем? С японским шпионом? Вы имеете в виду секретаря Восточно-Сибирского крайкома партии? Члена партии с 1912 года и члена ЦК?

— Да, шпиону Разумову удалось, обманув бдительность партии, обратиться на руководящие посты. Да, до революции он

действительно состоял в партии. По заданию царской разведки . . .

Сколько раз Царевский и Веверс грозили мне составить протокол о моих попытках «дискредитировать руководство обкома в лице его бывшего секретаря тов. Разумова». Напрасно я уверяла их, что мы с Разумовым были друзьями и то, что они именуют дискредитацией руководства, было всего только приятельской пикировкой. Они продолжали твердить свое, хотя протокола так и не составили. Он им был не особенно нужен. Материала для передачи дела в военную коллегию, с их точки зрения, и так хватало. А теперь . . .

Итак, секретари обкомов из лиц, охраняемых и являющихся якобы объектами террористических заговоров, на наших глазах превращались в субъектов, руководящих такими заговорами. До сих пор мы знали, что в нашей тюрьме сидит 16-летний школьник, обвиняемый в покушении на секретаря обкома Лепу. А сейчас уже сидит все бюро обкома и сам Лепа.

В камере мое сообщение об отправке в Москву произвело сенсацию. Все переглядывались молча. Наконец Дерковская спросила:

— Он объяснил вам, что значит 8-й пункт?

— Нет. Да я и не спросила. Не все ли равно!

— Нет. Это обвинение в терроре. А пункт 11-й — значит группа. Групповой террор. Страшные статьи. И вас предают военному суду.

Впоследствии я часто думала о том, что мое тогдашнее поведение могло показаться моим сокамерникам очень мужественным. На деле это было не мужество, а недомыслие. Я никак не могла осознать всей реальности нависшей надо мной угрозы смертного приговора. Совершенно непостижимо, как я пропустила мимо ушей, точнее — мимо сознания — объяснение Дерковской насчет того, что по этим пунктам положено минимум 10 лет строгого тюремного заключения. Минимум. Я знала, что максимум — это расстрел, но ни на минуту не верила, что меня могут расстрелять.

Настоящий предсмертный ужас пришел ко мне позднее, уже в Москве, в Лефортовской тюрьме. Здесь же, в ежеминутном потоке безумных новостей, наводящих на мысль о совершившемся государственном перевороте, все воспринималось как какая-то нереальная сумятица и неразбериха. Казалось, еще немного — и партия, та ее часть, которая оставалась на воле, схватит безумную руку, сожмет ее железным кольцом и скажет: «Довольно! Давайте разберем, кто же тут настоящий изменник!»

Меня провожала тепло и любовно вся камера в полном составе, без партийных различий. Пришивали пуговицы и штопали

чулки. Давали советы и просили запомнить адреса их родных. Я слушала все как во сне. Меня терзала одна мысль.

Дерковская сказала, что перед отправлением в этап должны дать свидание с родными. И я уже ясно видела жгучие глаза мамы, растерянные, испуганные личики детей, которые увидят меня через решетку. Надо ли это? Может быть, для них это воспоминание будет мучением на всю жизнь?

Все эти сомнения оказались лишними. Опыт Дерковской, вынесенный из царской тюрьмы, не пригодился. Здесь не было места «гнилому либерализму», а также «ложному гуманизму». Никакого свидания с родными мне не дали. Я никогда не увидела больше Алешу и маму.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ЭТАП

— С вещами!

Какое содержание скрывается за этой короткой формулой! Ты снова между перекладинами чертова колеса. Оно вертится и волочит тебя за собой. От всего близкого и дорогого — навстречу безымянной пропасти. Ты лишена свободы. Тебя волокут, как вещь, куда вздумается хозяевам.

Лидия Георгиевна, адвентистка седьмого дня, использует наконец напряженность момента для пропаганды своих взглядов.

— И всегда-то мы — песчинки, которые несутся с неведомым ветром. А сейчас вам послано испытание, чтобы вы осознали, в чьих руках судьба ваша.

— Но когда вершителями моих дней и судеб становятся негодяи вроде Царевского — это унижительно. Подчиняться им — постыдно. От этого надо бы уйти. Но на это как-то еще нет сил.

— Помилуй вас Бог от такого шага! Убьете душу живую.

Дерковская, забыв об эсеровской принципиальной непримиримости к коммунистам, утирает слезы.

— Скучно теперь будет в камере. Некому стихи почитать. Блока вы меня полюбить заставили.

— Что же это вы плачете обо мне, не спросясь у Мухиной? — шучу я. — Еще разрешит ли она вам плакать о коммунистке, не примыкавшей к оппозиции?

Она сердито отмахивается и громко сморкается в полотенце. А я им читаю на прощание тоскливые стихи О. Мандельштама:

*Как кони медленно ступают,  
Как мало в фонарях огня...  
Чужие люди, верно, знают,  
Куда везут они меня...*

Этап в Москву на заседание военной коллегии Верховного суда собирали немаленький. Это мы безошибочно различали своим обостренным слухом. «Брали» из многих камер. Из нашей — двоих: меня и Иру. Последнее обстоятельство особенно возмущало всех, в том числе и самое Иру.

— Ну вы-то ладно! — говорила она. — Вы хоть член партии! А я при чем, чтобы меня на военную коллегую?

Мысль о том, что принадлежность к коммунистической партии является отягчающим обстоятельством, уже прочно внедрилась в сознание всех.

Что же это такое? «Восемнадцатое брюмера Иосифа Сталина»? Или как еще назвать все это?

И вот мы готовы. Пожитки связаны в узел. Выслушаны все последние советы и пожелания, приняты напутствия по стенному телеграфу и по вокальному радио. Мы с Ирой сидим еще на тех же нарах, но нас уже здесь нет. Как сквозь сон слышу причитания Зины Абрамовой:

— Тебе хорошо, Женечка, милочка! У тебя высшее образование, не пропадешь... А я вот...

Если бы она знала, как мало пригодилось мне в дальнейшем образование и как пригодилась физическая устойчивость!

Дверь открывается. Нас выводят в коридор, сводят вниз по лестнице. Что это? Ошибка конвоя? Внизу, у самой двери, переплетенной железными прутьями, сидят на своих узлах две отлично знакомые женщины. Обе наши, университетские. Юлия Карпова, биолог, и Римма Фаридова, историк.

Нет, не ошибка. Нас объединили сознательно. Всех нас везут в Москву. Жадно набрасываемся друг на друга с расспросами. Выясняется, что Юлия и Ира по одному «делу» — члены слепковского семинара. Теперь их встреча уже не опасна для следователей, ведь следствие окончено.

Мое предположение, что Римма, как бывшая аспирантка Эльвова, вероятно, привлекается по моему «делу», оказывается неверным.

— Нет, — беззаботно говорит Римма, — я татарка, и им удобнее п у с т и т ь меня по группе буржуазных националистов. Вначале я действительно п р о х о д и л а у них как троцкистка, но потом Рудь з а в е р н у л дело, сказал, что по троцкистам у них п л а н п е р е в ы п о л н е н, а по националистам они о т с т а ю т, хоть и взяли многих татарских писателей.

Все эти оригинальные глаголы Римма употребляет без всякой иронии, точно речь идет о выполнении самого обычного хозяйственного плана. Как будто она не видит во всем происходящем ничего странного. Вообще Римма выглядит чудесно, лучше всех нас. Только позднее я поняла причины этого. С первого же допро-

са Римма пошла на все. Десятки людей из татарской интеллигенции и вузовского партактива были принесены в жертву ее отношению тюремному благополучию. Одной из этих жертв оказался и муж Риммы, бывший культпроп обкома, умный, сдержанный, молчаливый человек, похожий на китайца и прозванный в «Ливадии» Конфуцием. Именно показания жены дали основание для вынесения ему смертного приговора. За все это Римма получила тридцать сребреников реальных, в виде постоянных передач, и тридцать — иллюзорных, в виде обещаний дать ей, как «чистосердечно раскаявшейся и помогшей следствию», не тюрьму, не лагерь, а только ссылку, да еще всего на три года.

Юля Каропова поразила меня рассказом о поведении Слепкова. Он, оказывается, тоже был привезен для «переследствия» из уфимской ссылки, где находился после трех лет политизолятора. По рассказу Юли, Слепков пошел на все, чего требовали от него следователи. Дал список «завербованных», свыше 150 человек. Давал любые «очные ставки», в том числе и Юле. Это был какой-то гнусный спектакль, в котором и Слепков, и следователь были похожи на актеров из кружка самодеятельности, произносящих свои реплики без тени правдоподобия.

Глядя Юле в лицо пустыми глазами, Слепков повествовал о том, как он в Москве «получил от Бухарина террористические установки», а приехав в Казань, поделился ими с некоторыми членами подпольного центра, в том числе с Юлей. Она, мол, полностью согласилась с установкой и выразила готовность быть исполнителем террористических актов. Юля, задохнувшись от изумления и гнева, закричала на него: «Лжет!» Он патетически воскликнул: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией».

Таким образом, Юлино «дело» выглядело куда лучше оформленным, чем мое. Вместо моих «свидетелей», которые якобы знали о существовании подпольной группы, но сами в ней не участвовали, здесь признания делал сам так называемый «руководитель бухаринского подполья» в Казани. И он же разоблачал «члена группы» — бедную круглоглазую Юльку, ортодоксальнейшую из всех партийных ортодоксов.

До сих пор не понимаю, что заставило Слепкова поступать подобным образом. В жизни он казался обаятельным человеком, привлекавшим к себе сердца не только блестящей эрудицией, но и человеческой добротой.

Неужели это была вульгарная попытка купить себе жизнь ценой сотен других жизней? Или, может быть, это была та самая тактика, о которой говорил Гарей: хитроумное решение — подписывать все, доводя до абсурда, стараясь вызвать взрыв негодования в партии? Это было так же непонятно, как и многое другое

в том фантастическом мире, в котором я обречена была теперь жить, а может быть, и скоро умереть.

Мы все четверо должны были предстать перед военным судом по обвинению в политическом терроре. Римма уверяла, что, по ее сведениям, в этом этапе мы — четверо — единственные женщины среди многих мужчин.

Казалось бы, все это должно было вызывать у нас мысли о возможности смертной казни. Это было бы логично. Но нарушение логики, являвшееся законом этого безумного мира, видимо, коснулось и нас. Так или иначе, ни одна из нас не допускала мысли о подобном исходе.

Ира настойчиво твердила о своей беспартийности, дававшей ей, по ее мнению, колоссальное преимущество сравнительно с нами, тремя коммунистками.

Римма верила в обещанную следователями «вольную ссылку», а мы с Юлей успокаивали себя разговорами о массовости происходящего действия, о том, что «всех не расстреляешь», и еще почему-то — судьбой Зиновьева, Каменева и Радека. Уж если им дали по десять лет, так неужто нам больше? Наивность этого рассуждения можно извинить, принимая во внимание, что мы уже полгода сидели в тюрьме и не наблюдали изо дня в день того жуткого процесса, который теперь, после смерти Сталина, получил академическое название «нарушение социалистической законности».

И вот ворота старой тюрьмы снова захлопнулись за нами. «Черный ворон» уже заполнен. Из его закрытых кабинок доносятся покашливания и вздохи. Поскольку мы уже соединены вчетвером, нас можно больше не прятать друг от друга. Поэтому нас размещают прямо на узлах, в узком коридорчике «черного ворона».

Сквозь трещинку во входной дверце можно кое-что видеть. Не простым глазом, конечно, а наметанным, тюремным, скрупулезно наблюдательным и проницательным до неправдоподобия. Обоняние, слух, ощущение оттенков движения тоже помогают.

Вот запахло липой. Это значит — проезжаем мимо памятника Лобачевскому. Большая выбоина в асфальте — заворот на Малую Проломную. Остальное дополняет воображение. Оно фиксирует картины дорогого мне города, моей второй родины, «где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил» . . . Ничего, что сентиментально. В такую минуту можно себе позволить.

Стоп. Запахло горячими рельсами, паровозной гарью. Раздалось деловитое пыхтенье, потом короткие тревожные вскрики паровозов.

— Выходь давай!

Нет, это не знакомый вокзал. Это где-то на отдаленном участке пути. А как же свидание с детьми, с мамой? Ведь Бикчентаев

обещал. Нет. На перроне только целый выводок следователей и конвойных. После темноты «черного ворона» в глазах рябит от звезд и блестящих пуговиц. У некоторых из них и ордена. На этом фоне резко выделяется Веверс, одетый в эlegantный штатский костюм цвета голубиного крыла. На его физиономии, внимательной и напряженной, знакомая гримаса — смесь ненависти и презрения — та самая, которой их обучают в спецшколах.

— Сюда! Сюда!

Самый обыкновенный жесткий купированный вагон. Четыре места. У двери каждого купе — отдельный часовой. Только дверь среднего купе свободна и открыта. Там едут следователи, сопровождающие в Москву свой ценный груз.

Толчок. Паровоз прицепили. Еще толчок. Поехали... От чего уезжаем — было ясно. От своих детей, брошенных на произвол судьбы (ах, если бы только судьбы! На произвол НКВД — это пострашнее!), от мамы, от университета, от книг, от чистой, светлой жизни, полной сознания правильности выбранного пути. А куда? Ну, это знают только те, кто везет нас.

В купе заходит Царевский. Он разъясняет правила поведения в пути. Как есть, пить, спать, как разговаривать, как в уборную ходить. Я давно не видела его и теперь замечаю в его лице что-то новое. Оно стало землисто-темным и резко выделяется рядом с выгоревшими светлыми волосами. Он кажется старым, хотя ему не больше 35. Голос у него тот же: скрипучий, гнусный, с издевательскими интонациями. Но в глазах его рядом с Подлостью живет теперь Ужас.

Тогда это казалось необъяснимым. Но позднее мы узнали, что в это время уже начинался процесс изъятия первого «слоя» в самом НКВД. «Мавр сделал свое дело — мавр может идти». Под некоторых следователей уже «подбирали ключи», и они, съевшие собаку на делах такого сорта, смутно чувствовали это. В частности, Царевский был арестован вскоре после нашей отправки в Москву и, просидев короткое время, повесился в камере на ремне, который ему удалось спрятать. Рассказывали, что он перестукивался с соседями и давал всем советы «ничего не подписывать».

Получил 15 лет срока и веселый индюшонок Бикчентаев, были ликвидированы и Рудь, и Ельшин, о встрече с которым на Колыме я расскажу дальше.

Но сейчас все это было еще впереди, а пока Царевский, разъяснив нам подробно, что именно запрещается, ушел в следовательское купе жрать свиные отбивные, запах которых разносился по всему коридору, и пить белое вино, бутылки из-под которого все время выносили конвоиры.

Окно купе было густо замазано белой краской. Только выходя



на «оправку», мы могли иногда, через неплотно закрытую дверь вагонной площадки, улавливать очертания хорошо знакомых мест на привычной Московской-Казанской дороге.

Запомнился эпизод с малиной. На одной из стоянок мы заметили, что конвойные передают друг другу кулечки со свежей ягодой. У Иры Егеревой было 50 рублей. Ее отец, известный в Казани профессор Строительного института, какими-то правдами и неправдами добился передачи их дочке.

— Попросите следователя Царевского, — сказала Ира дежурному, и когда Царевский явился, Ира обратилась к нему тоном кокетливой дамы:

— Лейтенант, прикажите купить нам малины. Вот деньги . . .

Не знаю уж, что подействовало на Царевского: смехотворное ли несоответствие этого тона всей обстановке или те смутные предчувствия личной трагедии, которые терзали в это время черноозерского палача, но только он вдруг взял деньги и через несколько минут вернулся со сдачей и двумя кулечками малины.

Она была очень свежей, сухой, с серебристой пыльцой на поверхности. Она благоухала. Ее было жалко есть. Мы пересчитали ягодки и разделили их поровну на 4 части. Мы ели ее полтора часа, смакуя каждую ягодку отдельно, заливаясь счастливым смехом.

Ведь нам удалось урвать последний кусочек со стола великолепного пиршества жизни, в котором нам не суждено больше участвовать.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ БУТЫРСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены донельзя, они бегали, метались, что называется, высунув языки. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии.

Мы еще долго оставались в вагоне давно прибывшего в Москву поезда, прислушиваясь к торопливому топоту ног на перроне, к отрывочным возгласам, к таинственным лязгам и скрипам.

Наконец мы погружены в «черный ворон». Снаружи он объемистее казанского и выглядит даже приятно, окрашен в светло-голубой цвет. Безусловно, прохожие уверены, что в нем хлеб, молоко, колбаса.

Но клетки, в которые запирают людей, еще уже, душнее и невыносимее казанских. Клетки выкрашены масляной краской,

воздух не проникает в них, и уже через несколько минут начинаешь по-настоящему задыхаться, тем более в этот раскаленный, пахнувший плавящему асфальтом июльский день.

Изнемогая, истекая потом, со слипшимися волосами и открытыми ртами, мы сидим запертые в клетки, терпеливо ждем. Долго ждем, потому что, наверно, не хватает и шоферов. Вокруг машины не прекращается тот же топот торопливых ног, те же перешептывания, стуки, хлопанья каких-то дверей. Нелегкий труд у этих людей.

Каким-то шестым чувством мы догадываемся, что конвоя в нашей машине еще нет, и начинаем переговариваться вслух. Оказывается, вся большая машина полна казанцами. Но женщин, действительно, только четыре. Это мы. А среди мужчин здесь почти все правительство Татарии последнего состава и много членов бюро обкома. Здесь и Абдуллин, которого ждал расстрел. Мы успели обменяться с ним последним приветствием.

Но вот топот тяжелых сапог совсем близко. Захлопываются дверки, шумит оживший мотор. Тронулись . . . Едем далеко. Значит, в Бутырки. Ведь Лубянка-то близко от Казанского вокзала.

Становится совсем невыносимо. Кто-то кричит: «Откройте, дурно!» Короткий ответ: «Не положено!» Руки и ноги затекли. Сознание затуманивается. Перед глазами бегут странные картины. Вспоминаю, что во время Великой французской революции на гильотину возили в открытых тележках. Не мучили удушьем. А старый Бротто у Франса даже читал, стоя в тележке, Лукреция. До самого последнего момента.

Усилим воли, чтобы не потерять сознания, стараюсь занять его — мысленно воспроизвожу вид улиц, по которым мы едем. Потом все путается.

Я прихожу в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Машина стоит. Дверка моей душегубки открыта, и некто в белом халате сует мне в нос едко пахнувший флакончик. Потом методически открываются следующие двери и туда тоже суют пузырьки. Значит, и мужчины не выдержали этого пути.

Дорогу от «черного ворона» до так называемого бутырского «вокзала» я прошла, по-видимому, в полубессознательном состоянии, так как я ее сейчас никак не могу вспомнить. Я вспоминаю себя уже сидящей на своем узле с вещами в огромном холле, действительно напоминающем вокзал. Большое, гулкое, довольно чистое помещение со снующими взад и вперед людьми обоего пола в форме, не так уж сильно отличающейся от железнодорожной. Очень много дверей. Какие-то кабины, похоже на телефонные будки. Потом я узнала, что это так называемые «собачники» — закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы — строгая

изоляция. Условный звонок у дверей сигнализирует приближение новой группы заключенных.

К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне:

— Следуйте за мной.

Еще минута — и я в собачнике. Заперта снаружи. Одна. Нас снова разлучили. Я едва успеваю оглядеться. Кабина чуть пошире телефонной будки, выложенная изразцовыми плитками. Вверху лампочка. Табуретка.

Замок снова щелкает, меня опять ведут.

Теперь я в большой комнате, битком набитой голыми и полуодетыми женщинами. Черными галками выделяются надзирательницы в темных куртках.

Баня? Медосмотр? Нет. Массовый личный обыск вновь прибывших.

— Раздевайтесь. Распустите волосы. Раздвиньте пальцы рук. Ног... Откройте рот. Раздвиньте ноги.

С каменными лицами, точными деловитыми движениями надзирательницы роются в волосах, точно ищут вшей, заглядывают во рты и задние проходы. На лицах одних обыскиваемых женщин — испуг, на других — омерзение. Бросается в глаза огромное количество интеллигентных лиц среди арестованных.

Работа идет быстрым темпом. На длинном столе растет гора отобранных вещей: брошки, кольца, часы, сережки, резинки, записные книжки. Это ведь москвички, арестованные только сегодня. Они только что из дома, и у них много всяких милых мелочей. Им еще тяжелее, чем мне. У меня бесспорное преимущество — полугодовой опыт и то, что мне уже нечего терять.

— Одевайтесь!

Ко мне вдруг подходит молодая девушка, почти девочка, с коротко остриженными «под мальчика» волосами.

— Вы член партии, товарищ? Не удивляйтесь, что я спрашиваю об этом здесь. Мне по вашему лицу кажется, что вы коммунистка. Ответьте, мне это очень важно. Да? Ну вот, а я комсомолка. Катя Широкова меня зовут. Мне 18 лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте. Смотрите, вон та немка спрятала в волосы несколько золотых вещей. Должна ли я сказать надзирательнице? Я просто теряюсь. С одной стороны, донос — это противно. А с другой — ведь это советская тюрьма, а она, может быть, настоящий враг?

— А мы с вами, Катя?

— Ну, это, конечно, ошибка. Лес рубят — щепки летят. Я уверена, что выпустят. Но страшно трудно решить, как вести себя вообще и вот в данном случае...

Я смотрю на женщину, указанную Катей. Вижу лицо необычайно нежной красоты и обаяния. Потом я узнала, что это была

известная немецкая киноактриса Каролла Неер-Гейнчке. Вместе с мужем-инженером она приехала в 34 году в СССР. Два колечка, удачно спрятанные от бдительных очей надзирательницы, были памятью о муже, которого она считала уже мертвым. Ловким движением актрисы, часто снимавшейся в приключенческих фильмах, она сумела спрятать две золотые вещицы в золотом изобилии своих волос.

Милая, забавная мордочка Кати Широковой устремлена на меня с требовательным вопросом.

— Вам хочется получить директиву, Катюша?

— Ну, хотя бы в данном случае. Вот с этой немкой . . .

— Знаете что, Катя . . . Поскольку мы голые сейчас, и в буквальном и в переносном смысле слова, то, я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсознательным, что условно называется совестью. А она вам, кажется, подсказывает, что донос — это гадость?

Так были спасены два колечка Кароллы Гейнчке. Впрочем, ненадолго, как и сама Каролла. Но об этом ниже.

До глубокой ночи я проходила все этапы бутырской обработки. После обыска — снятие отпечатков пальцев — процедура не менее унижительная, чем обыск. Затем фотографирование в профиль и в фас, а под конец — долгожданная баня, радостная и сама по себе, и как что-то разумное, выходящее хоть на время из круга дантова ада.

Нигде люди не сходятся так быстро, как в тюрьме, особенно в моменты, подобные вот такой «обработке». Общий страх перед ближайшим будущим, общее чувство растоптанности человеческого достоинства. Мы проходили все процедуры этого дня вместе, эти сорок женщин, с которыми меня свели нынче утром, во время личного обыска. Вместе ждали своей очереди, страстным шепотом поверяя друг другу суть наших «дел», имена наших детей, наши боли и обиды. Понимали друг друга с полуслова.

И вот мне уже кажется, что все будет гораздо легче, если меня не разлучат с этой милой черноволосой Зоей из Московского пединститута, о которой я уже знаю столько, сколько можно узнать за десять лет закадычной дружбы. И она тоже бросается ко мне со вздохом облегчения, когда я выхожу из очередного «собачника», где меня фотографировали.

— Вместе будем, Женечка. Наверно, и в камеру вместе поведут. Хорошо бы . . .

Нет, и эти маленькие утешения нам не даны. Нас разлучают, как на невольничьем рынке. И выйдя из душа, я вижу, что уже нет в коридоре ни Зои, ни Кати Широковой, ни золотоволосой Кароллы.

— Налево! — командует конвойный. Меня ведут одну по

сумрачным бутырским коридорам. Потом конвоир передает меня другому, и я слышу шепот: «Спецкорпус». А здесь меня принимает женщина-надзирательница, в темной куртке, со строгим монашеским лицом.

Двери в спецкорпусе обычные, без средневековых засовов и замков, запираются просто на внутренний ключ. Вот он повернулся за мной, и я стою со своим узлом в дверях, озираясь кругом.

Огромная камера битком набита женщинами. Мерный ритм сонного дыхания пререзывается то и дело стонами, вскриками, бормотаньем. Достаточно постоять у дверей минуту, чтобы понять: здесь не просто спят, здесь видят мучительные сны. По сравнению с известными мне двумя казанскими тюрьмами здесь почти комфортабельно. Большое окно. За его решеткой, правда, тоже есть щит, но не деревянный, а из матового стекла. Вместо нар — деревянные раскладушки. Гигантская параша в углу плотно закрыта крышкой. Все места заняты.

Подождав немного, я развязываю узел, вынимаю из него свое байковое домашнее одеяльце (клетчатое, Алешенькино, родное) и стелю его прямо на пол, поближе к окну. С наслаждением вытягиваю ноги. Тело гудит от усталости. Я уже готова погрузиться в сладкое бездумье, как вдруг открывается дверная форточка и в нее просовывается голова надзирательницы.

— Запрещается на полу. Встаньте!

— Но ведь нет мест.

— Посидите до утра. Утром переведем в другую камеру. Скоро уже утро.

Как только дверная форточка захлопывается, на одной из коек поднимается фигура со всклоченными волосами.

— Товарищ! Идите, ложитесь. Я все равно спать не могу. Не стесняйтесь. Честное слово, посижу с большим удовольствием.

В ее голосе кавказский акцент. «С ба-алшим удовольствием...»

Она торопливо укладывает меня на свою раскладушку. Боже, какая роскошь! Я уже забыла, что можно лежать на чем-нибудь, кроме соломы. От подушки моей новой знакомой пахнет чем-то забытым — чистотой, давнишними духами.

Женщина понимает без слов.

— Это у нас в Армении проявили гнилой либерализм — подушку мне разрешили. И немного белья тоже принесли из дому. Здесь подушку хотели отнять, но следователь заступился. Он меня на данном этапе обхаживает. Думает — подпишу.

От усталости, что ли, но этот голос кажется мне знакомым.

Лица разглядеть не могу. Лампочка уже выключена, а тусклый рассвет только еще брезжит сквозь решетку и матовый щит.

— Устроились? Ну вот и великолепно.

Это слово рассеивает мою дремоту. Я напрягаю память. Нет, определено: кто-то из моих знакомых очень часто и именно так произносил это слово. Вэ-ли-ко-лэпно! И эта кудрявая всклокоченная голова... Я беру женщину за руку.

— Как вас зовут? Имя ваше как?

— Нушик, — говорит она. И в тот же момент я вскакиваю и бросаюсь ей на шею.

— Нушик! Посмотри пристальней! Не узнаешь?

— Женька? Ах я ишак! Женьку не узнать!

Мы с плачем и хохотом перебиваем друг друга воспоминаниями. Восемь лет тому назад, молоденькими аспирантками, мы спали с ней рядом в большой комнате Ленинградского дома ученых.

— Почти такая же комната была? Да?

— Ну, положим...

Это был большой зал в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича, на Халтурина, рядом с Эрмитажем. Огромное, во всю стену, зеркальное окно выходило на Дворцовую набережную. Призрачный свет фонарей озарял по ночам эту комнату, в которой жило десять аспиранток.

— А помнишь, как я тебя один раз разбудила ночью?

Еще бы не помнить! С утра Нушик до одурения зубрила диамат. Предстоял экзамен. И вот она разбудила меня ночью, чтобы задать вопрос:

— Скажи, дорогая, кого он с головы на ноги поставил? Гегеля? Вэ-ли-ко-лэпно...

Мы вспоминаем наперебой эти милые времена...

— А хочешь я тебе сейчас за ту услугу отплачу: объясню, кто сейчас все поставил с ног на голову? Или сама догадалась?

Приблизительно догадалась, конечно. Но пусть Нушик скажет. И она шепчет мне в самое ухо:

— Сталин!

Мы еще долго шепчемся, и я засыпаю буквально на полуслове. Просыпаюсь от устремленного на меня взгляда. Рядом с Нушик, в ногах постели, женщина лет 45. На лице — острое страдание. Подсела ко мне, заметив, что я проснулась, сжимая руки, спросила:

— Скажите, процесс уже был? Их уже расстреляли, да?

— Кого? Какой процесс?

— Бойтесь говорить?

— Вот что, Женька, — вмешивается Нушик, — тут бояться

нечего. Это жена Рыкова. Скажи, что с ее мужем. Ведь мы сидим уже два месяца . . . Ничего не знаем.

Я стараюсь как можно яснее растолковать, что сижу уже полгода, что меня привезли из другого города, я ничего не знаю о предстоящем процессе Рыкова.

Но она не верит мне: ведь меня только что привезли, а после бани у меня довольно свежий вид. И главное — она не верит потому, что даже за засовами тюрьмы людей не покидает великий Страх. Они уже попали в сеть Люцифера, но им все еще кажется, что можно выпутаться, что у соседа дело страшнее, что надо быть осторожным и ничего не рассказывать.

Много их прошло перед моими глазами, этих тюремных дипломатов, уверяющих, что они уже за год до ареста не читали газет, ничего рассказать не могут. А сколько я видела заключенных, ведущих в повышенном тоне ура-патриотические разговоры, в наивном расчете на то, что надзиратель услышит и доложит, где надо.

Обидно, что меня приняли за одну из них. Но разубеждать некогда. Открывается дверная форточка, снова просовывается голова надзирательницы.

— Подъем! Приготовиться на opravку!

Камера откликается скрипом 39 раскладушек. Все встают. Жадно вглядываюсь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большими декольте, туфли на высоченных каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. Какая-то «убогая роскошь наряда».

Нушик приходит мне на помощь.

— Что ты, дурочка! Какие там «легкого поведения»! Все четверо — члены партии. Это гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте. Я уж вон той, пожилой, вчера косынку подарила. Как говорится, хоть наготу прикрыть.

Все 39 человек одеваются быстро, боясь опоздать на opravку. В камере стоит приглушенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам свои сновидения.

— Почти все суеверными стали, — говорит Нушик, — вон там, у окна, старуха. Каждое утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще-то она профессор . . . А вон ту видишь? Ребенок, правда? Ей 16 лет. Ниночка Луговская. Отец — эсер, сидел с 35-го, а сейчас всю семью взяли — мать и трех девочек. Эта — младшая, ученица восьмого класса.

И вот мы все — со мной 39, из которых самой младшей 16, а самой старшей, старой большевичке Суриной, — 74, — нахо-

димся в большой, не очень грязной уборной, тоже напоминающей вокзальную. И все торопимся, точно поезд наш уже трогается. Надо все успеть, в том числе и простирнуть белье, что строго запрещено. Но приходится рисковать. Ведь большинству передачи не разрешают и люди обходятся единственной сменой белья.

За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички, ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следователями.

Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости к молодым и старикам. Катя Широкова, или вот эта Ниночка, которая чуть постарше нашей Майки . . . Или Сурина . . . Почти на 20 лет старше мамы.

Да, это было большим преимуществом моего положения. Счастье, что мне уже за тридцать! И счастье, что еще за тридцать только. У меня свои зубы, я вижу без очков (а очки у всех отняли и все близорукие и дальнозоркие мучаются страшно!), и желудок и сердце и все другие органы работают у меня отлично. А в то же время я уже окрепла душевно, не сломаюсь, как эти тростиночки — Нина, Катя . . .

Значит, выше голову! Я еще счастливее многих. Только вот одно. Мне кажется, что я больше всех страдаю от униженности всего, что со мной, со всеми нами проделывают. Кажется, предпочла бы самые тяжелые физические страдания этому сверлящему чувству растоптанности, поруганности.

А от этого надо избавляться вот как: каждую минуту твердить себе, что они не люди, те, кто все это делает. Ведь я бы не чувствовала себя оскорбленной, если бы в моих волосах рылась свинья или обезьяна, ища там «вещественные улики» моих преступлений!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### ВЕСЬ КОМИНТЕРН

Надзирательница не разрешила мне войти вместе со всеми в камеру.

— Подождите.

И заперев двери за вошедшими женщинами (я даже не успела попрощаться с Нушик), она ведет меня дальше по коридору и указывает на открытую дверь:

— Сюда!

Камера, точно такая же, как и та, в которой я ночевала, пуста и открыта. Обитательниц увели на opravку.

— Вот ваша койка, — показывает надзирательница на одну из раскладушек, недалеко от двери, а значит — и от парашаи.



Но в целом обстановка мне нравится. Сквозь матовый щит просачивается солнце. 35 раскладушек аккуратно застелены. А главное . . . Не обманывает ли меня зрение? Нет, именно так: на каждой постели — книги. Я дрожу от восторга. Родные мои, неразлучные мои, ведь я не видала вас почти полгода! Шесть месяцев почти я не перелистывала вас, не вдыхала терпкого запаха типографской краски. Беру первую попавшуюся. «Туннель» Келлермана на немецком. Вторую! Томик Стефана Цвейга, и тоже на немецком. А вот Анатолий Франс по-французски, Диккенс — по-английски . . .

Очень быстро убеждаюсь в том, что все находящиеся здесь книги — иностранные. Обращаю внимание на предметы одежды, разбросанные по раскладушкам. На этих тряпках, помятых и затрепанных, тоже какой-то заграничный налет. Неужели я попала в камеру иностранок?

Поворот ключа. Двери снова открываются, и в камеру входят 35 женщин. Их стайка гудит сдержанным разноязычным гулом. Они замечают меня и окружают плотным кольцом. Доброжелательные лица. Немецкие, французские и ломаные русские вопросы. Кто я? Когда взяли? Что нового на воле?

Отвечаю по-русски. Потом тоже спрашиваю:

— А вы кто, товарищи? Вижу, что иностранки, но какого типа — не пойму.

Стоящая впереди худенькая блондинка, лет 28, протягивает мне руку.

— Сделаем знакомств . . . Грета Кестнер, член КПГ. А это моя . . . ви загт ман? Другиня? Нихт? А-а . . . По-друга. Клара. Она бежалъ от Гитлера. Долго была гестапо.

Клара очень черная. Скорей похожа на итальянку, чем на немку. Она выжидательно смотрит на меня и кивком головы подтверждает слова Греты.

Еще одна высокая блондинка.

— Член Компартии Латвии, — без всякого акцента говорит она по-русски.

— Коммунисто итальяно . . .

Улыбающаяся китайка, возраст которой трудно определить, обнимает меня за плечи и называет себя членом Компартии Китая.

— По-русски меня зовут Женей, — говорит она, — Женя Коверкова. Училась в Москве, в Университете имени Сун Ятсена. Нам всем там русские фамилии дали. А вы кто, товарищ?

Все страшно оживляются, узнав, что я член Коммунистической партии Советского Союза.

Вопросы, вопросы . . . Какие подробности о деле военных? На свободе ли Вильгельм Пик? Правда ли, что взяты все латыш-

ские стрелки? Когда начнется процесс Бухарина — Рыкова? Верно ли, что был июльский Пленум ЦК и на нем Сталин выступал с требованием об усилении режима в тюрьмах?

Для меня все эти вопросы — новости. Объясню, что сижу дольше их всех. Привезли из провинции на суд военной коллегии. Постепенно группа вокруг меня рассасывается, и я остаюсь в обществе двух немок — Греты и Клары. Я говорю по-немецки с такими же ошибками в родах существительных, как они по-русски. Тем не менее мы оживленно беседуем на обоих языках сразу, и этот волапюк отлично устраивает обе стороны.

— В чем же обвиняют вас, Грета?

Голубые «арийские» глаза блестят непролитыми слезами.

— О, шреклик! Шпионаже . . .

В двух-трех фразах она рассказывает о своем муже — «Айн вирклихе берлинер пролет». О себе — с 15 лет юнгштурмовка. Но она-то еще ничего, а вот Клархен . . .

Клара ложится на раскладушку, резко поворачивается на живот и поднимает платье. На ее бедрах и ягодицах — страшные уродливые рубцы, точно стая хищных зверей вырывала у нее куски мяса. Тонкие губы Клары сжаты в ниточку. Серые глаза, как блики светлого огня на смуглом до черноты лице.

— Это гестапо, — хрипло говорит она. Потом так же резко садится и, протягивая вперед обе руки, добавляет:

— А это НКВД.

Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие.

У меня почти останавливается сердце. Что это?

— Специальный аппарат для получений . . . это . . . ви загт ман? а-а-а . . . чистый сердечный признаний . . .

— Пытки? . . .

— О-о-о . . . — Грета горестно покачивает головой, — придет ночь — будешь слышала.

Кто-то на чистейшем русском языке окликает меня:

— Можно вас на минутку, товарищ?

Оказывается, кроме меня здесь есть еще несколько человек советских. Окликнувшая меня женщина — это Юлия Анненкова, бывший редактор немецкой газеты, издающейся в Москве. Ей под сорок. Лицо не из красивых, но яркое, запоминающееся. Похожа на гугенотку. Мрачный пламень в глазах. Она берет меня под локоть, отводит в сторону и доверительно шепчет:

— Вы поступили совершенно правильно, не ответив на вопросы этих людей. Кто знает, которая тут — настоящий враг, а которая — жертва ошибки, как мы с вами. Будьте и дальше осторожны, чтобы не наделать настоящих преступлений против партии. Лучше всего молчать . . .

— Но ведь я действительно ничего не знаю. Привезена из

провинции, сию уже полгода. Может быть, вы знаете, что творится в стране?

— Измена! Страшная измена, проникающая во все звенья партийного и советского аппарата. Изменниками оказались многие секретари крайкомов и ЦК нацкомпартий. Постышев, Хатаевич, Эйхе, Разумов, Иванов, предсовконтроля Антипов, много военных . . .

— Но если все изменили одному, то не проще ли подумать, что он изменил всем?

Юлия бледнеет. Секунду молчит, потом резко бросает:

— Простите. Я ошиблась в вас.

Она отходит, а меня перехватывает другая русская — Наташа Столярова. Ей 22 года, она похожа на школьницу со своими рыжими косичками и крупинками веснушек на круглом лице. Наташа — эмигрантское дитя. В возрасте 5—6 лет оказалась с родителями в Париже. Там протекло ее двуязычное детство. Несколько лет назад вернулась в Москву, репатрировалась. Бурно вдыхала русский воздух, наслаждалась чистой русской речью. Работала переводчицей. И вот . . .

Наташа тоже говорит мне об осторожности.

— Вы очень доверчивы. Зачем вы этой Юлии так отбрили? Видите ведь, какой у нее лик иконоборческий. Такие по идейным соображениям сексотами становятся. А зачем вам лишние козыри в следовательские руки?

Наташа уверяет меня, что на ее «свежий взгляд» все понятнее, чем нам.

— Кавказский узурпатор, поверьте, пострашнее своих французских предшественников. Секир башка — и все тут!

— Но неужели он сознательно идет на уничтожение лучшей части партии? На что же тогда ему опереться?

— А вот придет ночь — услышите, на кого он опирается.

— Но ведь я уже провела ночь в соседней камере. Ничего не слышала.

— А это потому, что вас перед самым рассветом привели. А у них время пыток — до трех. Вон немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли?

Жестокие надрывные слова, произносимые Наташей, так не соответствуют ее школьным косичкам. На косичках пляшут коротенькие солнечные блики, притушенные матовым стеклом оконных щитов. Жизнь, свет, доброта то и дело прорезают нависшую над нами тьму.

Вот Грета описывает своей соседке Кларе изумительный фасон платья, в котором она была последний раз на первомайском вечере в Большом театре. И в глазах Клары вспыхивают огоньки

любопытства. Она тоже делится какими-то секретами туалета и очерчивает в воздухе линию красивого лифа. Да, очерчивает эту линию своими синими пальцами с раздавленными ногтями.

А вот китайка Женя Коверкова показывает «отличные упражнения для ног» сухопарой польке Ванде. И обе, воровато озираясь на глазок в двери, ложатся на спины прямо на пол и делают «велосипед», озабоченные сохранением фигуры, которая может пострадать от дневного валянья, от тюремной неподвижности, от питания перловой кашей и овсяной баландой.

Но вот прошли обед и ужин. Вечерняя оправка. Поверка. Отбой. Все ложатся и ждут. Сейчас оно начнется. Неотвратимое, как смерть.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### БУТЫРСКИЕ НОЧИ

В этот вечер общее настроение омрачилось больше инцидентом во время поверки. По бутырским правилам счет людского поголовья велся не по головам, а по кружкам.

Перед поверкой каждый должен был поставить на стол свою кружку. Следила за этим староста камеры. Дежурные надзиратели и корпусные просчитывали кружки и уходили, сделав ряд привычных замечаний, вроде: «Громко не разговаривать!», «Как отбой — все спать!» . . .

Сегодня дежурный, считавший кружки, был на редкость бестолков. Он пересчитывал несколько раз, переставлял более симметрично, сбивался со счета, начинал сначала, забавно склонил большой палец правой руки.

Первой фыркнула смешливая Женя Коверкова, за ней другие. А когда церемония поверки окончилась и старшие дежурные со свитой важно удалились, камеру охватил приступ того безудержного смеха, который иногда звучит в тюрьмах. Как бы компенсируя себя за постоянное горе, тоску, тревогу, люди хохочут, придравшись к самому незначительному поводу. Хохочут гомерически, явно несоразмерно комичности случая. Остановить такой приступ смеха нелегко.

И в данном случае призывы к тишине со стороны нескольких благоразумных оставались напрасными.

— Замолчите!

Этот пронзительный выкрик нельзя было не услышать. Юлия Анненкова, с искаженным, побледневшим лицом, подняла руку движением боярыни Морозовой.

— Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он исполняет свои обязанности. Вы не смеете, не смеете!

Смех оборвался, точно топором обрубили. Высокая рассудительная немка Эрна быстро заговорила по-немецки, доказывая Юлии, что смех вызван «комичностью этого субъекта, независимо от его общественных функций». Все так же смеялись бы, будь он не надзирателем, а таким же заключенным, как мы.

Чей-то голос из уголка, где сидело несколько полек, явственно пробормотал: «Пся крев!», и нельзя было понять, относится ли это к надзирателю или к Юлии.

А она, не слушая ничего, судорожными движениями стащила с себя одежду, легла и укрылась с головой, как бы демонстрируя свою отъединенность от соседок, в каждой из которых ей, ортодоксальной сталинке, чудился «настоящий враг».

Подавленные, все быстро улеглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, пожилая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка с картины Архипова. Этой женщине предъявлялось обвинение, что она кутила с иностранцами в шикарном ресторане, соблазнила дипломатов, выживая у них секретные сведения. Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях.

Перед тем как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие желтые волосы и, вытащив из-под соломенной подушки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила:

— Меня взяли еще зимой. У меня есть зимнее пальто. Я из него выдергиваю вату.

— Но зачем затыкать уши?

Милда устало пожимает плечами.

— Чтобы не слышать. Чтобы спать.

Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить, так уж до дна. И я выпила чашу до дна в ту жаркую июльскую ночь 1937 года.

Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвалось сразу в открытые окна камеры. Под ночные допросы в Бутырках было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно оборудованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток, безусловно, вывезены из гитлеровской Германии.

Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какофония ужаса прорезывало короткое, как

удар бича, «мать! мать! мать!» Третьим слоем в этой симфонии были стуки бросаемых стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь.

Хотя это были только звуки, но реальное восприятие всей картины было так остро, точно я разглядела ее во всех деталях. Они все казались мне похожими на Царевского, эти следователи. А глаза их жертв стояли передо мной, с этим своим выражением . . . Нет, не могу найти слов, чтобы его передать. Я до сих пор узнаю «бывших» по остаткам этого выражения где-то в глубине зрачка. И до сих пор, до шестидесятих годов, поражаю людей, встретившихся на курорте или в поезде, колдовским вопросом: «Вы сидели? Реабилитированы?»

Сколько это может длиться? Говорят — до трех. Но ведь этого нельзя вынести больше одной минуты. А оно тянется, тянется, то ослабевая, то вновь взрываясь. Час. И второй. И третий. Четыре часа. До трех ежедневно.

Я сажусь на постели. Мне вспоминается какая-то древняя восточная поговорка: «Не дай бог испытать то, к чему можно привыкнуть». Да. Привыкли. И к этому привыкли. Большинство спит или по крайней мере лежит спокойно, закрывшись с головой одеялами, несмотря на страшную духоту. Только несколько новеньких, подобно мне, сидят на койках. Некоторые заткнули уши пальцами, некоторые просто как бы окаменели. Время от времени открывается дверная форточка, появляется голова надзирательницы:

— Всем спать! Нельзя сидеть после отбоя.

— А-а-а! — раздается вдруг крик отчаяния не «там», а совсем рядом.

Молодая женщина с длинной растрепавшейся косой бросается к окну. Все забыв, в исступлении бьется о раму руками и головой.

— Он! Это он! Его голос, я узнала . . . Не хочу, не хочу, не хочу больше жить! Пусть убьют скорее . . .

Многие вскакивают, окружают женщину, оттаскивают от окна, убеждают, что она ошиблась. Это не голос ее мужа.

Нет, нет, пусть ее не успокаивают. Его голос она узнает из тысячи. Это его, его там терзают, уродуют, а она должна лежать здесь и молчать. Нет! Она будет кричать и скандалить. Может быть, тогда ее скорее убьют, а ей только того и надо. Все равно ведь после этого жить нельзя . . .

В коридоре движение. Распахиваются двери. Появляется надзирательница в сопровождении корпусного. Он четким профессиональным движением выворачивает бьющейся в припадке женщине руки назад, потом вливает ей насильно в рот какую-то жидкость из стакана, приговаривая:

— Пейте! Это аверьяновка.

Навряд ли. Навряд ли от валерьянки женщина так быстро упала на койку, закрыла глаза и погрузилась мгновенно в странный сон, похожий на смерть.

Тишина в камере восстановлена. Милда поднимает голову, шуршит соломенной подушкой и снова предлагает мне вату для ушей.

— Не надо. Лучше скажите, кто эта женщина.

— Эта? Одна из полек. Их в том углу семь. Муж ее русский, советский. Молодожены. И ребеночек остался трехмесячный. Ей здесь грудь бинтовали, чтоб пропало молоко. Главное, ее мучит мысль, что мужа взяли из-за нее, за связь с иностранкой. . .

Время близится к трем. Становится все тише. Вот еще раз грохнул брошенный об пол стул. Вот еще раз гукнуло и отдалось многократным эхом «мать-мать-мать!». Еще одно подавленное мужское рыдание. И — тишина.

Мысленно вижу, как, шатаясь, выходят из камер пыток окровавленные, истерзанные жертвы. Некоторых выносят. Вижу, как следователи складывают в столы свои бумаги.

— Дайте вату, — прошу я соседку Милду.

— Теперь уже не надо. Больше ничего не будет до завтра.

— Все равно. Дайте.

Она удивленно пожимает плечами, но дает мне комок серой одежной ваты. Я затыкаю оба уха. Натягиваю на голову тюремное одеяло, пахнущее пылью и горем, вцепляюсь зубами в угол соломенной подушки. Вот так как будто легче. Не слышу и не вижу. Если бы можно еще и не сознавать. . .

Чтобы заснуть, надо десять, нет, сто раз прочесть про себя какие-нибудь стихи. И я твержу:

*Отрадно спать,  
Отрадней камнем быть.  
Нет, в этот век,  
Ужасный и постыдный,  
Не жить, не чувствовать —  
Удел завидный!  
Не тронь меня,  
Не смей меня будить.*

Это написал Микеланджело . . .

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

### С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА ОТ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

В Бутырках изоляция от внешнего мира была гораздо более полной, чем в казанских тюрьмах. Камеры комплектовались по принципу — «на одном уровне по ходу следствия». Поэтому к

нам совсем не поступали люди с воли. Если и приходили новенькие, то у всех, так же как и у меня, следствие или было закончено или приближалось к концу.

И мы жестоко томились, не зная ничего. Тем не менее сложился какой-то быт. Кошмарные ночи сменялись хлопотливыми днями. Хлопот была масса. С самого подъема до отбоя почти не было свободного времени. Церемония выноса гигантской парашаи, долгие, с очередями, «оправки», троекратная раздача пищи, которая доставлялась в больших ведрах, мытье посуды, починка разлезающих чулков и лифчиков (передачи здесь почти никому не разрешались), прогулка, запись на «лавочку» тех счастливиц, у кого на наличном счету было немного денег, обмен книг, поверки, переключки — все это заполняло без остатка и даже переполняло наши дни. Днем наша камера была похожа на трюм корабля, застигнутого бедствием и давно уже плавающего по бурным водам. И, так же как на терпящем бедствие судне, люди делились на подчеркнуто-спокойных, экзальтированных и малодушных. Последних, правда, было довольно мало.

Дня через два после моего прихода в камеру произошел инцидент, связанный с кормлением птиц остатками хлеба. До сведения Попова, начальника Бутырской тюрьмы, дошли слухи, что мы каждый вечер разбрасываем крошки из окон, что провоцирует об этом воробы слетаются на окна тучами, устраивая страшный ералаш, перелетая через стеклянные щиты, наполняя камеру неистовым щебетом и вызывая ответное радостное оживление среди заключенных.

Попов ворвался в камеру в неурочное время, окруженный почетным эскортом надзирателей, и срывающимся от гнева голосом произнес короткую энергичную речь, в которой красной нитью проходила мысль — «вам здесь не курорт». Каждая фраза заканчивалась рефреном: «Не забывайте, что вы в тюрьме, да еще в Бутырской!»

Однако карцеров, лишений прогулки или библиотеки не последовало. Говорили, что Попов — человек не злой, больше склонный к чтению нотаций, чем к расправам.

В дальнейшем жизнь дала ему возможность оценить реальное содержание его излюбленной формулы: «... да еще Бутырская». Через два-три месяца он превратился из начальника тюрьмы в одного из ее узников.

Время от времени кого-нибудь из нас вызывали. Если «с вещами» — все бледнели и по камере летели шелестящие, производимые пересохшими губами слова: «на суд» или «срок объявить». Мы уже знали, что некоторые получают срок по суду, а другие — по так называемому Особому совещанию НКВД, заочно. Но о содержании приговоров еще ничего не было



известно. По этому поводу шли постоянные страстные споры. Кое-кто часто произносил леденящие слова: «вышка», «десятка». Но большинство с возмущением отвергало такие прогнозы. Широко ходил известный силлогизм: «Уж если Зиновьеву и Камневу, Пятакову и Радеку — по 10, то нам-то, мелкой сошке . . .»

Когда кого-нибудь вызывали «без вещей», меру охватывало волнение другого рода. Стоило закрыться двери, повернуться ключу вслед за вызванной, как в разных углах камеры начинались зловещие шепоты:

— Странно. Чего это ее вызвали? Ведь следствие давно закончено.

— Ну что вы! Она порядочный человек.

— Как будто бы . . . Но все же . . .

— А я-то, как назло, вчера вечером разоткровенничалась . . .

Это был точно острый приступ психоза. Хорошие люди, только что по-дружески относившиеся друг к другу, неожиданно начинали видеть в своих соседях потенциальных «секстопов», провокаторов. Часто люди потом стеснялись этих приступов взаимного недоверия, подозрительности, этого ощущения «волка среди волков». Но проходило несколько часов, снова вызывали кого-нибудь без вещей, и снова все цепенели от ужаса. Что, как эта вызванная сейчас выложит следователю все, что говорилось вчера в камере?

И когда в яркий летний день открылась дверная форточка и надзирательница негромко назвала мою фамилию, меня прежде всего охватило чувство неловкости. Без вещей! Чего это! Ведь так и про меня могут подумать в камере . . .

Любопытно, как в травмированной психике заключенного происходит смещение планов. Я сидела в Бутырьках уже три недели, и это был мой первый вызов. Казалось бы, я должна была сразу подумать о суде, о приговоре, о жизни и смерти. Но нет! Одна мысль — не подумали бы обо мне плохо мои соседки по камере. Ведь у них такая мода: как кого вызовут без вещей, так они сразу думают, что . . .

Почти механически подчиняясь приказам конвоира, шепотом указывавшего мне направление, я шла лабиринтом бутырских коридоров, пока не поняла, что я снова на «вокзале».

— Сюда!

Короткое щелканье затвора — и я опять в «собачнике» — в стоячей, выложенной изразцами клетке. Повезут куда-то?

Снова теряю ощущение времени и не знаю, час или пять минут я стою здесь, прислонясь к холодной стене. Плитки изразца сверкают в лучах сильной лампочки. Если закрыть глаза, то плитки все равно не исчезают, а только становятся темнее. Но ведь не оставят же меня здесь навсегда.

Затвор щелкает. В дверях молодой офицерик.

— Ознакомьтесь! — И сует мне в руки бумагу. Прежде чем успеваю спросить что-нибудь, запирает меня снова.

Обвинительное заключение по делу . . . Подпись Вышинского. Санкционировано им. Я вспоминаю его в вышитой украинской рубашке. На курорте. Хилая, костлявая жена и дочка Зина, с которой я ходила каждый день на пляж. Вспомнил ли он меня, подписывая эту бумагу? Или в затуманенном кровавой пеленой взоре все имена и фамилии слились в одно? Ведь мог же он отправить на казнь своего старого друга, секретаря Одесского обкома Евгения Вегера. Так чем же могла остановить его руку фамилия курортной приятельницы его дочки?

Скольжу глазами по «преамбуле» обвинительного заключения. Тут не во что вчитываться. Все та же газетная жвачка. «. . . Троцкистская террористическая контрреволюционная группа . . . ставившая целью реставрацию капитализма и физическое уничтожение руководителей партии и правительства».

Повторенные миллионы раз, эти формулировки, — которые вначале потрясали, — стерлись и стали восприниматься именно как тошнотворная жвачка, как некая «присказка», вроде «в некотором царстве, в некотором государстве» . . . Никто уже в эту «присказку» не вслушивался, а ждали, замирая, когда же кончится она и начнется самая сказка, в которой появится Великий Людоед.

После «присказки» в моем обвинительном заключении шел список «членов контрреволюционной троцкистской террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Опять ни тени правдоподобия! В список попали люди, никогда в редакции не работавшие и даже такие, которые давно уехали в другие города и во время «преступлений» отсутствовали. Потом окажется, что те из них, кто уехал вовремя подальше, так никогда и не были арестованы. Дальше, дальше . . . Ага, вот наконец заговорил и сам Людоед. Это уже не присказка, а сказка. «На основании вышеизложенного . . . предается суду военной коллегии . . . по статьям 58—8 и 11 Уголовного кодекса . . . с применением закона от 1 декабря 1934 года».

Теперь кровь ударяет в виски уже не мелкой дробью, а гулким редким прибоем. Что за закон? Дата его не сулит ничего хорошего.

Офицерик снова распахивает дверь собачника. Теперь я фиксирую его наружность. Под острым носиком — усики мушкой. «Дурачок с усиками», жандармик из пьесы Горького «Враги».

Откуда-то издали слышу повторенный несколько раз вопрос:

— Ознакомились с обвинительным заключением? Все ясно?

— Нет. Я не знаю, что значит закон от первого декабря.

Офицерик смотрит удивленно, точно я спросила его, что такое земля или море. Пожав плечами, разъясняет:

— Закон этот гласит, что приговор приводится в исполнение в течение 24 часов с момента вынесения.

24 часа. Да еще до суда тоже 24. В камере мне разъяснили, что после вручения обвинительного заключения на другой день обычно везут в суд. Итого — 48 часов. Это мне осталось жить 48 часов.

Была девочка. Женя, Женечка. И мама заплетала ей косички. Была девушка. Влюблялась. Искала смысла в жизни. И были расцветные женские годы — 27—28. И были Алеша с Васей. Сын-новья.

В камере мертвая тишина. Здесь это первый случай. Отсюда еще никто не шел на военную коллегию. Все «тройка», «особое», в крайнем случае — трибунал. И никому еще не предъявляли такого обвинительного заключения. Чтобы с оговоркой, что в 24 часа. Сомнений в моей завтрашней судьбе нет ни у кого.

Меня гладят по косам, с меня снимают туфли, мне суют в рот каким-то чудом пронесенный через все обыски порошок веронала. Но он не помогает. Организм не хочет тратить на сон последние часы своего существования.

Всю ночь я сижу за столом в середине камеры, и надзирательница не делает мне замечаний. В людях, окружающих меня, раскрываются «душ золотые россыпи». Трудно поверить, что это те самые, которые подозревали друг друга в черном предательстве. Они заучивают наизусть имена моих детей и адреса родных, чтобы в случае, если сами уцелеют, рассказать им о моих последних часах.

Трудно, почти невозможно, передать ощущения и мысли смертника. То есть передать, наверно, можно, но для этого надо быть Львом Толстым. Я же, вспоминая ту ночь, могу только отметить какую-то странную резкость в очертаниях всех предметов и мучительную сухость во рту. Что касается потока мыслей, то если бы его воспроизвести в точной записи, то получились бы странные вещи.

Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь Алеша и Вася будут анкеты заполнять! Как жалко новое шелковое платье, так и не успела надеть ни разу... А шло оно мне...

Вот так, или примерно так, текли мысли.

На столе лежали какие-то книги. Открыла одну. Баранский. Экономическая география. Это хорошо. Посмотреть еще раз карту. Мир. Вот он. Вот здесь Москва. Я родилась в ней, и в ней же

мне суждено умереть. Вот Казань. Сочи. Крым. А вот вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу.

На рассвете несколько воробьев, еще не узнавших, очевидно, о том, что «здесь нам не курорт» и что начальник Бутырской тюрьмы Попов категорически запрещает общение птиц с заключенными, бойко взлетели на верхушку стеклянного щита. Их хвостики потешно вздрагивали. Радостными голосами они приветствовали наступление самого царственного месяца в году. Это было утро первого августа 1937 года.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

### СУД СКОРЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ

В Лефортовской тюрьме все двери открываются бесшумно. Шаги тонут в мягких дорожках. Конвойные изысканно вежливы. В «собачниках» есть табуретки, можно сидеть, а изразцовые стены так белы и блестящи, что напоминают операционную.

Одиночная камера, куда меня привезли этим утром первого августа, чиста, как больничная палата, а надзирательница похожа на кастеляншу дома отдыха.

Здесь я буду ждать суда. «Чем вежливей и чище, тем ближе к смерти», — вспоминаю я инструктаж Гарей.

Несмотря на это, обстановка вызывает у меня желание подтянуться внешне. Я достаю из своего узла «кобеднишнее» синее платье, долго выравниваю смявшиеся складки, накручиваю локонны на пальцы, пудрю нос зубным порошком. Все это я делаю почти механически. Ничего удивительного. Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена Камиль Демулена. Не говоря уж про Марию Стюарт. Но все эти мысли идут как бы сами по себе, а огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем, тоже сама по себе. Ее не прогонишь ничем.

И вот пришел мой час. За столом военная коллегия Верховного суда. Трое военных. Сбоку секретарь. Перед ними — я. По сторонам от меня — два конвоира. В такой обстановке «широкой гласности» начинается «судебное следствие».

Напряженно вглядываюсь в лица своих судей. Поражает их разительное сходство друг с другом и еще почему-то с тем корпусным на казанском Черном озере, который отбирал часы. Все на одно лицо, хотя один из них брюнет, другой убелен сединами. Ах вот в чем дело! Это выражение глаз делает их одинаковыми. Взгляд маринованного судака, застывшего в желе. Да оно и понятно. Разе можно нести вот такую службу ежедневно, не отгородив себя чем-то от людей? Ну хотя бы вот таким взглядом?

Стало очень легко дышать. Это из открытого настежь окна

повеял летний ветер удивительной чистоты. Прекрасная комната с высоким потолком. Ведь есть же такие на свете!

На больших темно-зеленых деревьях под окнами шелестят листья. Этот звук — таинственный и прохладный — потрясает меня. Я, кажется, раньше никогда его не слышала. Это трогательно, когда они шелестят. Почему я раньше не замечала этого?

И часы на стене . . . Круглые, большие, с блестящими усами стрелок. Как давно я не видела ничего подобного. Отмечаю время начала и конца процедуры.

Семь минут! Вся трагикомедия длится ровно семь минут, ни больше, ни меньше. Голос председателя суда — наркомюста РСФСР Дмитриева — похож на выражение его глаз. Действительно, если бы маринованный судак заговорил, то у него оказался бы именно такой голос. Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следователи. Судьи только служат. Отрабатывают зарплату. Вероятно, и норму имеют. И борются за перевыполнение.

— С обвинительным заключением знакомы? — невыносимо скучным голосом спрашивает меня председатель суда. — Виновой себя признаете? Нет? Но вот свидетели же показывают . . .

Он перелистывает страницы пухлого «дела» и цедит сквозь зубы:

— Вот, например, свидетель Козлов . . .

— Козлова. Это женщина, притом подлая женщина.

— Да, Козлова. Или вот свидетель Дьяченко . . .

— Дьяконов . . .

— Да. Вот они утверждают . . .

Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам себя, он снова обращается ко мне:

— К суду у вас вопросов нет?

— Есть. Мне предьявлен 8-й пункт 58-й статьи. Это обвинение в терроре. Я прошу назвать мне фамилию того политического деятеля, на которого я, по вашему мнению, покушалась.

Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они укоризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их «работу». Затем тот, что убелен сединами, мямлит:

— Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров?

— Да, но ведь его убила не я, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в Ленинграде. Это, кажется, называется «алиби»?

— Вы что, юрист? — уже раздраженно бросает седой.

— Нет, педагог.

— Что же вы казуистикой-то занимаетесь? Не жили в Ленин-

граде! . . . Убили ваши единомышленники. Значит, и вы несете за это моральную и уголовную ответственность.

— Суд удаляется на совещание, — бурчит под нос председатель. И все участники «действия» встают, лениво разминая застывшие от сидения члены.

Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух минут, как весь синклит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст. Чтобы его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор. Это государственный документ о моих преступлениях и о следующем за ними наказании. Он начинается торжественными словами: «Именем Союза Советских Социалистических Республик . . .» Потом идет что-то длинное и невразумительное. А-а-а, это та самая «присказка», что была и в обвинительном заключении. Те же «имея целью реставрацию капитализма . . .» и «подпольная террористическая . . .» Только вместо «обвиняется» теперь везде: «считать установленным».

Кажется, он немного гундосит, этот председатель. И как медленно он читает. Перевернул страницу. Сейчас . . . Вот сейчас скажет: «К высшей мере . . .»

Опять шорох листьев. На секунду кажется, что это все в кино. Я играю роль. Ведь немислимо же поверить, что меня на самом деле скоро убьют. Ни с того ни с сего . . . Меня, мамину Женюшку, Алешину и Васину мамулю . . . Да кто дал им право?

Мне кажется, что это я кричу. Нет. Я молчу и слушаю. Я стою совсем спокойно, а все то страшное, что происходит, — это внутри.

На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтеца сквозь эту тьму просачивается ко мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им. Среди этого бреда вдруг отчетливо различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам. Они сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. А разве я обязательно должна упасть? Ну да, у них, наверно, опыт. Наверно, многие женщины падают в обморок, когда им прочитывают «высшую меру».

Темнота снова надвигается. Сейчас захлестнет совсем. И вдруг . . .

Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он сказал . . . Я не ослышалась?

. . . К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в правах на пять лет . . .

Все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит — жить!

... И с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества...

Жить! Без имущества! Да на что мне оно? Пусть конфискуют! Они ведь разбойники, как же им без чужого имущества! Мое-то им вряд ли пригодится... Ну книги, ну платья... Даже приемника у нас нет. Ведь мой-то муж — настоящий старый коммунист, ему не нужны были ваши «бьюики» и «мерседесы»... Десять лет... И вы думаете еще десять лет разбойничать тут, судаки маринованные? Вы всерьез надеетесь, что в партии не найдется людей, которые схватят вас за руку? А я знаю — есть такие люди... И рано или поздно — конец вам придет... И ради того, чтобы увидеть этот конец, надо жить. Пусть в тюрьме, все равно! Жить!

Если бы они смотрели в лица своим жертвам, они, наверно, прочли бы в моих глазах все эти немые выкрики. Но они не смотрят на меня. Отчитав, они быстрым шагом направляются «с колокольни долой». Гуськом выходят из комнаты. Теперь у них, наверно, перекур. А там опять... Норма большая.

Я оглядываюсь на конвоиров, все еще держащих за моей спиной скрещенные руки. Каждая жилочка во мне трепещет восторгом бытия. Лица конвоиров кажутся мне симпатичными. Простые парни. Рязанские или курские. Чем они виноваты? По мобилизации, наверно. И руки вот скрестили, хотели поддержать. Но это они напрасно. Я не буду падать.

Я вдруг встряхиваю локонами, закрученными перед судом для того, чтобы не осрамиться перед тенью Шарлотты Корде. Потом дружелюбно улыбаюсь конвоирам, которые с удивлением смотрят на меня.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

### «КАТОРГА! КАКАЯ БЛАГОДАТЬ!»

— Обедать вы не будете? — спрашивает меня надзирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть.

— Обедать? Почему не буду? Обязательно буду, — весело отвечаю я и в ожидании обеда оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор не смертный, то в Лефортове не держат, а отправляют обратно в Бутырки.

И я с удовольствием жду отправки. Там общая камера. Люди. Товарищи по несчастью.

Приносят обед. Не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша с маслом. Манная... Гу-манная...

Это из гуманных соображений, видимо, такой хороший обед дают приговоренным к казни, которых в этой тюрьме так много. Согласно традициям, оставшимся от гнилого либерала — Николая II.

Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно все есть, хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь. Назло им! Я вся охвачена мощным чувством — желанием дожить до конца этой трагедии в нашей партии. Именно в эти минуты я больше чем когда-нибудь уверена, что всю партию они не уничтожат, что найдутся силы, способные остановить преступную руку. Дожить, дожить до этих дней... Сцепив зубы... Сцепив зубы...

Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Пастернака из поэмы «Лейтенант Шмидт»:

*Версты обвинительного акта...  
Шапку в зубы! Только не рыдать!  
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта!  
Каторга! Какая благодать!*

Слова эти вдруг потрясают до основания. Настоящая цена поэтических строк проверяется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту. Откуда он узнал, что чувствуют именно так? Он, обитатель московской «квартиры, наводящей грусть»... Читаю дальше:

*... Остальных пьянила ширь весны и каторги...*

Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру, этот приговор, этих убийц с судачьими глазами.

Темнеет. Окно здесь тоже закрыто не только решеткой, но и щитом. Почему-то долго не зажигают свет. Скорее бы в Бутырки! Здесь, в Лефортове, из каждого угла смотрит Смерть. Я кладу голову на стол и мысленно читаю наизусть «Лейтенанта Шмидта» от начала и до конца. Меня страшно волнуют строки:

*Ветер гладил звезды горячо и жертвенно,  
Вечным чем-то, чем-то жидущим, своим...*

Я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну.

Меня будит все та же сакраментальная формула:

— С вещами!

Уже совсем темно. Из-за решетки и щита видны мерцающие звезды. Те самые, пастернаковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. И изо всех углов, со стен, выкрашенных в темно-багровый цвет, на меня ползет Ужас.



— С вещами!

Да, да, скорее . . . В Бутырки! Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими, своими людьми. Пусть эта камера похожа на тонущий корабль. Но ведь есть все-таки какой-то шанс, что корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг дантова ада. Здесь только Смерть. И я так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней.

На минуту меня охватывает панический ужас. А вдруг они меня зовут сейчас не в Бутырки, а в подвал? В знаменитый лефортовский подвал, где расстреливают под шум заведенных тракторов . . . Сколько шептались об этом в общих камерах! Стены этого подвала, наверно, тоже выкрашены темно-багровой краской и на них незаметна кровь.

Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя в руки. Что за чушь! Ведь я сама слышала приговор. Десять лет со строгой изоляцией.

— Готовы?

— Да, да.

Меня ведут длинным коридором мимо ряда одиночек. Двери, двери . . . Вниз! Последний раз екает сердце. Неужели все-таки подвал? Нет! Вот в лицо ударила струя чистого ночного воздуха. Двор. «Черный ворон».

Меня опять запирают в пахнущий масляной краской ящик, в котором можно только сидеть, но нельзя даже слегка привстать. Машина трогается. Значит, «домой», в Бутырки. Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась в живых.

И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова и снова твержу себе спасительные строки Пастернака: «Каторга! Какая благодать!» Больше не помогает. Комок подкатывает к горлу и душит. И я раздражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи!

Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буйнить. Колочу изо всех сил кулаками в запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой.

Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что в фильме «Мы из Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, приподнятые, круглые белесые брови. Слова, которыми он умиряет меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде деревенской домашней размолвки.

— Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекает . . . Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрячее, но такое человеческое сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он утешал меня.

— Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну ровно ничего плохого не сделала . . . А они . . . Ты веришь мне?

— А как же? — удивляется он. — Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-то оставляю открыту. Дыши давай! Может, тебе аверьяновки дать? У нас есть . . . Дыши, дыши, сколь хошь . . . Никого в машине-то нет . . . Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли бы про тебя, а теперь, ровно царевну, одну волоку через всю Москву . . .

— Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была, али бы десять дали! Нынче вот, знашь, сколько за день-то в расход! Семьдесят! Вот сколько . . . Одних баб, почитай, только и оставили . . . Троих даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы . . . Но я нема как рыба.

— Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась тут, ровно на мужа . . .

Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машину ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот «пскопского»:

— Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни на есть изобретение сделаешь — и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам . . .

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить.

И вообще, как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, а конвоир такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга! Какая благодать!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ  
ПУГАЧЕВСКАЯ БАШНЯ

Спецкорпус, с его чистотой и раскладушками, теперь уже не для меня. Я теперь пересыльная и находиться должна в пересылке. Меня ведут в Пугачевскую башню. Да, здесь сидели пугачевцы. Моя соседка по нарам, Анна Жилинская, историк, подробно характеризует архитектуру, узкие прорезы окон, витую лестницу.

Я говорю «соседка по нарам», но это не совсем точно. Не соседка, а «напарница». Мы с ней спим на том же кусочке нар «на пару», то есть по очереди. Нары сплошные. Камера набита вдвое плотнее, чем позволяют ее размеры. Те, кто не пристроился на нарах, спят на каменном полу. Даже большой некрашенный стол, стоящий посреди камеры, тоже используется по ночам как ложе.

Август 1937 года в Москве выдался знойный. Духота изводит нас. Мы снова, как в казанской тюрьме, сидим грязные, потные, в одних трусах и бюстгальтерах. Ежедневно прибывают новые, и уже совершенно неизвестно, куда их класть.

Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На то и пересылка . . . Передач здесь уже окончательно никто не получает. Лавочку тоже не выписывают. Сидим на одной пайке.

Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много совсем простых женщин: работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части «болтуны», они же «язычники», то есть обладатели 10-го пункта 58-й статьи. Антисоветские агитаторы . . . Почти все они получили по 5—8 лет лагерей.

Моя цифра — 10 лет, да еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да по военной коллегии, вызывает в камере настоящую сенсацию.

Ведь это было до 1 октября 1937 года, когда были введены 25-летние сроки. Пока еще «десятка» была максимумом, шла непосредственно за «вышкой» и окружала получившего ее человека своеобразным ореолом мученичества.

О таких обычно думали, что они принадлежат к высшим слоям советского общества. Так, обо мне кто-то пустил слух, что я — жена Пятакова, и мне трудно было разубеждать людей в этом.

Кроме меня, с десятилетним сроком была здесь только еще одна — баба Настя, шестидесятипятилетняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не зная, как сочетать злоешие слова о «троцкист-

ской террористической организации» с мягкими чертами морщинистого лица бабы Насти, с ее горестными старушечьими глазами истовой богомолки.

Сама баба Настя недоумевала больше всех и, услышав, что я — такая же, как она, подтащила к моим ногам свой узелок с вещами и села на него у меня в ногах. И узелок, исконный, сермяжный, уводящий в проселочную Русь, и сама баба Настя, внимательно глядящая на меня, вызывали во мне жгучий стыд, подобный тому, какой я испытывала в коминтерновской камере, слушая немецких коммунисток.

— А что, доченька, слышь-ка, ты тоже, стало быть, трахтистка?

— Нет, баба Настя. Я самая обыкновенная женщина. Учительница. Мать своим детям. Всю эту небыль следователи и судьи выдумали. Они, наверно, вредители. Потерпим, баба Настя. Я думаю, разберутся . . .

Баба Настя мелко кивает старушечьей головой, до самых бровей обвязанной платком.

— Так-так . . . Вот и про меня, вишь ты, наговорили. И пропи-сали: трахтистка. А ведь я — веришь, доченька, вот как перед Истинным — к ему, к окаянному трактору, и не подходила вовсе. И чего выдумали «трахтистка» . . . Да старух и не ставят на трактор-то . . .

Кто-то из соседок заливается хохотом. Анна Жилинская спросонья бормочет:

— Умри, баба Настя, лучше не скажешь!

А мне не смешно. Мне стыдно. И когда только я перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это? Ведь я уже давно не молот, а наковальня. Но неужели и я могла стать этим молотом?

После суда и приговора я стала слезливой. И сейчас, глядя на бабу Настю, чувствую, как слезы подступают к горлу. Моя мама моложе бабы Насти на восемь лет. Но немыслимо представить себе ее в таком положении.

Я не знала тогда, что в это время мои старики тоже были взяты. Их продержали только два месяца, но и их оказалось достаточно, чтобы отец вскоре после освобождения умер, а мама заболела диабетом, сведшим ее позднее в могилу.

. . . Книг в пересылке не дают. Поэтому разговоров еще больше, чем в спецкорпусе. Рассказы, рассказы . . . Каждый говорит не только о себе, но и обо всем виденном на тюремном пути. Кроме того, здесь усиленно занимаются географией. Над камерой летят, прорезая общий гул, названия: Колыма, Камчатка, Печора, Соловки . . . Меня все это не коснется. Ведь благодатная каторга не для меня. Меня ждет одиночка. Некоторые соседки парази-

тельно эрудированы. И меня все же втягивают в занятия географией. У «тюрьзаков», то есть у тех, кто получил, как я, не лагеря, а тюрьму, есть свои географические пункты: Суздаль, Верхнеуральск, Ярославль. Бывшие политизоляторы. Одиночки.

Анна Жилинская успокаивает меня. Она слышала, что там неплохо. Дают книги. Чисто. Не голодно.

Но этим иллюзиям вскоре суждено рассеяться. Однажды на рассвете в нашу башню «всыпали» еще новую группу пересыльных.

— Ничего, потеснитесь! Скоро большой этап, — буркнула надзирательница в ответ на возгласы о тесноте.

Среди новеньких была московская партработница Раиса... фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский Пленум ЦК. На нем выступил «хозяин». Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился тем, что они «превращены в курорты». Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким исступлением примутся теперь закручивать гайки. Выживем ли? На эту тему мы беседуем втроем: Анна Жилинская, я и Таня Андреева, харбинка. Таня напоминает мне Ляму. Так же активно добра, участлива к товарищам по несчастью. Я с интересом слушаю ее рассказы о Шанхае, где она долго жила, о русских эмигрантах, о приезде Тани в СССР к мужу-коммунисту, об аресте обоих.

Тане дали 8 лет лагерей, но она полна оптимизма.

— Выживу! Я буду начальницам маникюр и педикюр делать. Заграничную прическу...

Таня смеется, прищуривая свои узкие черные глаза, о которых она сама говорит, что они «окитаились».

— Потом у меня много шелковых тряпок. Я буду раздавать их надзирательницам, чтобы меня не мучили. Вот смотрите!

Таня разворачивает узел с вещами, и над вонючим адом Пугачевской башни расцветают волшебные цветы китайских шелковых халатиков.

Анна, наоборот, полна ужаса, и пессимистические прогнозы по поводу нашей судьбы так и сыпятся с ее уст.

— Это все у вас растащат в этапах, Танюша. Этим не спастись. А замучат нас всех обязательно. Вопрос только в сроках. Вы этого не знаете обе, потому что не сидели на Лубянке. А я была там три месяца.

— Зато я в Лефортове, — отстаиваю я свою тюремную квалификацию.

— В Лефортове последний акт трагедии. Там расстреливают. Почти всех, кроме таких счастливых единиц, как вы, Женя. А на Лубянке — острый период следствия. Если бы вы видели мою следовательницу! Да, это была женщина. Чудовище. Калибан.

Однажды ночью Анна рассказала мне историю своей лубянской сокамерницы — коммунистки Евгении Подольской.

— Послушайте, Женя, я чувствую, что не выживу. Я должна кому-то передать поручение. Я дала Евгении слово — рассказать все ее дочери.

— Евгения умерла?

— Наверно. Но согласны ли вы выслушать? Ежов сказал, что расстреляет каждого, кто будет это знать . . .

Чтобы выслушать эту историю, мы отправляемся в уборную. В башне на opravку не ходят, уборная здесь же, в маленькой пристройке сбоку камеры. Мы стоим около узкого длинного окошка, украшенного причудливыми переплетами решеток, у окошка, напоминающего XVIII век, пугачевцев и палачей, отрубающих головы на плахе.

И Анна, судорожно торопясь, блестя расширенными глазами, повествует . . .

Однажды ночью, в двухместной камере Лубянки, она проснулась от какого-то журчащего звука. Это тихонько лилась кровь из руки ее соседки. Образовалась уже порядочная лужа. Соседка Анны — это и была Евгения Подольская — вскрыла себе вены бритвочкой, украденной у следователя.

На крик Анны прибежали надзиратели. Евгению унесли. Она вернулась в камеру через три дня и сказала Анне, что жить все равно не будет. Вот тут-то Анна и дала ей слово, что, если выживет, расскажет все ее дочери.

Когда Евгению вызвали впервые в НКВД, она не испугалась. Сразу подумала, что ей, старой коммунистке, хотят дать какое-нибудь серьезное поручение. Так и оказалось. Предварительно следователь спросил, готова ли она выполнить трудное и рискованное поручение партии. Да? Тогда придется временно посидеть в камере. Недолго. Когда она выполнит то, что надо, ей дадут новые документы, на другую фамилию. Из Москвы придется временно уехать.

А поручение состояло в том, что надо было подписать протоколы о злодейских действиях одной контрреволюционной группы, признав для достоверности и себя участницей ее.

Подписать то, чего не знаешь?

Как? Она не верит органам? Им доподлинно известно, что эта группа совершала кошмарные преступления. А подпись товарища Подольской нужна, чтобы придать делу юридическую вескость. Ну есть, наконец, высшие соображения, которые можно и не выкладывать рядовому партии, если он действительно готов на опасную работу. Шаг за шагом она шла по лабиринтам этих силлогизмов. Ей сунули в руки перо, и она стала подписывать.

Днем ее держали в общей камере, ночью вызывали наверх и, получив требуемые подписи, хорошо кормили и укладывали спать на диване.

Однажды, придя по вызову наверх, она застала там незнакомого следователя, который, насмешливо глядя на нее, сказал:

— А теперь мы вас, уважаемая, расстреляем . . .

И дальше в нескольких словах популярно разъяснил ей, какую роль она сыграла в этом деле. Мало того, что он осыпал ее уличной бранью, он еще цинично назвал ее «живцом», то есть приманкой для рыб, и объяснил, что ее показания дают основания для «выведения в расход» группы не менее 25 человек. Потом она была отправлена в камеру, и там ее теперь держали без вызова больше месяца. Тут-то и пригодилась бритва, унесенная как-то из следовательского кабинета . . .

— Это была одна из тех, кто без всякой мысли о своей выгоде или спасении, из одного только фанатизма, погубила себя и многих других, — рассказывала Анна, — ее душевные муки были настолько непереносимы, что я и сама поверила в то, что ей надо умереть. Я не отговаривала ее больше. Просто дала ей слово, что все передам ее дочери, если сама останусь в живых.

Теперь Анна передавала этот секрет мне, хотя мой приговор был страшнее, чем ее. Я обещала. Заучила наизусть адрес дочери Евгении Подольской. К сожалению, я не сдержала этого обещания, так как к 1955 году, когда после восемнадцатилетнего перерыва снова приехала в Москву, я начисто забыла не только адрес, но и имя этой девушки. Слишком много наслоений легло за 18 лет на мою довольно сильную память. Они замели, занесли этот адрес.

А может, это и лучше. Надо ли было дочери знать трагедию матери, приведшую к гибели стольких людей?

В Пугачевской башне я пробыла только две недели, но это было тяжелое время. Особенно мучительно было ночью, когда очередь спать была не мне, а Анне, а мне надо было сидеть на краешке нар, у ее ног, борясь со сном. Явь сливалась с полубредовыми снами наяву. Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущееся, кричащее, казалось в такие минуты гигантской общей могилой, куда свалили недостреленных.

В одну из таких ночей появились корпусной и три надзирательницы сразу. С длинными листами бумаги в руках. Большой этап. Читают список. Люди вскакивают и судорожно хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой этап . . . Большой этап . . .

## В СТОЛЫПИНСКОМ ВАГОНЕ

Эти вагоны так и остались непереименованными. Их по-прежнему называли столыпинскими, и это никого не удивляло. Вагоны эти были мрачны, но чисты. Вполне я оценила их только спустя два года, когда больше месяца пришлось ехать от Ярославля до Владивостока в битком набитой теплушке. Но сейчас массивные решетки и усиленный конвой наводили смертную тоску.

Хотя нас везли, конечно, опять в «черном вороне» и подвозили к каким-то особым запасным путям, но все же я успела уловить маячившие на горизонте очертания Северного вокзала. Значит, Ярославль. Это был худший из трех возможных вариантов. Я много слышала в Пугачевской башне об одиночном корпусе Ярославской тюрьмы, построенной Николаем II после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И в наше время, продолжая традиции прошлого, Ярославский политизолятор приобрел славу места с усиленным режимом. А я так надеялась на Суздаль. Там политизолятор помещался в здании бывшего монастыря, и я часто тешила себя мыслью, что келья — все же не камера. Да и про Верхнеуральск говорили, что там много легче, чем в Ярославле.

— Ах, геноссин, вир зинд дох беканнт . . .

Я сразу узнаю золотоволосую немецкую киноактрису Кароллу Неер-Гейнчке, ту самую, которая прятала свои золотые вещички во время того памятного первого бутырского обыска. Каролла за это время очень изменилась. Потускнело темное золото волос, у рта обозначились тонкие скорбные морщинки. Но она стала еще обаятельней, чем прежде. Лицо белое, как слоновая кость, без малейшего намека на румянец, детская улыбка, грустные темно-желтые янтарные глаза.

Приговор Кароллы был повторением моего. Только ей, конечно, было в тысячу раз хуже моего, потому что вдобавок ко всему она еще была без языка. В камере, куда она попала, никто не говорил по-немецки.

И теперь, вспомнив несколько случайных фраз, которыми мы с ней обменялись во время первой встречи, она не нарадуется, что нашла собеседницу, хотя и с ошибками, но говорящую на ее родном языке.

Она ничего не знает о муже. Но точно уверена, что его уже нет. Оно не обманывает, это ощущение неотвратимого вечного одиночества, которое у Кароллы теперь всегда вот здесь . . . Она показывает не на сердце, а на горло.



— Ты бы подождала по-немецки шпарить. Хоть пока тронемся, что ли... А то еще за фашистку примут...

Это говорит мне наша третья компаньонка по столыпинскому купе — вологодская партработница, имени которой сейчас вспомнить не могу. Голос у нее хриплый. Вологодское «о» выпирает из речи. Губы растрескавшиеся. Худое длинное лицо почернело до того, что кажется обгорелой головешкой. Только легкие северные белокурые прядки у висков отдаленно напоминают, что это была когда-то женщина.

Состояние у нее маниакальное. Она никак не может перестать оправдываться. Все время говорит и говорит. В ее речи пестрят цифры каких-то планов по молокосдаче, возражения какому-то Воскобойникову, который «завысил показатели». Она говорит обо всем этом так, точно мы хорошо знакомы со всеми этими обстоятельствами и людьми. Время от времени прерывает сама себя легким вскриком боли. Ее держали «на стойке» долгими днями и ночами, и сейчас у нее адские боли в ногах.

Четвертой в купе оказалась казанская Юлия Кареева, та самая, с которой мы ехали этапом из Казани в Москву. Она тщетно пытается переговорить вологодскую и перевести разговор на Казань.

Но вот поезд переводят на обычный путь, и перед нами сквозь решетки появляется кусок жизни. Той самой обольстительной будничной человеческой жизни, которую мы так давно не видели. Уголок Северного вокзала. Подошел дачный поезд, и из него вылилась веселая, пестрая толпа людей с букетами цветов, с улыбками, с детьми, с вещами. Нет, не с теми страшными узлами, какие именуются «вещами» у нас в тюрьме, а с теми милыми, трогательными вещами, которые остались там, за стенами. Пакеты с фруктами, чемоданчики, игрушки.

Мы замираем у окна. Конвоир почему-то равнодушен, не отгоняет нас. Нас заметили с платформы. Какая-то девушка в цветном платье испуганно прижимается к руке спутника и с расширенными глазами лепечет ему что-то, показывая на нас. Доносится слово «троцкисты», потом «настоящие живые троцкисты»... Вероятно, она говорит ему, что впервые в жизни увидела «живых троцкистов».

Потом проходит женщина с двумя мальчиками, и я чувствую, что почти умираю не только от острой зависти, но и от изумления. Значит, еще кто-то держит за руки своих детей?

Но вот поезд трогается. Жадно вглядываюсь в проплывающее перед нами Подмосковье. На станциях — лозунги. Красные кулачковые лозунги. И все до одного говорят о вредительстве. «Ликвидируя последствия вредительства на транспорте, обеспечим...» А вот едем мимо сельмага, украшенного лозунгом:

«Ликвидируя последствия вредительства в торговой сети, укрепим . . .» Электростанция. «Ликвидируя последствия вредительства в промышленности, перевыполним . . .»

— Юлия! Посмотри, что за чудо: вредительство во всех отраслях народного хозяйства.

— Тш-ш . . . Начальник конвоя . . . Молчи . . .

Поезд вырывается в природу. Вторая половина августа. Доносятся полевые запахи. Птицы сидят на проводах, как ноты на линейках. Мы едем в Ярославль, прохладный чистый город, весь светло-голубой. Я была там с мужем в 34 году. Теперь он кажется не светло-голубым, а свинцовым. Стучат колеса. С каждым ша-гом, с каж-дым ша-гом . . .

Одиночка. Десять лет. Будут идти дни за днями, августы за августами. Мои сыновья превратятся почти в мужчин. Сама я — в старуху. И каждый день я буду слышать только пять слов: подъем, кипяток, оправка, прогулка, отбой . . . Я разучусь говорить. Я забуду, какого цвета небо и Волга. В одиночках всегда водятся крысы.

Передо мной мелькают образы Монте-Кристо, княжны Таракановой, младенца-царя Иоанна Антоновича . . . Гудок весело заливается. Каролла стонет во сне по-немецки.

В Ярославль мы прибыли в золотой закатный час. Наш вагон опять где-то на боковой линии. Платформы нет, и мы спрыгиваем прямо на темно-желтый сыроватый песок, который сладко пахнет детством.

Почему-то «черного ворона» нет поблизости. Нас не встретили. Конвоиры нервничают и перешептываются. А мы, счастливо улыбаясь, усаживаемся на свои узлы и жадно глотаем свежий волжский воздух. Ага, значит, и в тюремной системе не все хорошо организовано! Целых десять минут мы ждем транспорта, алчными глазами впиваемся в высокое небо и замираем от восторга при виде залетевшей с Волги чайки.

Неожиданностям нет конца. Вдруг выясняется, что нас повезут не в «черном вороне», а в самом обыкновенном грузовике с открытым кузовом. В это почти невозможно поверить. Неужели мы, дети подполья, живущие неправдоподобной жизнью застенков, увидим сейчас обыкновенные городские улицы, идущих по ним свободных людей?

Юля торопливо делится своими весьма оптимистическими прогнозами: раз везут в открытой машине, значит — режим будет совсем легкий. Значит, все бутырские слухи о резком усилении тюремного режима были «парашами».

— Грузись давай!

И вот мы едем по улицам Ярославля. Я узнаю гостиницу, в которой останавливалась с мужем за четыре года до того. На

набережной много гуляющих. Мы видим Волгу. Стараемся глубже дышать, чтобы надолго надышаться. Каждый вдох возвращает к жизни.

Красота и необычный костюм Кароллы привлекают внимание. На нас с любопытством оглядываются. Кое-кто улыбается нам.

— Привет, девушки! — кричит рослый парень, идущий в группе приятелей.

Они машут кепками. Горячая волна любви к этим незнакомым людям заливает меня. Как хорошо, что их никто не трогает, что они каждый вечер гуляют по набережной!

Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это Коровники, знаменитая Ярославская тюрьма.

Но мы не простые преступники. Мы особо важные, государственные. И нас провожают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже от остальной, обычной тюрьмы.

Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо погребенными.

#### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### ПЯТЬ В ДЛИНУ И ТРИ ПОПЕРЕК

Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом — багрово-красным, а сверху — грязно-белесым. Я иногда могу воспроизвести в подошвах ног ощущение той или иной щербинки в каменном полу этой камеры. Камеры № 3, третий этаж, северная сторона.

И до сих пор помню ту тоску всего тела, то отчаяние мышц, которое охватывало меня, когда я мерила шагами отведенное мне теперь для жизни пространство. Пять шагов в длину и три поперек! Ну, если делать уж совсем маленькие шажки, то получится пять с четвертью. Раз-два-три-четыре-пять... Заворот на одних носках, чтобы не занять этим заворотом лишнего места. И опять: раз-два-три-четыре-пять...

Железная дверь с откидной форточкой и глазком. Железная, привинченная к стене койка, а у противоположной стены — железный столик и откидная табуретка, на которой очень мучительно сидеть, но которую зато хорошо видно надзирателю в глазок. Ничего, кроме камня и железа!

Окно, выходящее на север, высокое одиночное окно, густо зарешеченное еще покойным Николаем II, перепуганным революцией пятого года. Но кто-то испугался еще больше, чем Николай,

и закрыл окно сверх решетки страшно высоким и плотным деревянным щитом, обеспечивающим постоянную полутьму в камере.

Кусочек светло-голубого высокого ярославского неба, остающийся сверху, над этим щитом, кажется узеньким ручейком. Но и этот ручеек часто закрывают вороны. Эти зловещие птицы почему-то всегда кружатся здесь в изобилии, точно ощущая близкую поживу. Ни зимой, ни летом не было от них избавленья. И когда я вспоминаю окошко моей ярославской камеры, то вижу его неизменно в обрамлении черного ожерелья, образованного воронами, сидящими на верхушке щита.

Из камеры выводят три раза в сутки. Утром и вечером на opravку. Днем — до или после обеда — на прогулку. Как хорошо, что моя камера далеко от уборной! Приходится пройти почти весь коридор. Он имеет вид галереи, окружившей со всех сторон лестничный пролет. А пролет весь затянут плотной сеткой. Чтобы не самовольничали, не бросались вниз с третьего этажа, чтобы умирали не тогда, когда им это вздумается, а когда будут на это высшие соображения.

Весь коридор устлан чудесным плюшевым половиком, в котором нога тонет и шаги становятся совсем бесшумными. Идя на opravку, стараешься шагать как можно медленнее, инсценируя слабость, такую естественную в условиях одиночки. Стараешься использовать каждую секунду, чтобы охватить своим цепким тренированным взглядом одиночника все окружающее. Ведь коридор — это целый огромный мир по сравнению с камерой.

Вряд ли сам Шерлок Холмс сделал бы большее количество ценных наблюдений, осматривая этот уголок мира, чем делаю их я, после каждой opravки расширяя свое представление о месте, где я нахожусь. Я прекрасно овладела холмсовским «дедуктивным методом».

Вот большой деревянный ящик у коридорного окна. В него бросают остатки хлеба. Да, это вам не Бутырки! Там вызвало бы смех самое понятие «остатки хлеба». Как будто хлеб может оказаться лишним! Но в одиночках не хочется есть. И я регистрирую ежедневный рост количества выброшенных «паек». Некоторые прямо целиком, нетронутые. Может быть, кто-то объявил голодовку!

А вот открытая дверь в камере на противоположной стороне. Обитательница, видно, на прогулке. С завистью отмечаю, что мне досталась худшая доля. Та сторона лучше, та — южная. Туда проникают лучи солнца, хоть и сильно приглушенные щитом. А у меня внизу по стенам — густой узор плесени. Ревматизм здесь обеспечен.

Выход на прогулку — центр и основное событие дня. Оно обставлено такой торжественностью, точно ты по меньшей мере

Мария Стюарт. Примерно за четверть часа до вывода открывается дверная форточка и в камеру просовывается голова надзирателя.

— Приготовьтесь на прогулку, — говорит он таким таинственным, еле слышным шепотом, что кажется — кто-то рядом умирает.

Одеваешься и с замиранием сердца ждешь того вожаемого момента, когда раздастся звук поворачиваемого в железной двери ключа. Надзиратель, охраняющий эту часть коридора, ведет меня до следующего конвоира, который доводит до начала спуска по лестнице. А там меня принимает надзиратель второго этажа. Он ведет эту крупную государственную преступницу до нижнего этажа, и уже тамошний надзиратель подводит меня к прогулочному дворику, над которым возвышается тюремная вышка, а на ней еще один надзиратель, не спускающий с меня глаз во все время прогулки.

Таким образом, пять человек, здоровенных молодых мужиков, как бы самой природой созданных для выполнения производственных планов на предприятиях и в колхозах, принимают участие в выводе на прогулку такой крупной террористки, как я. У всех у них непроницаемые лица, полные сознания важности выполняемых функций и гордости от оказанного им доверия. Воображаю, что им говорят о нас на политзанятиях!

Прогулочные одиночные дворники — это собственно те же камеры, только без крыши. Залитый асфальтом двор разделен на пять-шесть клеток по 15 примерно метров величиной. Стены грязно-серые, внизу тоже асфальт. Ни травинки.

Руки во время прогулки, хотя ты и гуляешь одна-одиношенька, надо держать за спиной. Потоптавшись в таком дворике минут 10—15, ты снова поступаешь в руки надзирателей, которые, передавая тебя как эстафету из рук в руки, чередуясь в обратном порядке, доводят тебя до твоей камеры.

Но даже такую прогулку я вспоминаю с нежностью. Это был все-таки кусочек жизни, проникший в мою могилу. Прогулки ждешь всегда с нетерпением, ее вспоминаешь вечером. Лишение прогулки — а такие взыскания применяются часто — воспринимаешь как страшное бедствие. Как-никак, а пятнадцать метров — не пять. Да и небо . . .

До смерти не забуду я это чистое, высокое ярославское небо. В других городах нет такого. К тому же на нем то и дело мелькали залетающие с Волги чайки.

А пароходные гудки? Разве можно найти слова, чтобы передать чувство, вызываемое в душе одиночника этими гудками? А я еще к тому же волжанка. Я воспринимаю их, как голоса живых друзей. Ведь я знаю их в лицо, эти пароходы. Белые гордые

лебеди — бывшего общества «Самолет» . . . Торопливые работяги-буксирчики, волочащие баржи . . . Резкоголосые местные парходики-экскурсовозы . . .

Конвоирам и в голову прийти не может, как много впечатлений, мечтаний, сладостных воспоминаний можно вынести из пятнадцатиминутной прогулки в этой серой камере без крыши.

После прогулки появляется аппетит, и хоть с трудом, но съедаешь обед. Здесь дают столько еды, что умереть определенно нельзя. Но, с другой стороны, качество пищи такое, что и жить вряд ли можно. Вся пища абсолютно безвитаминая. Утром — хлеб, кипяток и два кусочка пиленого сахара. В обед — баланда и сухая, без всяких жиров, каша. На ужин — похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнущая рыбьим жиром. Каши чередуются: овсянка, перловка, пшено. Чаще всего крупная перловка, которую в Бутырках звали «шрапнель». Зато суп, наоборот, готчевый.

Как видно из правил, вывешенных на стенах, здесь разрешаются книги — по две на 10 дней. Но в первый месяц моего пребывания здесь библиотека как раз закрыта — инвентаризация, и 16 часов свободного времени предоставляется заполнять по своему усмотрению. Пытаюсь создать какой-то ритм, какой-то режим, чтобы не сойти с ума. Самое главное — не разучиться бы говорить! Конвоиры выдрессированы на полное молчание. Они говорят в день пять-шесть слов: подъем, оправка, кипяток, прогулка, хлеб . . .

Попробовала заняться гимнастикой перед завтраком. Щелк дверной форточкой.

— Запрещено!

Попробовала прилечь после обеда. Опять щелк.

— Лежать только после отбоя. С 11 вечера до 6 утра.

Что же тогда? Стихи . . . Только они . . . Свои и чужие . . .

И вот я кручусь взад и вперед на расстоянии своих пяти шагов и сочиняю:

*Хоть разбейся здесь, между плитами,  
Пресечение всех дорог!  
Как ни складывай, ни высчитывай —  
Пять в длину и три поперек . . .*

Нет, не выходит без карандаша . . . Трудно быть акыном.

На после обеда у меня намечен Пушкин. Я мысленно читаю себе лекцию о нем. Потом читаю наизусть все, что помню. Оказывается, память, освобожденная от внешних впечатлений, вдруг раскрылась, как куколка в бабочку. Чудеса! Даже «Домик в Коломне», выходит, знаю весь наизусть. Хорошо, хватит до ужина.

Самое страшное наступало именно после ужина. Тишина стучалась, приобретала какую-то осязаемую душную силу. Тоска

начинала грызть не только те места, которые ей положено, то есть сердце и голову. Нет, она теперь впивалась во все тело. Даже волосы, казалось, пружинились от отчаяния. Хоть бы один звук . . .

Но когда звук раздавался, становилось еще хуже. Вот скользкий шаг надзирателя. Вот еле уловимый звукочок поднятого и снова опущенного глазка. Вот мышшь скребется. Нет, от этих звуков еще больнее.

Хуже всего, что попытка бессонницей во время следствия нарушила сон. Заснуть почти невозможно. Мысль о том, что истекают положенные для сна часы, а днем спать не дадут, приводит в окончательное отчаяние. Торопиться заснуть, боишься, не пропало бы время. А от этого сон окончательно проходит.

Стихи . . . Они одни . . . И я сочиняю в уме, как акын. У меня получаются очень узенькие стихи.

#### ТИШИНА

*Каждый шорох,  
Шепот,  
Шаг  
Жгут, как порох,  
И глушат . . .  
Словно пряжа,  
Рвется тишь . . .  
Сердце?  
Стража?  
Или мышшь?  
Как мембрана,  
Вся душа.  
Саднит раной  
Каждый шаг.  
Мо-ло-точ-ки  
Бьют в висках . . .  
Нет отсрочки —  
Ночь близка.  
Ночь, как вата,  
Душный ком.  
Все утраты  
Здесь, рядком.  
Как поверить?  
Что не ложь?  
Каждый шелест  
Словно нож.  
Звук вдруг смялся,  
Как в бреду.  
Кто остался?  
Что найду?*

*Ночь все шире,  
Злее сны...  
Сколько ж в мире  
Ти-ши-ны?*

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### ДВАДЦАТЬ ДВЕ ЗАПОВЕДИ МАЙОРА ВАЙНШТОКА

Они висят на стене, прямо над моей железной койкой. Книг все еще не дают, и 22 заповеди — пока единственное доступное мне печатное слово. Я штудирую его до одурения.

Весь опус делится на три неравные части: «Заключенные обязаны», «Заключенным разрешается» и самый длинный раздел — «Заключенным запрещается».

Заключенные обязаны были безоговорочно выполнять все распоряжения тюремной администрации, производить в установленные дни уборку камеры, выносить два раза в день нечистоты.

Разрешалось переписываться (в принципе, а конкретно требовалось индивидуальное разрешение начальника тюрьмы) с ближайшими родственниками, к которым причислялись только родители, супруги и дети. Им можно было отправлять 2 письма и столько же получать. От этих же ближайших разрешалось получать не свыше 50 рублей в месяц и на эти деньги выписывать продукты из тюремного ларька. Можно было пользоваться прогулкой, длительность которой устанавливалась начальником тюрьмы, и получать из тюремной библиотеки 2 книги на 10 дней.

Этими благами исчерпывался гуманизм майора Вайнштока. Зато раздел «Заключенным запрещается» был разработан весьма досконально, с похвальным знанием дела. Запрещалось подходить к окну и садиться спиной к двери. Делать пометки в книгах и перестукиваться с соседями. Запрещалось разговаривать (с кем бы это?) и даже петь (!) в камере. И еще многое, многое другое.

В конце разъяснялось, каким наказаниям будут подвергнуты заключенные за нарушение этих запретов. Здесь со вкусом перечислялся весь арсенал тюремных средств. Лишение прогулки, библиотеки, ларька, переписки, заключение в карцер и, наконец, отдача под суд.

Документ был подписан: «Начальник тюремного управления ГУГБ майор Вайншток». В левом верхнем углу значилось: «Утверждаю. Генеральный комиссар гос. безопасности Ежов».

И все хотели только одного — стабильности этих правил. Это выяснилось спустя два года, во время этапа на Колыму. Все мечтали только о том, чтобы «хуже не было», потому что каждый день приносил явственное ощущение нарастания ужаса и беззакония.



ния. Чья-то дьявольски изобретательная мысль неустанно работала, кто-то трудолюбиво отыскивал щелочки в наших склепах и старательно заштукатуривал их.

Каждый день приносит новости. Еще вчера окно в конце коридора было просто замазано мелом. А сегодня и на этом окне уже висит мрачный щит. Еще вчера надзиратель не обращал никакого внимания на то, что я сижу спиной к глазку. А сегодня он открывает дверную форточку и зловеще шипит:

— Сядьте прямо!

Прогулка становится все короче, квитанции на выписку продуктов из ларька выдаются все реже. И главное — сменен начальник тюрьмы.

Мне удалось еще застать старого. Он приходил на другой день после приезда моего в Ярославль. Я слышала о нем еще в Бутырках. Это был типичный представитель старого «политизольаторского» стиля. Ведь до 1937 года здесь отнюдь не добивались смерти заключенного.

Добродушный круглолицый человек, чуть приоткрыв дверь, спросил:

— Можно?

А войдя, поздоровался, потом спросил, какие претензии у меня есть, какие просьбы. Успокоил, что библиотека скоро откроется, принял заявление на переписку с матерью и ушел, оставив ощущение порядочности.

Каждым словом, мимикой этот человек как бы говорил: «Я только служу и без всякого воодушевления. А что от меня зависит — рад сделать».

Увы, это была первая и последняя встреча. Решения июльского Пленума об усилении режима в тюрьмах проводились в жизнь.

Через пять-шесть дней дверь моей одиночки резко открылась, и вошел очень черный человек в военной форме. Он поверблужьи глубоко сгибал при ходьбе колени и смотрел в одну точку, мимо человека, к которому обращался.

Новый начальник тюрьмы.

— Вопросы есть? — отрывисто бросил он.

Типом лица и выражением его новый начальник напоминал грузинского киноактера в гриме злодея. С такими лицами двуногие коршуны Грузинской киностудии клевали и заклевывали насмерть белую голубку — Нату Вачнадзе.

Я сразу окрестила его фамилией Коршунидзе, а после повторных его визитов добавила «урожденный Гадиашвили». В дальнейшем он всегда именовался в наших этапах именно так, и многие стали всерьез считать это его фамилией.

Говорил он, сцепив длинные зубы и выталкивая слова, точно преодолевал глубокое внутреннее отвращение.

- Вопр-р-росы у вас есть?
- Скажите, долго я буду находиться в одиночке?
- Разве вы не знаете своего приговора? Десять лет!

После этого единственного диалога я стала всегда говорить, что вопросов нет. Да и о чем было его спрашивать? Все и так было ясно.

Однако жизнь внесла свои коррективы в двадцать две заповеди майора Вайнштока и в прогнозы из Москвы. Тюрьма трещала по швам, не в силах справиться с новыми задачами. И наперекор духу «заповедей» в одиночки стали вносить вторые койки. Происходило уплотнение.

Нарушая могильную тишь, зазвякали в коридоре железки, зашептались надзиратели. Разгадав значение звуков, я с трепетом ждала, что они принесут мне. Робинзон ждал своего Пятницу. И в один прекрасный день Пятница был обретен. Это было чудо, из тех самых чудес, про которые говорят: «в жизни этого не бывает». Но факт остается фактом. Из всех возможных десятков вариантов осуществился именно этот: ко мне в камеру была подсажена казанская знакомая — та самая Юлия Каропова, с которой нас этапировали на военную коллегия в Москву.

#### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

### СВЕТЛЫЕ НОЧИ И ЧЕРНЫЕ ДНИ

Мы говорили по двадцать часов в сутки. Охрипли. Настроение было приподнятое. Перепопняло гордое сознание, что ты человек, владеющий связной речью, способный к общению с другим человеком.

За короткое время я изучила до мельчайших деталей не только жизненный путь самой Юли, но и биографии всех ее родственников до третьего колена.

Я по шесть часов в день читала ей стихи. Мы повторно рассказали друг другу основательно зачерстневшие бутырские новости.

Потом наступила реакция. Мы внезапно замолчали, углубились в себя, в мысли о вариантах исхода. Как ни варьируй, а все чаще единственным выходом стала казаться смерть.

Спасение от самой себя приходит совершенно неожиданно. Вдруг открывается дверная форточка, и в нее просовывается какая-то папка, похожая на классный журнал. Вслед за папкой — белобрый голова надзирателя, прозванного Ярославский. Доброта сейчас берет в нем верх над ежедневной муштрой. Его лицо расплывается в улыбке, и он радостным голосом произносит одно волшебное слово:

— Каталог!

Это был предметный урок на тему о том, как никогда нельзя терять надежду. Мы уже давно пришли к выводу, что библиотека будет «инвентаризироваться» все десять лет, но вот . . . Да, это был каталог. И неплохой. Богатая библиотека, прекрасный выбор книг.

Это был конец одиночества. Завтра в это время ко мне придут Толстой и Блок, Стендаль и Бальзак. А я думала о смерти, глупая!

Торопясь и ошибаясь, выписываем номера желаемых книг. Завтра нам принесут их по две на каждую. Вот счастье-то, что я не одна больше! Одной дали бы только две книги, а так — четыре. Это уже паек, на котором можно существовать.

Должно быть, мы так и светимся счастьем, потому что Ярославский окончательно не выдерживает. Воровато оглядываясь на обе стороны, он обнажает в широкой улыбке неровные, но очень белые зубы и ободряюще кивает головой:

— Завтра . . .

И это завтра наступило. Я держу в руках четыре книги и изнываю от жадности, не в силах решить, какую из них мне менее жалко отдать сейчас Юле. Она добродушно предоставила мне выбор. С чего же начну? «Воскресение»! Конечно, с него! Юльке, поразмыслив, отдаю «Избранное» Некрасова. Она сразу начинает издавать изумленные восклицания:

— Всю жизнь считала, что декабристки — непревзойденные страдалницы. А между прочим: «покоен, прочен и легок на диво слаженный возок . . .» Попробовали бы они в столыпинском вагоне . . .

Но разговаривать уже некогда. Надо читать. И я вгрызаюсь в затрепанный толстовский томик.

В семье меня всегда считали страстной и неумной пожирательницей книг. Но по-настоящему раскрылся передо мной внутренний смысл читаемого только здесь, в этом каменном гробу.

Все, что я читала до этой камеры, было, оказывается, скольжением по поверхности, развитием души вширь, но не вглубь. И после выхода из тюрьмы я опять уже не умела больше читать так, как читала в Ярославской одиночной. Именно там я заново открыла для себя Достоевского, Тютчева, Пастернака и многих других.

Там же я элементарно изучила впервые историю философии, добросовестно проработав несколько томов. Как ни парадоксально, но в тюремной библиотеке можно было свободно получать многие книги, давно изъятые из обычных библиотек.

Нет ничего проще, чем объяснить глубокое воздействие книги на одиночника отсутствием внешних впечатлений. Нет, не только

это. У человека, изолированного от повседневности, от «жизни мышью беготни», создается какая-то душевная просветленность. Ведь сидя в одиночке, ты не гонишься за фантомом жизненных успехов, не лицемеришь, не дипломатничаешь, не идешь на компромиссы с совестью. Ты вся углублена в высокие проблемы человеческого бытия и подходишь к ним очищенная страданием.

И если даже лагерь, с его звериной обнаженной борьбой за существование, сохранил чистыми тысячи душ наших товарищей, то что говорить об одиночной тюрьме. Ее облагораживающее действие несомненно. Конечно, если она длится не особенно долго, если она еще не успевает разрушить основы личности.

Сколько раз в лагерь я с нежностью вспоминала свою страшную ярославскую одиночку! Потому что, хоть существование мое в ней было мучительно, но никогда и нигде, ни раньше, ни позднее не раскрывались так лучшие стороны моей личности, как там. Определенно, в течение этих двух лет я была куда добрее, умнее и тоньше, чем во всей моей остальной жизни.

Даже ежедневное ухудшение режима в тюрьме не могло погасить радостного возбуждения, вызванного открытием библиотеки. Только бы не закрыли опять. И мы стоически выдержали такую акцию, как переодевание в тюремную форму, в так называемые «ежовские костюмчики».

Все наши собственные вещи, находившиеся в камере, у нас отобрали и нам выдали серовато-бурые сатиновые юбки и кофты с коричневыми продольными и поперечными полосами, сделанными в стиле бубнового туза, негнущиеся, украшенные такими же полосами бушлаты. Только шапок у них не хватило, и у меня остался цветистый платочек нашей няни Фимы. Ботинок казенных тоже не хватало, и я продолжала ходить в домашних стоптаных красных тапочках. Эти тапочки и платок были теперь единственными светлыми пятнышками среди всего окружавшего нас.

— Отходили в дамском . . . — издевательски бросил корпусной по прозвищу Сатрапюк, уминая в мешки наши хорошие домашние пальто.

В первые минуты мы отнеслись к этой процедуре трагически. Как-никак, а превратиться в чучело — это чего-нибудь да стоит для тридцатилетней женщины, даже если ее никто не видит. Но потом отвлеклись задачей — как сохранить бюстгалтеры, хоть по одному. В казенное бельевое обмундирование входили только грубые бязевые рубашки и штаны. Лифчиков не полагалось. А ходить распустехой было страшно оскорбительно.

Каждая из нас с цирковой ловкостью спрятала по одному бюстгалтеру и пронесла его через бесчисленные обыски, проводившиеся в этой тюрьме дважды каждый месяц. Бюстгалтеры эти мы стирали над парашей и штопали рыбьей костью, вынутой

из вечерней похлебки. Их надо бы сохранить как воспоминание о несокрушимости «эвиг вайблихе». Мой потерялся потом в лагере во время бесчисленных этапов.

Через неделю после первой выдачи книг у нас обеих разболелись глаза. Ведь днем в камере было почти темно: северная сторона, высоченный деревянный щит без трещин и черный бордюр из огромных ворон на нем. Стало ясно, что если продолжать читать по восемь-десять часов ежедневно при таком освещении, то можно ослепнуть. Надо было как-то приспособляться. И мы приспособились.

Хотя начальство тюрьмы заботливо меняло наших коридорных надзирателей, чтобы мы не привыкали к ним и чтобы между нами не завязывалось человеческих отношений, но все-таки время от времени те же дежурные возвращались на наш этаж, и нам удалось разобраться в них. Каждый имел свое прозвище и свою оценку.

В те дни, когда по коридору вышагивал Сатрапюк или неслышными шажками подкрадывался к глазку Вурм, — отвратительный узкогубый прыщавый тип, — мы соблюдали режим идеально. Но когда появлялся Ярославский, или Святой Георгий, или миловидная кругленькая Пышка, — мы меняли порядок суюток.

Научившись спать сидя, мы садились вполоборота к глазку в таких позах, что нас можно было принять за читающих. Раскрытые книги лежали перед нами, но мы безмятежно спали сидя.

Зато ночью, когда ослепительная электрическая лампа заливала камеру светом, мы научились так класть книгу под одеяло, что можно было незаметно читать чуть ли не до рассвета. Конечно, глаза при этом тоже страдали от ненормальной позы, от недосыпания. Но все-таки это было каким-то выходом. Нам долго удавалось так дурачить дежурных. Лишь изредка открывалась дверная форточка и раздавался голос надзирателя:

— Первое место, скажите второму месту, чтобы ОНО не закрывалось с головой.

Это означало, что ОНО, то есть Юлька, слишком натянула над собой одеяло.

Так и текли эти черные сонные дни и светлые ночи, с мучительно слепящим светом лампы, с подпольным чтением. Так и шло время в физических и душевных муках, в просветленном общении с книгами, в смене надежд и отчаяния.

Небо над прогулочными камерами становилось все серее. Чайки стали залетать реже. Вороны на оконном щите усаживались более плотно. Наступила осень.

## «СОБАКА ГЛАНА»

У гамсуновского капитана Глана была собака по кличке Эзоп. Хотя вся наша камерная жизнь была насквозь пронизана духом Эзопа, но Юлька, явно переоценивая образованность надзирателей, боялась произносить вслух это имя.

Зато мы часто употребляли загадочное выражение «собака Глана». И мы проявили подлинную виртуозность в овладении языком и приемами этой собачки. Особенно искусно велась переписка.

Я получила разрешение на переписку с мамой. Юле в этом праве было отказано, ввиду «отсутствия близких родственников». Отправка моего письма — а разрешалась она дважды в месяц — превращалась в волнующее событие, к которому мы готовились заранее, обдумывая каждое слово.

Задача была трудная: сделать письмо вполне понятным для мамы и в то же время не возбудить подозрений тюремного цензора, который бдительно стоял на страже и при малейшем намеке на что-нибудь двусмысленное возвращал письмо.

— Отослано не будет! — так объявили мне, когда я вполне всерьез попросила маму привить Васе оспу. Каждое упоминание болезней считалось шифром.

Писали мы карандашами «установленной формы» из пластмассы со вставными графитиками, чтобы не надо было точить карандаш. Ничто острое в руки нам не давалось. В конверты письма вкладывались уже в цензуре.

Надо было сообщить маме как можно больше о себе и узнать от нее все, что можно, о муже, о детях, о всех родных и друзьях. Как сделать это?

И вот мы придумали писать о себе в третьем лице. Была проведена длительная подготовка. Прежде всего надо было придумать для меня второе имя. Что можно придумать от Евгении, кроме Жени? Ага! Ева! Малютка Евочка, сестренка Наташи. И маме было послано письмо с такой загадочной фразой:

«... Не тревожься так много о детях. Я думаю, что нашей Евочке, которая тебя заботит, не так уж плохо. Ведь она теперь не одна, а с тетей, которая относится к ней, я уверена, неплохо».

Моя мама подхватила все на лету. Да, она старается думать, что все будет хорошо с нашей дорогой Евочкой. Вот только не слишком ли замкнутый характер у тети? Пускает ли она Евочку погулять, повидаться с подругами? Мама хотела узнать, какой режим в тюрьме, одиночный ли.

Дальше все пошло как по маслу. Превратив всех в детишек, мы сообщали друг другу самые недопустимые с точки зрения цен-

зора сведения, не вызывая у него ни малейших подозрений. Так, мама сообщила, что «у Павлика еще не было экзаменов», из чего я поняла, что суда и приговора по делу мужа еще не было. В той же форме было сообщено об аресте мужа сестры — Шуры Королева. Сначала мама написала: «Шура переменял службу. Он сейчас работает в гараже». Если принять во внимание, что Шура был профессором русской истории, то подобная перемена «службы» могла означать только исключение из партии. А в следующем письме говорилось: «Шура уехал к Павлику». Это уже не вызвало никаких сомнений.

Так мы переписывались два года. Мама аккуратно сообщала новости о моих детях, и я верила ей. Эти благополучные известия дали мне силу перенести все.

Только много позднее, уже на Колыме, я узнала, что в то время когда мама писала: «Васе под Новый год сделали елочку», на самом деле Вася был потерян в недрах детдомов для детей заключенных, где перепутали его фамилию. Были такие месяцы, когда наши родные уже отчаивались найти ребенка. И только в 1938 году его дядя по отцу разыскал его в Костроме. Хорошо, что я не знала этого в Ярославле.

Кроме переписки, «собака Глана» широко применялась и в наших записях и в разговорах. Мы имели право покупать две тетради в месяц через ларек и писать в них все, что хотели. Но так как тетради после их заполнения надо было сдавать в цензуру, то фактически использовать тетрадь так, как хотелось бы, скажем, для стихов, было невозможно.

Сейчас я начисто забыла любопытную стенографию, изобретенную нами тогда. Действительно, оказалось, что, попав в положение Робинзона, каждый индивид повторяет развитие вида, проходя через все стадии «технического прогресса».

Мы изобрели иглу из рыбьей кости и нитки из собственных волос. Придумали оригинальную систему стенографии и усовершенствовали до ювелирной тонкости технику перестукивания, которое здесь, в могильной тиши, было занятием куда более опасным, чем в казанском подвале.

Стихи я записывала по этой системе, потом заучивала наизусть, стирала записанное хлебным мякишем, а по стертому сверху писала решения алгебраических задач или спряжение французских глаголов.

Основная задача, стоявшая перед нашей «собакой Глана», то есть перед всей нашей подпольной жизнью в камере, состояла в разрушении, насколько возможно, той строгой изоляции от мира и друг от друга, которая была законом этой тюрьмы. По замыслу администрации, каждый из нас должен был считать себя как бы единственным узником этого дома. Ну, поскольку при-

шлось уплотнить камеры и сделать их двойными, то разрешалось предположить, что кроме меня на свете осталась еще Юлия Карпова.

Прежде всего — кто соседи? Путем тончайших наблюдений за характером звуков и неясных шорохов мы установили, что по обеим сторонам от нас — одиночники, что в тех камерах еще нет «приставной койки». Видимо, наиболее «крупных» старались как можно дольше выдержать в одиночестве. Справа кто-то ходил и ходил. Скрип огромных казенных ботс проникал даже через метровую стену. В ответ на наш вопрос о фамилии и сроке нам был поставлен контрвопрос: «Какой вы партии?» И когда мы ответили — «коммунистки», нам простучали в ответ:

— Среди членов этой партии у меня нет друзей.

Потом раздался удар кулаком в стену, и стена замолчала на все два года.

Было ясно, что там меньшевичка или эсерка типа казанской Мухиной.

Зато с соседкой слева установилась регулярная стенная связь. Мы почти ежедневно обменивались шифрованными телеграммами, составленными так, чтобы содержание их не могло быть понято, даже если бы и обнаружили перестукивание.

Соседкой оказалась Ольга Орловская, журналистка из Куйбышева, жена некоего Ленцнера, сыгравшего видную роль в троцкистской оппозиции. Сама Ольга была преданнейшим членом партии, с Ленцнером уже много лет была в разводе, но все же была арестована за связь с ним.

Ольга уже много месяцев сидела одна и была бесконечно рада установившейся связи с нами. Стучали мы во время раздачи обеда или ужина, когда тишина нарушалась звяканьем черпаков и жестяных мисок. Главной темой наших бесед было обсуждение газетного материала. Мы имели право из собственных 50 рублей, присылаемых родными, выписывать местную газету «Северный рабочий».

Что это была за газета! Если бы ее взял в руки сегодняшний читатель, ему показалось бы, что он бредит. Процесс изъятия «врагов народа» обобщался, систематизировался чуть ли не в схемах и таблицах. Можно было, например, встретить корреспонденцию о нерадивом секретаре райкома, утверждающем, будто в его районе уже «некого брать». Автор корреспонденции негодовал по поводу такого примиренчества к «враждебным элементам» и ставил под сомнение собственную благонадежность секретаря. По несколько раз в месяц давались развернутые полосы о судебных процессах районных руководителей. Столбцы немудрящей провинциальной газетки пестрели словами «высшая мера»,



«приговор приведен в исполнение». Они набирались жирным шрифтом.

Наряду с такими материалами шли патетические восхваления «верных сынов народа» и «простых советских людей». Приближались выборы в Верховный Совет, первые выборы на основе новой Конституции, и кандидатом Ярославля выступал первый секретарь Ярославского обкома Зимин, только что сменивший своего арестованного предшественника. В каждом номере давались фотографии Зимина в разных видах, перечислялись его заслуги.

Через несколько месяцев после выборов Зимин был арестован вместе со всем новым составом бюро обкома, и та же газета «Северный рабочий» посвящала полосы разоблачению «materого шпиона Зимина, обманным путем пробравшегося на руководящую партийную работу».

Выражения «слой», «снимают слоями» приходило в голову еще до того, как Каганович употребил его в положительном смысле. Сказал примерно так: «Борясь с последствиями вредительства, мы сняли несколько слоев . . .»

Вот обо всем этом и толковали мы с Ольгой через стенку, изъясняясь на языке «собаки Глана». Реплики Ольги свидетельствовали об остром уме, о журналистском умении быстро находить точные формулировки.

Так мы общались с Ольгой два года. И только в 1939 году, уже в колымском этапе, выяснилось, что Ольга боготворит Сталина, несмотря ни на что, и что в этой самой ярославской одиночке она написала ему заявление в стихах, которое начиналось так: «Сталин, солнце мое золотое, если б даже ждала меня смерть, я хочу лепестком на дороге, на дороге страны умереть . . .»

Поражаться этому, впрочем, не приходилось, так как в лагере оказалось немало людей, странно сочетавших здравую оценку всего происходящего в стране с чисто религиозным культом Сталина.

Юля, склонная к детективу, увлекалась «собакой Глана» настолько чрезмерно, что иногда даже я не могла понять ее сложных намеков. Особенно осторожной она стала после того, как у Ольги случилось несчастье, о котором та сообщила нам через стенку. Ее лишили книг за какие-то «подчеркивания в тексте», которых она не делала. Теперь, прежде чем вернуть надзирателю книгу, мы проводили над ней гигантскую работу, скрупулезно исследуя каждую страницу.

Еще больше «заэзопилась» Юля, когда ей пришла в голову идея, что в углублении стены, которое было над ее койкой, вставлен магнитофон, фиксирующий все наши разговоры. На-

прасно я доказывала ей, что такая мера вряд ли нужна с точки зрения наших тюремщиков. Ведь мы уже не следственные, ничего нового дать им не можем. А то, что мы сами «враги народа» — это они считают уже доказанным.

Юля продолжала отчаянно биться «Прова Степаныча» (так именовалось это углубление в стене) и находила такие анекдотические формы засекречивания наших разговоров, что я иногда от души хохотала над ней, уткнувшись в соломенную подушку, чтобы не привлекать внимания надзирателей.

И все-таки, несмотря на все наши старания и предосторожности, карающая десница тюремного начальства добралась и до нас. Ведь тюремные взыскания, так же как и самые сроки, раздавались не в зависимости от стихийных проступков, а строго по плану, на основе четкого графика. А график подходил к роковой дате третьей годовщины убийства Кирова, к первому декабря.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### ПОДЗЕМНЫЙ КАРЦЕР

Как всегда, несчастье разразилось именно в тот момент, когда мы его совсем не ждали. Наоборот, мы почему-то очень веселились в этот день.

С утра нам принесли из ларька продукты: полкило сахара, двести граммов масла и почему-то несколько огурцов, неизвестно каким путем попавших в тюремный ларек. Огурцы были желтые, корявые и страшно горькие. Хозяйственная Юля, выросшая в столичном городе Царевококшайске, пронесшая через все свои чины и ордена пристрастие к патриархальному хозяйству, загорелась гениальным планом засолки этих трех огурцов.

— Ничего смешного! Попросим по шепотке соли и у дневного, и у ночного дежурного. И у завтрашнего утреннего. Кипятка три дня не брать. Или брать, но выливать в парашу. И в жбане для кипятка послать. Через три дня будут чудные, малосольные . . .

— Юлька! Тебя надо в стихах воспевать, честное слово!

— И не мешало бы! А то пишешь неизвестно о чем, а нет чтобы воспеть подругу дней твоих суровых . . .

Я тут же приступила к делу.

*Нет, мне тебя не воспеть ни хореем, ни ямбом презренным,  
Только гекзаметр один будет достоин тебя . . .*

— Пожалуйста, не возражаю!

*Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий,  
Ты на вершине его все ж посолишь огурцы . . .*

И именно в тот момент, когда мы захлебывались сдерживаемым смехом, ключ в нашей двери вдруг повернулся. Сердце сжалось, свернулось клубком. Каждое открытие дверей в неуточное время несло только горе.

— Следуйте за мной, — сказал корпусной, обращаясь ко мне.

Такие случаи уже бывали несколько раз за время нашего пребывания здесь. Водили «печатать пальцы», то есть брать дактилоскопические оттиски, водили к зубному. Нет, к зубному по предварительной заявке... Что же это такое?

Спускаясь с лестницы, слышу тревожное покашливание Юли, несущееся вслед, выражающее тревогу и солидарность. Вот мы миновали второй этаж, первый. Куда же это? Все ниже и ниже? Уже ясно, что ведут не для пустой формальности. В длительном спуске ощущается что-то зловещее. Сколько же здесь подземных этажей?

Наконец мы останавливаемся в каком-то узеньком застенке. Передо мной вырастает кургузая плечистая фигура старшего надзирателя Сатрапюка. У него очень темное смуглое лицо, на котором почти неправдоподобно выглядят белесые глаза. Говорит он с сильным украинским акцентом.

Осведомившись о моей «хфамилии», он вытаскивает книгу приказов и читает мне приказ начальника тюрьмы о водворении в нижний карцер сроком на пять суток «за продолжение контрреволюционной работы в тюрьме, выразившейся в написании своего ИМЯ на стене уборной».

Провокация явная! Никакого ИМЯ я, конечно, не писала, да и глупо было бы писать. Ведь мы отлично знали, что после каждого нашего выхода оттуда надзиратель, несущий почетную вахту у дверей этого учреждения, обязан заходить туда и проверять, не оставили ли мы там бомбу с динамитом. Кроме того, в его обязанности входила выдача каждой из нас по листочку газетной бумаги, и он осуществлял это дело государственной важности с лицом значительным и непроницаемым.

Все это проносится в моей голове, и я пытаюсь объяснить Сатрапюку: надо быть совсем глупой, чтобы в этих условиях писать что-нибудь на стене. Он, не слушая, предлагает мне расписаться в том, что приказ мне объявлен.

— Нет! Не буду подписывать эту ложь, эту чепуху! И потом, что это еще за «продолжение контрреволюционной работы в тюрьме»?

Как только я произнесла эти слова вслух, мне стало ясно, для чего они написаны. Перед глазами сразу возникли строчки из 22 заповедей майора Вайнштока. Там говорилось, что в случае «продолжения контрреволюционной работы в тюрьме» дело пе-

редается в суд. Значит, подписав этот приказ, я как бы признаю факт и даю материал против себя, чтобы меня снова судили и на этот раз уж обязательно убили.

— Не подпишу! Это провокация!

— Ладно. Нэ пышить. Еще поченейше соби зробыти. Давайте роздягайгесья?

— Что-о?

— Роздягайсь, говорю! — переходит он вдруг на «ты». — У карцере другой одяг, по положению . . . Заходь давай!

Он наступает на меня, и я оказываюсь в каком-то каменном треугольнике. Ни окна, ни лампочки. Свет падает только из открытой пока двери. Веет могильным холодом. Ясно, что застенок этот не отопляется. На высоте двух-трех вершков от пола прибиты узкие нары, заменяющие койку. На них валяются лохмотья, в которые мне надлежит сейчас переодеться. Этот грязный, засаленный обрывок солдатской шинели и огромные лапти. Самые настоящие лапти . . .

— Не буду . . .

— Будешь! А то вам еще и не такие местечки покажем, — сатанеет вдруг Сатрапюк, и прежде чем я успеваю опомниться, он САМ начинает раздевать меня. Я чувствую, как его лапищи коснулись моей груди.

— А-а-а!

Неужели это я издала такой дикий вопль? Да, это я. Я сорвалась с петель. Чаша переполнилась. Кричу и бьюсь еще отчаянней, чем в «черном вороне» после суда. Тогда я билась головой о стенку, стараясь причинить боль только себе. Сейчас я обезумела настолько, что вступаю в драку с Сатрапюком, который может меня уложить одним ударом кулака. Я пускаю в ход ногти и зубы, я ударяю его ногой в живот. При этом я выкрикиваю страшные слова:

— Фашисты! Негодяи! Погодите, и на вас придет день!

Вдруг я ощущаю мгновенную, но такую невыносимую боль, что на какое-то время теряю сознание. Это Сатрапюк вывернул мне руки и связал их сзади полотенцем. Как сквозь сон вижу, что на помощь к нему подросла женщина-надзирательница. Она раздевает меня, связанную, до рубашки, вытаскивает даже шпильки из волос. Потом все сливается, и я проваливаюсь в черную и в то же время огненную бездну.

Прихожу в себя от мороза. Пальцы на левой ноге заковенели настолько, что я не ощущаю их. У меня тогда получилось отморожение второй степени всех пальцев левой ноги. И до сих пор каждую зиму нога распухает и болит.

Все тело мучительно ноет. Я лежу на этих низких нарах, прямо на спине, почти голая, в одной рубашке и накинутой сверху

грязной шинелишке. Но руки у меня свободны, не связаны. Это надзирательница, наверно, пожалела, развязала перед тем, как бросить сюда.

Всматриваюсь в темноту. Ни зги. Только бы я не ослепла . . . Ведь ничего, ничего не вижу. Хоть бы искорку какую-нибудь . . .

Шаги. Стук солдатских каблуков. Поворот ключа в дверной форточке и . . . Нет, я не ослепла! Какой ликующий поток света струится из дверного окошечка! Я вижу, вижу его! Теперь легче будет смотреть в тьму. Ведь я теперь знаю, что не ослепла.

— Вода!

Кружка грязная, заржавленная, вода подернута каким-то сальным налетом. Я жадно хватаю ее, выпиваю два глотка, а остальной водой умываюсь. Экономно, аккуратно отмываю руки и лицо, потом вытираюсь верхним краем рубашки. Вот. Теперь я снова человек, а не грязное затравленное животное.

— Хлеб!

— Не буду!

— Почему?

— В такой грязи есть нельзя.

— Доложу начальнику.

Он уходит, но закрывает дверную форточку как-то не так плотно, как было раньше. Теперь по краю ее ясно улавливается узенькая полоска электрического света. Я фиксирую ее взглядом, и это приносит мне бесконечное утешение.

Надо отмечать дни. Чтобы не слились в одно дни и ночи. Сейчас мне хотели дать хлеб. Это был первый день. Я надрываю в одном месте подол рубашки. Каждый раз, когда мне будут предлагать хлеб, я буду делать на рубашке такой надрыв. Когда их будет пять, меня отсюда выпустят. Каким дворцом мне кажется сейчас наша камера! Юлька . . . Неужели и с ней расправились так же? У нее и так плеврит . . .

Спать здесь невозможно. Мешают холод и крысы. Они шмыгают мимо меня, и я бью их огромным лаптем. Что же делать? Ах, стихи . . .

Я читаю себе Пушкина и Блока, Некрасова и Тютчева. Потом сочиняю (акын настоящий, совсем без карандаша!) стихи «Карцер».

*Не режиссерские бредни.  
Не грезы Эдгара По.  
Слышу, как в шаге последнем  
Замер солдатский сапог.  
В пьяном шакальем азарте  
Как они злы, как низки . . .  
Вот он — подземный карцер!  
Камень. Мороз. Ни зги!  
Вряд ли сам ад океанней —*

*Пить, так уж, видно, до дна . . .  
Счастье, что в этих скитаньях  
Все-таки я не одна.  
Камень взамен подушки,  
Но про ночной Гурзуф  
Мне напевает Пушкин,  
Где-то в углу прикорнув.  
И для солдат незримо  
Вдруг перешел порог  
Рыцарь неповторимый,  
Друг — Александр Блок.  
Если немного устану —  
В склепе несладко живьем —  
Вспомним про песнь Газтана,  
Радость-страданье споем.  
Вместе не так безнадежно  
Самое гиблое дно.  
Сердцу закон непреложный:  
Радость-страданье — одно.  
Пусть же беснуется, воя,  
Вся вурдалачья рать!  
Есть у меня вот такое,  
Что вы не в силах отнять!*

Да, этого они отнять не в силах. Все отняли: платье, туфли, гребенку, чулки . . . Бросили на мороз почти голую. А вот этого не отнимут. Не в их власти. Мое со мной. И я переживу даже этот карцер.

#### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОММУНИСТО ИТАЛЬЯНО . . .

На подоле моей рубашки уже четыре надрыва. Уже четырежды мне предлагали хлеб, и четырежды я не приняла его. Я уже немного сориентировалась и здесь. Различаю звуки, связанные со сдачей дежурства надзирателей, шаги Сатрапюка и его шепот с придыханием. Поняла, что в этом секторе подвала не меньше пяти таких клеток, как моя.

Поэтому шаги Коршунидзе-Гадиашвили — начальника тюрьмы — я сразу различила. Открылась моя дверь. Я повернулась на своем ложе к стене, чтобы не видеть его. Угадываю его верблостью, ныряющую походку и презрительную гримасу на его физиономии. Секунду мы оба ждем. Он — чтобы я проявила чем-нибудь, что жива, я — чтобы заорал: «Встать!» Но он начинает свою речь с эпическим спокойствием:

— Вам известно, что в нашей тюрьме голодовки запрещены?

Молчу. Я не хотела разговаривать с этим вырожденком даже там, в камере. Тем более не скажу ни слова здесь.

— Повторяю: известно ли вам, что в нашей тюрьме голодовка расценивается как продолжение контрреволюционной работы?

Кусаю губы в кровь и молчу.

— Вы не подписали приказа и не принимаете хлеба. Это достаточные основания для передачи дела о вашем поведении в тюрьме в суд. Отдаете ли вы себе в этом отчет?

Хоть лопни, проклятый, хоть пристрели сейчас на месте, не вымолвлю ни слова. Что терять-то? Разве в могиле не лучше, чем здесь?

Коршунидзе выжидает еще минуту, потом поворачивается на каблуках своих сапог (по его ежемесячным визитам знаю, как они блестят!) и выходит из карцера. Двери снова заперты.

Но вот открывается дверная форточка, и я вижу знакомое добродушное лицо Ярославского, колючую поросычью щетинку на его розовых щеках.

— Бери, девка, хлеб-то, слышь! А то и впрямь замордуют вовсе, — торопливым шепотом произносит он и сразу же, прерывая самого себя, захлопывает форточку. Кто-то в коридоре . . .

Топот многих ног, какое-то шушанье, будто протащили что-то по каменному полу, глухие возгласы. И вдруг над всем этим отчаянный дискантовый крик. Он долго тянется на одной ноте и наконец неожиданно обрывается.

Все понятно. Кто-то сопротивляется. А его все-таки тащат в карцер. Опять кричит. Замолчала. Заткнули рот кляпом.

Только бы не сойти с ума. Все что угодно, только не это. «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума . . .» А ведь первый признак надвигающегося безумия — это, наверно, именно желание вот так завывать на одной ноте. Это надо преодолеть. Работой мозга. Когда мозг занят делом, он сохраняет равновесие. И я снова читаю наизусть и сочиняю сама стихи. Потом повторяю их много раз, чтобы не забыть. А главным образом, чтобы не слышать, не слышать этого крика.

Но он все продолжается. Пронизывающий, утробный, почти неправдоподобный. Он заполняет все вокруг, делается осязаемым, скользким. По сравнению с ним вопли роженицы кажутся оптимистической мелодией. Ведь в криках роженицы затаена надежда на счастливый исход. А тут великое отчаяние.

Меня охватывает такой страх, какого я еще не испытывала с самого начала моих странствий по этой преисподней. Мне кажется — еще секунда, и я начну так же вопить, как эта неизвестная соседка по карцеру. А тогда уж обязательно соскользнешь в безумие.

Но вот однотонный вой начинает перемежаться какими-то выкриками. Слов разобрать не могу. Встаю со своего ложа и, волоча за собой огромные лапти, подползаю к двери, прикладывая к ней ухо. Надо разобрать, что кричит эта несчастная.

— Ты что? Упала, что ль? — раздается из коридора. Ярос-

лавский снова приоткрывает на минуту дверную форточку. Вместе с полоской света в мое подzemелье вливаются довольно ясно произнесенные слова на каком-то иностранном языке. Уж не Карола ли это? Нет, на немецкий не похоже.

У Ярославского расстроенное лицо. Ох, какая это все постылая обуза для мужичьего сына с поросячьей белобрысой щетинкой на щеках! Уверена, что если бы он не боялся проклятого Сатрапука, помог бы и мне, и той, кричащей.

В данный момент Сатрапука, видно, нет поблизости, потому что Ярославский не торопится захлопывать форточку. Он придерживает ее рукой и шепотом бубнит:

— Завтра срок тебе. Назад в камеру пойдешь. Перетерпи уж ночь-то. А может, возьмешь хлеб-то, а?

Мне хочется поблагодарить его и за эти слова и, особенно, за выражение его лица, но я боюсь спугнуть его какой-нибудь недопустимой фамильярностью. Но все-таки решаюсь прошептать:

— Чего она так? Страшно слушать . . .

Ярославский машет рукой.

— Кишка у них больно тонка, у заграничных-то этих! Вовсе никакого терпенья нет. Ведь только-только посадили, а как разоряется. Наши-то, русские, небось все молчком. Ты-то вон пяты сутки досиживаешь, а молчишь ведь . . .

И в этот момент я ясно различаю доносящиеся откуда-то вместе с протяжным воем слова «коммунисто итальяно», «коммунисто итальяно . . .»

Так вот кто она! Итальянская коммунистка. Наверно, бежала с родины, от Муссолини, так же как бежала от Гитлера Клара, одна из моих бутырских соседок.

Ярославский торопливо захлопывает дверку и строго кашляет. Наверно, Сатрапука на горизонте. Нет, много шагов. Хлопанье железных дверей. Это там, у итальянки . . . Какой странный звук! Ж-ж-ж-ж . . . Что это напоминает? Почему я вспомнила вдруг о цветочных клумбах? Боже мой! Да ведь это шланг! Значит, это не было фантазией Веверса, когда он грозил мне: «А вот польем вас из шланга ледяной водицей да запрем в карцер . . .»

Вопли становятся короткими. Она захлебывается. Совсем жалкий комариный писк. Опять шланг. Удары. Хлопанье железной двери. Молчание.

По моим расчетам, это была ночь на пятое декабря. День Конституции. Не помню, как я провела остаток этой ночи. Но тонкий голос итальянки я и сегодня слышу во всей реальности, когда пишу об этом спустя почти четверть века.

Ярославский сменился. Дверь настезь. Еще прежде, чем я различаю, кто стоит в дверях, я с беспощадной ясностью вижу



вдруг самое себя, скорчившуюся на этих грязных обледенелых досках, прикрытую грязной хламидой, растрепанную. Вижу свои посиневшие отмороженные ноги в огромных лаптях. Затравленный зверь. Да разве еще можно жить после такого?

Оказывается, можно. В дверях стоит надзирательница Пышка. На ее щеках и подбородочке ямочки. Веселые кудряшки падают на тюремную форму. От нее одуряюще пахнет земляничным мылом и тройным одеколоном. Она что-то говорит добрым голосом. Сначала я воспринимаю ее речь только как мелодию. Человеческий голос. Приятный, доброжелательный. Разве это еще мыслимо? Потом начинаю различать смысл слов.

— Сейчас в камеру пойдете. Скоро ужин . . . А завтра в душе помоешься.

— Как ужин? Я думала, утро . . .

Она помогает мне снять хламиду и надеть серо-синюю ежовскую форму. Форма кажется мне сейчас удобным и красивым платьем. Сразу делается теплее; дрожь, не унимавшаяся все пять суток, прекращается. Я пытаюсь натянуть чулки, но это мне почему-то не удается. Чулки кажутся странно длинными, и потом, я никак не могу сообразить, с какой стороны их натягивают. Пышка опять услужливо помогает мне.

— Идите . . .

Выхожу на площадку, на которую выходят двери нескольких карцеров. Около каждой стоит обувь. Всем, значит, надевают в карцере лапти. У администрации не хватает казенных бот, и потому у дверей стоят потрепанные туфли, тапочки. Домашняя обувь. Но что это? Я вижу изумительно изящные, маленькие, не больше 33-го номера, модельные туфельки на высоких каблучках. Она! Это, без сомнения, ЕЕ туфельки! Передо мной вырастает образ грациозной маленькой итальянки, которой могут быть впору такие туфельки. А они . . . Из шланга . . .

Меня уже вывели наверх, на ту лестничную клетку, которую я ежедневно прохожу, спускаясь на прогулку во дворик. И вдруг я останавливаюсь в мучительном сомнении. Направо или налево? Делается страшно . . . Значит, я все-таки тронулась. Ведь каждый день хожу здесь, каждый день . . . Три с половиной месяца . . . Почему же я вдруг забыла дорогу?

— Направо, — говорит шепотом Пышка, и я пытаюсь повернуть направо, но вдруг окончательно теряю ориентацию и тихо опускаюсь на ступеньки. Нет, я, значит, все-таки не железная . . .

Последнее, что стучит у меня в висках, когда я падаю, ныряя в беспмятство, это все тот же пронзительный крик:

— Коммунисто итальяно! Коммунисто итальяно!

## «НА БУДУЩИЙ — В ЕРУСАЛИМЕ!»

Всему на свете приходит конец. Кончался, кончался все-таки и девятьсот проклятый — тридцать седьмой. Прошел декабрь, начавшийся для нас карцером, болезнями после него. Юлин плеврит резко обострился. Я мучилась отмороженными ногами.

В газетах мы читали сейчас описание первых выборов на основе новой Конституции, нового избирательного закона.

Днем и ночью мучила мысль: неужели наш уход из жизни никем не замечен? Я представляла себе, как идут на выборы наши, университетские. Неужели никто не вспомнит? А редакция? Впрочем, там, наверно, не осталось никого из старых.

И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естествен, как дыхание. Ведь все, что я имела: и тысячи прочитанных книг, и воспоминания о замечательной юности, и даже вот эта выносливость, которая сейчас спасает меня, — ведь это все мне дано ею, Революцией, в которую я вошла ребенком. Как нам было интересно жить! Как все хорошо начиналось! Что же, что же это такое случилось?

— Юлька! Проснись! А ты не думаешь, что ОН сошел с ума? А? Мания величия ведь часто, говорят, сопровождается и манией преследования . . . Может, ему и вправду всю ночь мальчики кровавые в глаза лезут.

Юлька нечленораздельно мычит что-то. И зачем только я разбудила ее? Ведь она так плохо чувствует себя после карцера.

Болезнь не мешает ей, впрочем, готовиться к «встрече» приближающегося Нового года. Она копит сахар, откладывая по куску из выдаваемых ежедневно двух пиленых кусочков. Уже вторую неделю она ревниво оберегает граммов 20 масла, оставшихся от 200 граммов, купленных однажды (за три месяца) в тюремном ларьке.

— Новый год надо отметить хорошо. Ведь есть примета: как Новый год встретишь, так он весь и пройдет. И ты обязательно сочини новогодние стихи.

— Подожди ликовать! Еще, может быть, у них день Нового года отмечается не менее торжественно, чем день первого декабря, годовщина убийства Кирова. Может, для этой цели приспособлены еще более усовершенствованные карцеры.

Но Новый год все же приближался, и мы обе ждали его с нетерпением. Суеверно казалось, что кошмары, принесенные тридцать седьмым, могут раствориться в свежем воздухе тридцать восьмого.

Как и перед всякой выдающейся датой, тюремный режим заметно усилился. Чаще обычного щелкал открываемый глазок, чаще раздавался змеиный шепот: «Прекратите разговоры!» Библиотека почему-то снова не работала, и книги, находившиеся у нас уже месяц, были изучены до тонкостей. Помню, что одной из них был все тот же однотомник Некрасова, который Юле не хотелось возвращать.

И опять я думала о том, как раскрывается слово писателя в той ничем не нарушаемой душевной собранности, которая дается тюрьмой, в благоговейной готовности как можно глубже воспринять это слово.

Никогда я не любила людей так проникновенно, как именно в эти месяцы и годы, когда, отгороженная от них каменными стенами, брошенная в царство нечеловеков, я воспринимала каждую писательскую строчку как радиограмму с далекой планеты Земля, моей родины, моей далекой матери, где жили и живут братья мои — люди.

Даже самая хрестоматийная строчка Некрасова превращалась теперь в волнующее письмо далекого друга. Я часами читала Юльке «Рыцарь на час», «Русских женщин». И интересно, что больше всего стучали в сердце самые неожиданные места, мимо которых проходила раньше не останавливаясь. Например, «спи, кто может, я спать не могу . . .» Это ведь о природе. О той лунной морозной ночи, когда поэт «хотел бы рыдать на могиле далекой» . . . Когда-то я заучивала эти стихи в школе, и они сливались для меня тогда с десятками других пейзажных строк, почти не задевая сердца. А сейчас . . .

Вот она, в прорези открытой форточкой, — эта морозная лунная ночь. Какой бы мороз ни был на улице, мы с Юлей не закрываем форточку. Ведь оттуда струится тоненький ручеек кислорода, оттуда поступает наш нищенский паек со стола жизни. Мы ведь не дышим теперь, а только жадно подбираем крохи кислорода. И вот с ним-то вместе, с этим ручейком, и входит к нам в камеру некрасовская морозная ночь. И мне кажется, что никто до нас не понимал всего объема этих слов: «Спи, кто может, я спать не могу . . .»

Кроме Некрасова в эти предновогодние дни на нашем прикованном к стене столике оказался еще томик стихов Сельвинского. И там случайно попались на глаза строчки о судьбах еврейского народа, о его стойкости, жизнелюбии. Приводилось древнее новогоднее приветствие: «На будущий — в Ерусалиме».

Под этим заголовком я и сочиняю поздравительные новогодние стихи для Юли.

*. . . И вновь, как седые евреи,  
Воскликнем, надеждой палимы,*

*И голос сорвется, слабея:  
На будущий — в Ерусалиме!*

*Тюремные кружки содвинув,  
Осушим их, чокнувшись прежде.  
Ты согласишься что-либо в винах?  
Нет слаще вина надежды!*

*Товарищ мой! Будь веселее!  
Питаюсь перловкой, не манной,  
Мы все ж, как седые евреи,  
В свой край верим обетованный.*

*Такая уж вот порода!  
Замучены, нищи, гонимы,  
Все ж скажем в ночь Нового года:  
На будущий — в Ерусалиме!*

И вот она пришла, эта новогодняя ночь. Первая новогодняя ночь в тюрьме. Если бы мы знали тогда, что впереди их еще не меньше семнадцати! Вряд ли мы смогли бы, наверно, так терпеливо встретить ее, если бы вдруг на тюремной стене, как на экране телевизора, вспыхнула хоть одна из сцен предстоящей нам в ближайшие семнадцать лет жизни. Но, к счастью, будущее было для нас закрыто, и надежда лгала нам своим детским лепетом. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, мы были уверены, что «на будущий — в Ерусалиме!»

Мы лежим на своих тюремных койках и стараемся уловить движение времени. Это не очень просто. Недаром Вера Фигнер назвала свою книгу об одиночной тюрьме «Когда часы остановились».

Но в эти пограничные, перевальные минуты, когда уходил в глубь веков этот единственный в своем роде год, когда наступал новый (а ему мы приписывали роль справедливого судьи!) — в эти минуты мы стали способны отсчитывать шаги времени по многим неуловимым признакам: по ударам своих сердец, по дыханию надзирателя, заглядывающего в глазок.

Какое-то шестое чувство заставило нас одновременно протянуть руки из-под колючих серых одеял и чокнуться жестяными кружками, в которых была заранее заготовлена сладкая вода.

Нам повезло. Надзиратели не заметили наших незаконных действий, и мы спокойно выпили свой напиток, закусив его куском хлеба, смазанного маслом. Это было поистине Лукуллово пиршество!

Я торжественно прочла Юле поздравительные стихи, и мы сладко заснули в мечтах о Новом годе. На будущий — в Ерусалиме!

## ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

Нет, чуда не произошло. Тридцать восьмой не стал справедливым судьей тридцать седьмого. Наоборот, он оказался двойником своего кровожадного брата и даже кое в чем переоголял его.

Этот год, проведенный от начала до конца в одиночке, оказался ярославским узникам вечностью и в то же время — мигом. Каждый отдельный день тянулся невыносимо, но недели, а особенно месяцы летели галопом.

Пробуждение. Дверная форточка хлябает и открывается, точно пасть какого-то сказочного дракона. Пасть произносит:

— Подъем!

И захлопывается, точно лязгают одна о другую металлические челюсти чудовища. Подъем в шесть утра. Зимой еще совсем темно, и кусочек неба в окне над щитом сливается с краями щита.

Подъем. Это значит еще раз осознать, где ты находишься, отдать себе отчет в том, что все ЭТО — правда, не сон. Все на месте: багровые стены, скрежещущие железные койки, вонючая параша, углубление в стене, от которого расходятся какие-то контуры, напоминающие мужское лицо. Это — «Пров Степаныч» — наш предполагаемый соглядатай, за которым, по Юлиному предположению, скрывается магнитофон.

Быстро вскакиваем. Медлить запрещено. Натягиваем свои форменные платья, ежовские формочки. Дрожа от сырости, от вони, от отвращения к жизни, стараемся подшучивать над своим видом в этих туалетах. Любимая шуточная игра. Я говорю Юле: «Хозяйка, вам куфарку не надоть?» Она строго: «А паспорт у тебя есть?» — «Вот пачпорта-то как раз и нет, хозяйка. Уж не обесудьте, чего нет, того нет...»

Первый раз это рассмешило, и мы повторяем игру, чтобы поддержать бодрость, чтобы скрывать друг от друга утреннее отчаяние.

Иногда между подъемом и выводом на оправку проходит больше часа. Но мы должны быть готовы с самого начала, чтобы, как только откроется наша дверь, схватить парашу и идти в уборную. Время ожидания надо как-то убить. Иногда удастся задремать, сидя на прикованной к стене табуретке, иногда, загораживая друг друга от глазка, делаем подпольную физзарядку, то есть разминаем затекшие от жесткой железной койки руки и ноги.

По характеру шорохов в коридоре, по шагам и даже по дыханию мы узнаем, кто из надзирателей в коридоре. От этого многое зависит. При Святом Георгии, например, можно делать гимна-

стику почти открыто. Он сделает вид, что не замечает. У Пышки можно попросить вне очереди иголку и заняться штопкой чулок. А вот если в коридоре Вурм — держи ухо востро! Попробуй-ка при нем хоть руки поднять кверху! Сейчас же откроет дверную форточку и проквакает жабым голосом:

— Прекратить! Тут вам не институт физкультуры!

А если Сатрапюк . . . Ну, тот ничего не скажет, но составит акт о нарушении режима — и готово: лишение прогулки, библиотеки, ларька . . .

Выход в уборную приносит нам некоторые политические новости и расширяет наш политический кругозор. Кусочки газетной бумаги, выдаваемой нам по листочку вместо туалетной, могут оказаться страшно интересными. Сами мы получаем только ярославскую газету «Северный рабочий». А в уборной нам нередко попадают кусочки «Правды» и «Известий». Мы штудируем их со всех концов, делаем из обрывков предложений разные умозаключения.

Вернувшись с оправки, мы умываемся над парашей, поливая друг друга, и завтракаем кипятком и хлебом. Юля оставляет один кусочек сахара на ужин. Я съедаю оба куса утром, каждый раз однообразно аргументируя: «А вдруг умрем до вечера. Пропадет тогда . . .»

Потом начинается «рабочий день». Мы читаем и пишем. Пишем и читаем. Увы, мы нередко читаем все одни и те же книги, так как библиотека то и дело «ремонтируется» и «инвентаризируется». А пишем мы только для того, чтобы тут же стереть написанное. Ведь две тетради, которые нам разрешено исписывать за месяц, должны каждое тридцатое число сдаваться в тюремную цензуру, притом без возврата. Я пишу стихи. Массу стихов. Пишу, заучиваю наизусть и стираю написанное хлебным мякишем. Кроме того, я пишу повесть о советской школе первых послереволюционных лет, о школе, в которой я училась. Мой единственный критик, читатель и ценитель — Юля — очень одобряет.

После каждой прочитанной главы мы предаемся сладостным воспоминаниям детства. Ведь оно у нас было такое, какого ни у кого ни до нас, ни после нас не было. Революционное детство. Даже плакат с огромной вошью, призывающий к борьбе с тифом, кажется нам теперь овеванным высокой поэзией.

А первое ученическое самоуправление! А первая демонстрация, когда мы шли с мокрыми ногами, в рваных башмаках, но несли сочиненный нами самими лозунг — «Школа труда и радости приветствует Советскую власть!».

Одно плохо: мы недостаточно активно жили. Если бы знать, что всей нашей жизни только и будет, что тридцать лет, так

разве так надо было работать! Тогда успели бы хоть что-то после себя оставить. Да и детей надо было родить не двух, а минимум пятерых, чтобы побольше, побольше от меня следа осталось на моей дорогой земле. Ах, как безошибочно стали бы мы жить сейчас, если бы удалось начать все сначала!

Обед. Если мамалыга — кукурузная каша — это хорошо. К овсу и перловой шрапнели я почти не притрагиваюсь. Я стала уже тоньше, чем была в пятнадцать лет.

Прогулка. Распахивается дверь. Зловоние параши смешивается с парфюмерными запахами, струящимися от надзирателя. Их обязательно душат здесь, чтобы компенсировать то зловоние, в котором они работают.

Одетые в фантастические по уродливости бушлаты, мы старательно мечемся по пятнадцатиметровому прогулочному дворику, стараясь исподтишка смотреть на небо. Открыто смотреть запрещено. Голова во время прогулки должна быть опущена.

Потом питаем, читаем, пишем, решаем задачи по алгебре и подводим итоги своей жизни в бесконечных разговорах.

Ужин. Изюм дня в день в один и тот же час коридор наполняется оглушительным запахом вареного рыбьего жира. Меня тошнит не только от вкуса этого супа, но даже от этого запаха. Питаюсь в основном хлебом и кипятком. Юля говорит, что из довольно объемистой брюнетки я превратилась в тоненькую шатенку, потому что от постоянной темноты, в которой мы живем, мои волосы посветлели. Не знаю. Сама я уже второй год не вижу своего отражения в зеркале или хотя бы в стекле, в воде.

Отбой. Снова лязгнула дверная форточка — пасть дракона. Отбой — это хорошо. Это почти счастье. Можно лечь, вытянуться в длину. Можно заснуть лежа, а не скрючившись на табуретке. Это семичасовой отпуск в nirvanу, в блаженство небытия. Вместо «спокойной ночи» я говорю Юле из Некрасова: «Уснуть . . . А добрый сон пришел, и узник стал царем».

Так шли дни. Но это было обманчивое однообразие. Оно было пронизано постоянным ожиданием новых необычайных происшествий. И они действительно происходили. Временами застоявшуюся тишину коридора прорезывали стуки, стоны, удары, чьи-то задохнувшиеся в прерванном вопле голоса. Ведь не только нас тащили в карцер. Некоторые, наверно, сопротивляются. А может быть, не только карцер . . .

Разнообразие в жизнь вносили также обыски и баня. Баня была тоже одиночная. Душ-клетка, в которой мы едва помещались вдвоем, приносил огромное удовольствие. Что же касается обысков, то они требовали с нашей стороны большого напряжения ума, находчивости, быстроты движений.

Казалось бы, что можно найти в камере людей, ничего ни-

откуда не получающих, не выходящих никуда, кроме тюремного дворика? И что им прятать, таким людям?

Но нет, нам было что прятать. Лифчики, которые были запрещены, иголки из рыбьих костей, вытащенных из вечернего супа, наконец лекарства, полученные от медсестры, время от времени обходившей камеры. Лекарства, по правилам, полагалось глотать только в присутствии сестры и надзирателя. А нам хотелось иметь кое-что на случай, скажем, приступа малярии, которая нас терзала. И мы делали вид, что глотаем порошки при сестре, а сами прятали порошки хинина и аспирина за лифчиком, чтобы принять их тогда, когда потребуется.

Все эти незаконные вещи мы с акробатической ловкостью спасали при обысках, пользуясь тем, что камеру обыскивали надзиратели-мужчины, а так называемый личный обыск проводили женщины.

Мужчины врываются в камеру как лавина. Неожиданность обыска, видимо по их инструкциям, была особенно важна. Они ворошили соломенные тюфяки и подушки, скрупулезно исследовали каждый миллиметр пола и стен. В это время мы держали все запретные вещи на себе — в чулках или за лифчиками.

Наиболее ответственным был момент, когда мужчины уходили и входили женщины. В этот миг надо было успеть переложить все криминальное под тюфяки, так как женщины вещей уже не трогали. Их задачей было обшарить нас самих, заставляя раскрывать рты, расчесывать волосы, раздвигать пальцы рук и ног и т. д.

... За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой одностомник Маяковского. По-новому мы прочли теперь его ранние, тюремные стихи. О бутырской камере и о солнечном зайчике. «А я за стенного, за желтого зайца отдал тогда бы все на свете».

Чего захотел! Солнечного зайца! Нам такие мысли и в голову не приходят. Хоть бы чуточку дневного света. Хоть бы не так ломило переносье и надбровье, когда читаешь в этих вечных сумерках!

Несколько недель мы живем только Маяковским, и я сочиняю ему стихи, стилизованные «под него». Там есть такие строфы:

*... Владимир Владимыч! Вы очень умели  
Найти основное в любом важном деле...  
Вам, думаю, ясно? Нам здесь не приснится,  
Что есть где-то в мире цветочная Ницца...*

Долгими вечерами толкуем о той елейной тракторке Маяковского, которую мы еще успели застать на воле, которая теперь в моде. И я пишу, а потом стираю хлебным мякишем:



*... Маяковский, слушайте, наш милый!  
Будем живы, так, не поленясь,  
Мы отмоем дочиста и с мылом  
Эту рассусаленную грязь.*

*Вы ж тогда, встряхнувшись торопливо,  
Растолкав плечами облака,  
Двадцатидвухлетний и красивый,  
Снова зашагаете в века...*

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

### ГЛОТОК КИСЛОРОДА

Однажды мы с тревогой услышали в неурочный час повторяющиеся ритмические железные звуки. Камеры отпирались и запирались одна за другой. Что-то опять происходило.

Настроение в этот день и без того было беспокойным. Незадолго до этого мы целый месяц сидели без газеты. Нас лишили права выписки за какое-то воображаемое нарушение режима. Кажется, что-то вроде «громкого разговора в камере». Сатрапюк и его присные особой изобретательностью не отличались. Получив после месячного перерыва газету «Северный рабочий», мы сразу натолкнулись на процесс Бухарина — Рыкова. Вот когда только он начался! А в Бутырках думали, что он уже давно прошел...

Опять исступленные речи Вышинского и таинственные «покаяния» подсудимых. Весь день ломаем голову над поведением подсудимых. Неужели так испугались смерти? Ну, пусть сто раз во всем они неправы, но ведь все-таки это крупные политические деятели. Почему они при царизме не были такими трусливыми? Может, они не в себе, как говорится? Но тогда они вели бы себя, как Ван дер Люббе в Лейпциге: сидели бы и тупо молчали, временами вскрикивая: «нет, нет!» А эти произносят длинные речи, хорошо стилизованные «под Бухарина» и других? А может, это не они? Загримированные под них актеры? Ведь играет же Геловани Сталина так, что не отличишь.

Кроме того, в эти дни мы были подавлены известием о смерти Крупской. Оно просто потрясло нас. Мы смотрим на маленький снимок, помещенный ярославской газетой, и плачем горькими слезами. Кажется, впервые плачем за все ярославское время. Некролог очень сдержанный, скупой. «Хозяин» ведь не любил ее. Вспоминаем анекдот: «Если вы будете дурить, мы другую женщину сделаем вдовой Ленина».

И опять смотрим в добрые выпуклые глаза, смотрим на учительский воротничок, на гладкие седые пряди волос. Все, все в ее облике родное, близкое, понятное. И мы воспринимаем ее

смерть как последний акт трагедии: последние честные, благородные, такие, как Крупская, уходят, умирают, уничтожаются.

И опять те же сверлящие вопросы: остались ли еще на воле такие, как Крупская? Понимают ли они, что творится? Почему молчат?

— Такие, как Постышев, например? Ну почему он не выступает?

Юля знала Постышева лично и считала его идеальным ленинцем. О том, что Постышев разделит судьбу многих, мы тогда еще не знали.

— Ну как он может выступить? И что это даст? Только будет столько-то тысяч жертв плюс еще Постышев. В условиях такого террора . . . Не потому, что они жалеют себя, а просто нецелесообразно. Пусть хоть такие, как он, сохранятся до лучших времен . . .

Вот в таком настроении мы и уловили, вдобавок ко всему, эти непонятные ритмические звуки. Ну вот . . . Дошло до нас . . .

Корпусной, — не «малолетний Витушишников», употребляемый для разноски писем, вызовов к зубному и других гуманных процедур, — а другой — Борзой, высокий, поджарый и бесстрастный, входит в камеру с табуреткой в руках. Он подставляет ее к окну. Потом что-то колдует над форточкой и . . . хлоп! Он запирает ее наглухо большим железным ключом.

Мы ошеломлены. Настолько, что даже задаем ему вопрос, хотя отлично знаем, что в этих стенах на вопросы не отвечают и задавать их бессмысленно:

— Зачем?

Какая глупость с нашей стороны! Как будто неясно зачем! Чтобы скорее умирали без воздуха. Чтобы было еще больше плесени на стенах, чтобы от сырости еще больше крутило суставы.

Это, конечно, в порядке отклика на процесс Бухарина. Система «откликов» нам ведь была известна. Еще Ильф и Петров сочинили для геркулесовцев каучуковую резолюцию, начинавшуюся словами: «В ответ на . . .» Поверх многоточий вставлялось, скажем, «на происки Антанты» или «на производственную инициативу коммунальщиков» . . . Ну, а это «в ответ на процесс правых». Как, однако, напряженно работает чья-то изобретательская мысль!

Корпусной Борзой, запирая нас, роняет сквозь зубы:

— Будет открываться на 10 минут ежедневно.

Вот когда мы познали вкус воздуха! Одного крошечного глотка кислорода. Порядок установлен такой, что форточка открывается во время нашего вывода на прогулку. Но если дежурит

Ярославский или Святой Георгий, то они открывают не в момент вывода, а после предупреждения: «Приготовьтесь на прогулку». И благодаря этим хорошим людям, попавшим на такую работу, перепадают лишние пять минуточек. Мы взахлеб ловим крошечные струйки воздуха, идущие от небольшой квадратной форточки, до которой не достает без табуретки даже длиннущий Борзой. Дни и ночи, проведенные в этой камере при постоянно открытой форточке, кажутся нам теперь каким-то курортом.

Через несколько дней нового кислородного режима сырость в нашей камере, выходящей на северную сторону и никогда не выдавшей ни одного лученышка, становится просто невыносимой. Хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели. Белье всегда влажное. Все суставы болят, точно в них вгрызается кто-то.

Во сне ко мне теперь то и дело приходит назойливое видение. Как будто я сижу на дачной терраске, на берегу Волги, в Услоне, против Казани. И парусина, которой задрапирована терраса, вздувается, как парус, от порывов свежего волжского ветра. Я дышу полной грудью, но почему-то не чувствую облегчения. Сердце колет.

— Подъем! — лязгает железное чудовище.

Открываю глаза и первым делом вижу закрытую на ключ форточку. Любопытные длинноносые вороны, сидящие на щите, заглядывают в нее, свесив головы набок.

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

### ПОЖАР В ТЮРЬМЕ

— Что это ты раскашлялась? — спросила меня Юля.

— А ты?

— Ну, у меня-то плеврит . . .

Я уже давно поняла, что едкая, вызывающая кашель щекотка в горле связана с запахом гари, все более отчетливо проникающим в камеру. Поняла, но молчу. Юлька и так после карцера совсем серая стала, землистая. Что ее зря пугать! Еще может быть случайность. Что-нибудь пригорело на кухне? Впрочем, нет. В этом корпусе кухни, кажется, нет! Еду привозят на тележках откуда-то извне.

Мы кашляем все чаще, но продолжаем читать. Однако и читать становится труднее. Глаза слезятся и застилаются туманом. Потом мы слышим топот многих ног над головой. Бегут по крыше. Шипящие звуки воды, струящейся из шлангов. По коридору тоже бегут. Даже переговариваются громким шепотом.

И наконец — тоненький стук в стенку. Это Оля Орловская, соседка. Она выстукивает то самое слово, которое мы с Юлей не решаемся сказать друг другу.

— По-жар . . . П-о-ж-а-р . . .

— Должен вывести, — говорю я, отвечая на молчаливый вопрос, так и прыгающий из округлившихся Юлькиных глаз. — Удушье заключенных в камерах вроде не входит в их планы. По крайней мере, одновременное.

Через несколько минут камера наполнена едким черным дымом настолько, что становится почти невозможно дышать.

— Я позвоню! — решает Юля. — Пусть хоть форточку откуют, сволочи!

И она надавливает кнопку безмолвного звонка, которым разрешается пользоваться только в самых исключительных случаях. Когда надавливаешь эту кнопку, в коридоре, у столика дежурного, зажигается номер камеры.

Через некоторое время отрывисто лязгает дверная форточка и в нее просовывается тонкогубая прыщавая физиономия Вурма.

— Чего вам? — злобным шепотом спрашивает он.

— Хоть форточку откройте . . . Ведь задыхаемся, — просит Юля.

Он стремительно захлопывает железное оконце, едва не угодив Юлке в лицо. Уже из-за закрытой дверки доносится его свистящий ответ:

— Откроют, если надо будет.

Паника вокруг нас усиливается. Топот солдатских сапог по крыше становится громче. Из коридора доносятся теперь уже не только шепоты, но и какие-то неопределенные выкрики. И главное — нарушилась могильная тишина камер. Некоторые заключенные, очевидно отчаявшись дозваться кого-нибудь при помощи безмолвных звонков, начали стучать в двери.

Ольга Орловская выстукивает нам почти открыто. Сейчас надзирателям не до подслушивания. Считываем со стены:

— Похоже . . . они решили . . . оставить в камерах . . . Задохнемся . . .

— Полкило сахара! — всплескивает вдруг руками Юля.

Накануне был ларек, и нам принесли по выписке полкило сахара.

— Нет, это нелегально, чтобы им достался, — без тени шутовства говорит Юля.

— Давай съедем . . .

— Давай!

И мы стали есть его пригоршнями, не ощущая приторности, наоборот, воспринимая его как пищу богов. С краюхой хлеба. Откусывая поочередно то хлеб, то сахар. Хрустя зубами с ожесто-

чением. Отрываясь, чтобы откашляться от дыма. Чтобы им не досталась наша драгоценность. Целых полкило.

Дым стал настолько густым и плотным, что мы уже не видим друг друга.

— Давай сядем рядом, Женька, — говорит Юля и плачет. — Давай простимся.

Мы обнимаемся и целуемся. Потом в нарушение всех правил — терять уже нечего — усаживаемся рядом на Юлину койку. С ногами . . . Обнимаем друг друга за плечи. Я с ужасом вижу, что Юлины кругловатые, немного несимметричные глаза становятся какими-то выпуклыми. Лицо ее синее и жилы надуваются, как канаты. Господи, только бы она не умерла первая . . .

Теперь уже вся тюрьма гудит от криков и стуков заключенных.

— Откройте, откройте! Задыхаемся! Не имеете права! Откройте!

В глазах у меня прыгают разноцветные искры. Не могу понять, настоящие ли это искры пожара, просочившиеся через дверные щели, или это на меня надвигается потеря сознания.

И вдруг я различаю в какофонии звуков, несущихся из коридора, ритмические повороты ключей в замках камерных дверей. Я трясю Юлю за плечи.

— Выпускают! Юля, покрепись еще немного! Слышишь? Нас выпустят сейчас на воздух . . .

Дым становится черным. Юля уже хрипит на моих руках. Может быть, выбить форточку? Ведь теперь уже все равно. Хочу привстать с постели и . . . не могу. Видно, конец. Какой страшный и неожиданный. Сколько вариантов смерти перебрали за это время в камерных разговорах. Но от пожара . . .

— Выходь!

Наша дверь распаивается настезь. Надзиратель Вурм, в смятой и мокрой гимнастерке, весь потный и запыхавшийся, чуть ли не за шиворот выволакивает ослабевшую Юлю. Я выхожу сама.

— Вниз!

Нет, они были действительно виртуозами своего дела, этот Коршунидзе и его молодчики. Даже в этой панике они умудрились не нарушить изоляции. Куда они дели всех, мне до сих пор непонятно. Но факт остается фактом: мы с Юлей были выведены вдвоем в закрытый прогулочный дворик. Ни с кем нас не свели, никого мы не увидели.

Но не бывает бы счастьем, да несчастье помогло. В этот день мы надышались вволю. Прогулка длилась не меньше полутора часов, и оправившаяся Юлька заговорщицки подмигивала мне,

показывая глазами на небо. Дескать, здорово мы оторвали у них такую прогулочку!

На следующий день Ольга простучала нам, что ее тоже не соединили ни с кем.

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

### ВТОРОЙ КАРЦЕР

В конце мая 1938 года я получила письмо от мамы. «Дорогая Женечка! Папа скончался 31 мая . . . Жил человек . . . Имел специальность, работал. Детей имел, внуков . . . А за гробом шли двое: я да прачка Клавдя».

А ровно через полчаса после этого письма снова открылась дверь и появился все тот же Сатрапюк. И снова:

— Следуйте за мной!

Даже смерть, наверно, была бы не так страшна, если бы она повторялась дважды. Теперь я шла все вниз и вниз, уже определенно зная, куда иду, и не было во мне того, декабрьского ужаса. Наоборот, какое-то совершенно мертвенное равнодушие. В таком состоянии было бы, наверно, не так уж трудно и к стенке встать, и принять в себя пули.

Да, тот же самый карцер. Та же хламида и лапти, те же две доски, на вершок от каменного пола, вместо ложа, та же тьма кромешная. Но я уже не боюсь, не кричу, не сопротивляюсь. Почти равнодушно выслушиваю Сатрапюка, зачитывающего приказ: «Трое суток нижнего карцера за нарушение тюремного режима — пение в камере». Я даже не говорю ему, что никогда никто не пел. Зачем?

Дверь захлопнута. Я одна в этой тьме. Одна со смертью папы.

Сейчас лето. Об этом можно догадаться хотя бы по тому, что кроме крыс здесь развелось страшно много всякой ползучей нечисти: каких-то жучков, мокриц, сороконожек.

Теперь я уже опытная обитательница карцера, квалифицированная. Я умею следить за течением времени. Я приспособилась к лежанию на двух досках. Только есть здесь я все равно не буду.

Это хороший признак. Брезгливость осталась. Человеческое чувство. Я еще не знала тогда, что впереди меня ждали годы лагеря, когда периодически и это человеческое чувство покидало нас, когда мы ели в любой грязи, чтобы не умереть с голоду.

Ощупью различаю в темноте знакомый во всех деталях карцерный реквизит: и хламиду из солдатского сукна, и лапти, и зажавленную металлическую кружку, стоящую прямо на полу. Но

почему-то сейчас в моей опустошенной душе нет того монументально-трагического восприятия всех этих деталей, которое было тогда, зимой. Сейчас мне не хочется ни кричать, ни биться. Наверно потому, что это второй раз. Привычка. Вот так, наверно, там, в Германии, привыкли и к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь... Ловлю себя на мысли: хорошо, что трое суток, а не пять.

Хорошо еще и то, что это только «нижний» карцер, учреждение второго сорта. За эти месяцы я узнала, что их здесь три категории. Ольге сообщила это ее другая соседка. Оказывается, были карцеры третьего сорта, более легкие, чем мой, где горела лампочка, не отнималась камерная одежда. Но зато был и первый сорт, откуда выходили уже обреченными на скорый конец. К счастью, «первого сорта» испытать мне не довелось. А назначались они по сортам не в зависимости от тяжести «нарушения», а только в зависимости от цвета полос на обложке личного дела. Мы с Юлей принадлежали ко второсортным.

Эти трое суток я провожу преимущественно стоя. Приспособилась стоять на досках, подальше от камня, покрытого каким-то скользким сизым инеем и предназначенным заменять изголовье. Стою часами, до изнеможения, а окончательно потеряв силы, погружаюсь в короткий душный сон.

Просыпаюсь обычно от боли и зуда в отмороженных пальцах ног. Эта боль напоминает обо всем. Да, это все еще я. Это все еще тянется.

Я снова становлюсь на доски, и передо мной встает папа. Живой. Мертвого не могу себе представить. Как, в сущности, мало я знала этого человека, давшего мне жизнь. И в то же время, какая неразрывная кровная связь. Все внутри сжалось в комок сплошной боли. Отец... Мой, мой отец... Это умерла какая-то частица меня. Как хорошо, что я еще не знала тогда, при каких обстоятельствах он умер. Об этом мне написали только через несколько лет, уже на Колыму. Я не знала, что моих стариков тоже «забирали». Ненадолго, правда, на два месяца. Но их оказалось достаточно, чтобы убить отца. Когда они вышли из тюрьмы, их квартира была занята другими, вещи конфискованы. Они бродили в поисках ночлега по этому городу, где отец был честным и уважаемым работником-специалистом, где работали его дочь и зять — коммунисты. Все шарахались от стариков. Никто не пустил их ночевать. Только прачка Клавдия оказалась добрее всех.

Все это случилось с ними, пока я была в Бутырках. Но узнала-то я об этом только через три года.

... Я думаю об отце, и по стенам моего застенка начинают плыть нежные картины раннего детства. Цепочка от часов на папином жилете. Ее так интересно теребить, сидя у отца на коле-

нях... Какие-то смешные греческие слова, которым он учил меня на прогулке, рассказывая про свои гимназические годы... Он ведь родился в прошлом веке, он еще учил в гимназии не только латынь, но и греческий... Не было ближе и роднее его до моих восьми лет. Потом долгие годы отчуждения, взаимных болей, бед, обид. Мне не нравилось «социальное происхождение», завидовала подругам, у которых был «папа от станка». Ему не нравилось многое в моей жизни и поведении.

И вдруг по стене плывут буквы из его последнего письма, полученного здесь, в Ярославле: «Не скрою от тебя, что за последнее время я чувствую себя неважно. Но буду бороться за жизнь. Она теперь нужна моим дорогим внукам — Алеше и Васе».

Для моих детей хотел жить... А я уже никогда не смогу теперь попросить у него прощения.

Скорее бы устать от стояния и снова на какое-то время погрузиться в полудремоту, заменяющую сон. Так быстрее пройдут трое суток.

Я опять, как и зимой, не беру хлеба. Но на этот раз Коршунидзе не приходит объяснять мне, что голодовки запрещены. Видно, и они ко всему привыкли. А может быть, им как раз это и нужно — добиться спокойного, без скандалов, отсидивания положенных сроков карцера. А без еды легче попадаешь в это спокойствие полубоморочного изнурения.

Зимой, сидя здесь, я все думала о внешнем мире. Знают ли там об этих застенках? Пытках?

А сейчас я почти не верю в реальность этого внешнего мира. Почти невозможно поверить, например, что сейчас лето и кто-нибудь вот в этот самый момент купается в реке. Потом я сочиняю стихи — о втором карцере.

*Все по святым инквизиторским правилам:*

*Голые ноги на камне под инеем...*

*Я обвиняюсь в сношениях с дьяволом?*

*Или в борьбе с генеральной линией?*

*Тысячелетья, смыкаясь, сплавляются*

*В этом застенке, отделанном заново.*

*Может быть, рядом со мной задыхается*

*В смертной истоме княжна Тараканова?*

*Может быть, завтра из двери вдруг выглянет,*

*Сунув мне кружку с водкой заржавленной,*

*Тот, кто когда-то пытал Уленшпигеля,*

*Или сам Борджа с бокалом отравленным?*

*Это гораздо, гораздо возможнее,*

*Чем вдруг поверить вот в этом подвале,*

*Будто бы там, за стеною острожною,*

*Люди зовут человека товарищем...*



*Будто бы в небе, скользя меж туманами,  
Звезды несутся, сплетясь хороводами,  
Будто бы запахи веют медвяные  
Над опочившими, сонными водами.*

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

### МЫ ВСПОМИНАЕМ ДЖОРДАНО БРУНО

Зной. Страшный зной стоял в Ярославле летом 1938 года. Газета «Северный рабочий» ежедневно подтверждала это. Местные журналисты красочно описывали плавящийся асфальт, приводили цифры средней температуры за последние годы, доказывая, что «такого еще не было».

Форточка нашей камеры продолжала оставаться закрытой. Все вещи от сырости, от плесени, от застоявшегося воздуха стали волглыми. Солома в подушках и тюфяках прела, начинала гнить.

После второго карцера мы совсем расхворались. Хлеб и баланда не лезли в горло. Я уже трижды просила у дежурного надзирателя иголку, чтобы перешить крючки на моей казенной юбке. Вглядываюсь в Юлино лицо, иссиня-черное, с желтыми подглазницами, и догадываюсь, что мы стремительно идем к концу. В довершение всех бед у меня возобновились приступы малярии. Они, видно, провоцировались удушливой сыростью камеры. После приступов сердце совсем отказывалось работать.

Однажды я потеряла сознание. Юля нажала беззвучный звонок и потребовала врача. Должно быть, я была в этот момент здорово похожа на покойницу, так как дежурный — хоть это и был Вурм — не сказав ни слова, тут же привел врача.

Это был первый случай нашего столкновения с ярославской тюремной медициной, если не считать регулярных обходов медсестры с ящичком лекарств. Сестра давала аспирин «от головы», хинин — от малярии, салол — «от живота». Универсальная вальерьянка шла от всех остальных болезней.

Придя в себя, я увидела склонившееся ко мне лицо доктора. Оно поразило меня своей человечностью. Настоящее докторское лицо, внимательное, доброе, умное. Оно как бы возвращало к оставленной за стенами тюрьмы жизни, сверлило сердце сотней смертельно ранящих воспоминаний.

За круглые, мягкие черты, за добродушие, струившееся из каждой морщинки, мы потом прозвали этого тюремного доктора Андрушенцкой. Казалось, что именно так должны были его называть однокурсники.

— Ну вот, — смущенно буркнул доктор, вытаскивая шприц из моей худой как палка руки. — Сейчас камфара сделает свое

дело, и вам станет хорошо. Будет ходить сестра и дважды в день вводить сердечное.

— Да разве здесь лекарства помогут! — осмелела вдруг Юля, смертельно испуганная перспективой остаться без меня. — Мне кажется, доктор, у нее просто кислородное голодание. Тем более, на дворе такая жара. Может быть, вы дадите распоряжение, чтобы у нас не закрывали форточку, раз такая тяжелая больная?

По лицу Андриюшенции медленно разливается кирпичный румянец. Он слегка косится на стоящего у него за спиной корпусного — «малолетнего Витушишникова» (без сопровождения корпусного врач в камеру не допускается) и отвечает очень тихо:

— Это вне моей компетенции . . .

Витушишников откашливается и солидно резюмирует:

— Говорить разрешается только про болезнь.

Потом тянутся томительные дни, когда едва теплящаяся во мне жизнь поддерживается только неистребимым любопытством. Увидеть конец. В том числе и собственный конец.

*Бейся, мой шторм, кружись,  
Сыпь леденящей дрожью!  
Хоть досмотрю свою жизнь,  
Если дожить невозможно . . .*

Однако, несмотря на такое оптимистическое четверостишие, я наблюдаю у себя опасные симптомы. Вот, например, я уже несколько раз отказывалась от прогулки. А когда потрясенная этим Юля начинала страстным шепотом уговаривать меня «не терять последних капель кислорода», я устало отвечала:

— Не смогу обратно на третий этаж подняться . . .

Да и метаться по пятнадцатиметровой прогулочной камере тоже не так просто, когда сердце отказывается компенсировать движения.

Шутить тоже становится с каждым днем все труднее. Но временами мы все же пытаемся прибегать к этому испытанному лекарству от всех болезней. Излюбленная шутка-рассказ о неисправимом оптимисте. «Ну раз могила братская, то это уже хорошо». А когда дышать в камере становится особенно трудно, к «братской могиле» добавляется еще:

— А ты подумай-ка про Джордано Бруно. Ведь ему было много хуже. У него-то ведь камера была свинцовая.

После ухода врача мы долго спорим, как расценивать его работу в тюрьме.

— Пари держу: всю ночь сегодня будет во сне тебя видеть. Он ведь добряк, этот Андриюшенция!

— Несомненно! Но тем позорнее для него быть на такой должности.

— А что лучше было бы, что ли, если бы на его месте какой-нибудь Сатрапюк с дипломом?

И Юля оказывается права. Через два дня Андриюшенция наглядно демонстрирует нам свою полезность.

— На прогулку приготовьтесь!

— Не пойду. Не могу ходить.

— Идите. Вам табуретку там поставили. Сидеть будете 15 минут на воздухе. По распоряжению врача.

И совсем уже теплое чувство возникает к Андриюшенции, когда надзирательница Пышка, открывая огромным — просто бутафорским каким-то — ключом нашу форточку, ободряюще прошептала:

— Вам не десять, а двадцать минут проветривания. По распоряжению врача.

И хотя раскаленный воздух в квадратной форточке стоит неподвижно, мы все же радостно переглядываемся.

— Вот видишь! А ведь у Джордано Бруно камера была свинцовая . . .

#### ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

### КОНЕЦ КАРЛИКА-ЧУДОВИЩА

Весь период с лета 1938-го до весны 1939-го можно озаглавить фиagnerовским «Когда часы остановились». Может быть, это острые физические страдания — постоянное удушье, мучительная борьба организма за полноценный вдох и выдох — затанули все это время какой-то паутиной. Но только оно вспоминается мне сейчас в виде сплошной черной ленты, как бы непрерывно струящейся и в то же время застывшей в неподвижности.

Часы наших жизней остановились, и их не могли пустить в ход те бледные отсветы далекого чужого бытия, которые приносил нам ежедневно «Северный рабочий», не ахти какой грамотный, очень развязный и в то же время нестерпимо скучный листок. Мы, правда, по инерции хватали его все с той же жадностью, мы все так же вычитывали эту газету куда тщательней, чем ее корректоры. Но все, что она сообщала, уже воспринималось нами как не вполне реальное.

Бои в Испании. Мюнхен. Гитлер в Чехословакии. Подготовка к восемнадцатому партсъезду. Не во сне ли все это? Разве на свете еще кто-то борется? Разве не всех так сломили, как нас? . . . С каждым днем росло это опасное, предвещавшее близкий конец чувство полной отрешенности от всего живого.

Казалось, мы даже внутренне разучились протестовать и ненавидеть. Я с удивлением вспоминала, как в декабре 1937-го,

когда меня впервые посадили в нижний карцер, я колотила кулаками Сатрапюка. Такой душевный и физический взрыв казался теперь абсолютно невозможным.

В канун нового, тридцать девятого года, незаметно подкравшегося к нам, я, правда опять по просьбе Юли, сочинила для нее поздравительные стихи, но это уже не было наивно-оптимистическое «На будущий — в Ерусалиме». Теперь я выражала опасение . . .

*... Чтоб горечь, осев у глаз,  
Как плесень на дне колодца,  
Не раз учила бы нас  
Мечтать, пламенеть, бороться.  
Чтоб в этих сырых стенах,  
Где нам обломали крылья,  
Не свыклись мы, постовав,  
С инерцией бессилья.  
Чтоб в дебрях тюремных лет,  
Сквозь весь одиночный ужас,  
Мы не позабыли свет  
Созвездий, соцветий, содружеств . . .  
Чтоб в некий весенний день  
Возможного все же возврата  
Нас вдруг не убила сирень  
Струей своего аромата.*

Последнее четверостишие было попыткой самовнушения. Идею о «возможном все же возврате» надо было поддерживать в себе любой ценой. На самом же деле надежды почти иссякли, и прежде всего потому, что мы очень быстро слабели физически. Буквально каждый день уносил остатки сил.

— Женька! Открой глаза! Слышишь, открой сейчас же . . . Или хоть рукой пошевели.

Юля тормозит меня, и я, вяло улыбаясь, отвечаю:

— Знаю, знаю, что похожа на покойницу. Жива, не бойся . . . Ты и сама-то ведь не краше.

Да, скулы у Юли обтянулись и стали острыми. Вокруг глаз — мертвенные тени. Хорошо, что уже больше двух лет мы не видели своего отражения в зеркале. Но можно себе представить самое себя и свое неуклонное приближение к концу, глядя в лицо товарища по несчастью.

Аппетит совсем пропал. Мы каждое утро выносим почти весь свой хлеб и складываем его в ящик для отходов, стоящий в конце коридора. Иногда кажется, что только два кусочка утреннего сахара еще кое-как и поддерживают наше призрачное существование.

В марте у нас опять взыскание: лишили на месяц права на выписку газеты. За какой-то «след ногтя» на библиотечной книге.

Видимо, в карцер в таком состоянии тащить нас не решались, а план по внутритюремным репрессиям надо же было выполнять.

И вот в довершение ко всему мы еще и без газеты. Порвана последняя нить, связывавшая нас с миром живых. Теперь только и осталась, что робкий ручеек Ольгиного стука, который нет-нет да и заструится по багровой стене.

— Открыл-ся парт-съезд . . .

Я не ленюсь выстукать в ответ мрачную остроту:

— Съезд уцелевших, да?

— Говорят перегрибах . . . будут реабилитировать . . .

Юля сразу загорается радужными надеждами.

— Слышишь, Женька? Реабилитировать будут! Наконец-то!

Ну, иначе и быть не могло . . .

Но я ведь «Пессимистенко» — в противоположность Юле — «Оптимистенко». И я не верю, что реабилитации будут массовыми, что они будут менее случайными, чем аресты. Я слишком хорошо поняла за два с лишним года особенности сталинского стиля. Не надеюсь я и на то, что мне лично может достаться счастливый номерок в начинающейся малой лотерее.

И вдруг . . .

Чувствую, что повествование мое становится однообразным. Уже который раз прибегаю к этому «вдруг». Но ничего. Эта угловатая форма передает суть. Ведь именно так оно и было. В сырость, плесень, застой нашего склепа время от времени ВДРУГ врывались тюремщики, и мы еще раз должны были понять, что кое-чем мы все же отличаемся от обыкновенных, совсем мертвых покойников. Нас можно мучить еще и еще. Физически и морально. Изощренно и грубо. Ночью и днем. Вместе и поодиночке.

Так вот, вдруг снова — повторяющиеся звуки отпираемых и запираемых подряд замков. А это всегда знак какого-то нового мероприятия. И вот тот же Борзой, корпусной, что запирал форточки, входит к нам. На этот раз на его лице, очень похожем на морду постаревшей борзой собаки, какое-то странное выражение, которое можно было бы даже назвать тенью смущения, если бы заранее не было известно, что на такой должности трудно удержаться человеку, умеющему смущаться.

Не говоря ни слова, Борзой протягивает руку к правой стене и . . . Во сне или наяву мы это видим? Он снимает картонку с тюремными правилами — двадцать две заповеди майора Вайнштока. Снимает и, резко повернувшись на каблуках, блеснув ослепительными сапогами, выходит. И заповеди уносит с собой. Потом мы слышим, как поворачивается ключ в соседней, в Ольгиной камере.

На этот раз не возникает обычного спора между Оптимистенко и Пессимистенко. Сейчас мы обе твердо убеждены, что такой акт может наводить на самые пессимистические прогнозы. Усиление режима. Значит, заповеди сочтены слишком либеральными. Может, дошло до товарища Сталина, что, умирая, мы все-таки читаем книжки? Что нам дают два кусочка пиленого сахара в день? Да мало ли что?

Завтра, наверно, принесут новые заповеди, в которых будет отменено разрешение на выпуск газеты, на книги, на письма, на ларек. А может, и на прогулку. Мы долго соревнуемся с нашими начальниками в выдумывании того, что еще у нас можно отнять.

Или еще какие-нибудь новости в графе «Наказания»?

В этот день не приносит облегчения даже прогулка, тем более что и во время нее чувствуется что-то странное в лицах и поведении надзора.

Еще несколько унылых, тревожных часов. Наконец, движение в коридоре возобновляется. Снова появляется корпусной. На этот раз не Борзой, а «малолетний Витушишников». Он водружает картонку с заповедями на прежнее место и быстренько уходит. На его лице подобие улыбки и тоже с оттенком смущения.

Изучаем текст заповедей, не пропуская ни одной буковки. В чем же дело? Решительно ничего нового! Но вот . . .

— Что-о-о?

Мы, остолбенев, смотрит друг на друга, не веря глазам своим.

— Ущипни меня, Юлька! Не спим?

В левом углу картона ведь была резолюция: «Утверждаю. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов». Была ведь? Ну конечно была! А теперь? А теперь она заклеена белой бумажкой. Аккуратненько так подклеена бумажечка, не сразу и заметишь.

Мы проводим несколько часов, как в горячке. Неужели он пал, этот карлик-чудовище? Ведь его культ был за последние годы доведен до гомерических размеров. Иногда казалось, что он может даже конкурировать с культом Сталина. Официальный его титул был «любимец народа». Все, что проделывалось в тюрьмах и лагерях с миллионами невинных людей, обозначалось веселым фольклорным выражением «ежовы рукавицы». Переводчики среднеазиатских акынов в бесчисленных одах именовали его «батыр Ежов» . . . Так неужели? . . .

Мы не смыкаем глаз всю ночь, и теперь в наших обескровленных сердцах начинает действительно брезжить тень надежды на возможность перемен.

Утром Ольга, получающая газету, выстукивает нам:

— Снят . . . Кончен . . . Видимо, разделит нашу участь.

— Мавр сделал свое дело — мавр может идти, — ликуем мы.

Мы мечемся, как тигрицы по клетке, пока Ольга не выстукивает нам следующую сенсационную новость:

— Бе-рия... Бе-рия...

Я совсем заболела от волнения и разрядку нашла, опять-таки только заняв себя стихами. Написала «Посвящение «любимцу народа».

Карлик-чудище (он ведь был малюсенького росточка!)

*... Злодеи прошлого, потупя взоры вниз,  
Тебя поют в почтительном дисканте.  
Сам Тьер перед тобою гуманист,  
А Галифе — мечтатель и романтик.  
Но вот теперь, смотри: твои дела  
Тебя погубят мощной волей рока!  
Ты видишь, гад? Тарпейская скала  
От Капитолия совсем не так далёко!*

— Это подражание классикам, Юля! Теперь сочиню про Берия. Это будет в духе пушкинских эпиграмм. А кто он, вообще-то, этот Берия?

Но Юля тоже ничего о нем не знала. И я написала так:

*Скажи, о Берия,  
Открою ль двери я?  
Ответь мне, Берия,  
Верну ль потери я?  
Иль ты, о Берия,  
То снова серия  
Убийств, безверия  
И лицемерия?  
Открою ль двери я?  
Ответь же, Берия!*

С этого момента остановившиеся было часы наших жизней дрогнули и снова пошли. С перебоями, с хрипом, скрежетом, но все-таки вперед! Теперь было чего ждать!

Внешне все оставалось по-прежнему. Неукоснительное проведение режима, плесень на стенах, вонючий рыбный суп, параша... Но в самой атмосфере, в неуловимых деталях поведения надзора, в оттенках голоса корпусных чувствовалось приближение больших перемен.

А заповеди в ближайший месяц снимали и снова вешали еще дважды. В первый раз заклеили фамилию Вайншток и заменили ее фамилией Антонов. Во второй раз заклеили и Антонова, а на его месте написали: Главное тюремное управление.

— Так-то надежнее, — хохотали мы, — менять не придется.

И наш приглушенный смех звучал так оживленно, как уже не было с самого закрытия форточек.

Итак, в полном соответствии с марксистской теорией, собы-

тие со снятием правил, начавшееся как трагедия, повторилось еще дважды уже как фарс.

— Пусть теперь майор Вайншток попробует, каково живется по его заповедям, — высказалась как-то вечером Юля, и в ее добродушных глазах мелькнула острая искра.

Никак не могу заснуть . . . Представляю себе Ежова, Вайнштока, Антонова и многих других в нижнем карцере. Хотя нижний наш карцер — это ведь только второй сорт, а им, наверно, дадут попробовать первосортный. Вот уж где — «каким судом судите, таким и вас» . . .

Однажды, ветреным и тревожно зовущим майским днем мы, вернувшись с прогулки, заметили, что наша форточка продолжает оставаться открытой.

— Забыли?

— Пышка дежурит. Нарочно, наверно, оставила. Хорошая . . .

Но на завтра повторилось то же. Падение карлика-чудовища принесло нам возвращение нашего глотка кислорода. Подул либеральный ветерок весны и лета 1939 года. Газета «Северный рабочий» стала ежедневно печатать статьи, разоблачающие клеветников.

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

### ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

У нас улучшился аппетит. Мы стали съедать баланду. Возобновили давно прерванные занятия подпольной гимнастикой. Только читали теперь мало. Не хватало времени.

И день и ночь мы говорили, выкладывая друг другу свои предположения, догадки, мечты. Соотношение Оптимистенко—Пессимистенко в этих разговорах целиком сохранялось. Юля уверяла, что, по ее мнению, сейчас будут пересмотрены все дела. Нас или совсем освободят или, в худшем случае, отправят в так называемую вольную ссылку, где можно будет соединиться с мужьями.

— Если они не расстреляны, — добавлял Пессимистенко.

— Не такие уж они крупные работники были, чтоб их расстреливать, — парирует Оптимистенко.

Долгими часами Юля рисует картины новой счастливой жизни. Может быть, это будет на острове Диксон или на Игарке . . . И работать будем по специальности, увидишь . . .

— Преподавать?

— А почему бы и нет? Еще и в партии восстановят. Увидишь. Ведь Ежов-то разоблачен, а это все были его махинации.

Ольга выстукивала в стенку куда более реалистические предположения. Наверно, стало нерентабельно, тяжело для бюджета



содержать такие тысячи — а кто его знает, может и миллионы — людей без работы. А колоссальный штат охраны! А ведь большинство заключенных в самом рабочем возрасте — от 25 до 50. И отправят нас, наверно, не в ссылку, а в дальние лагеря, на тяжелые работы.

Ну что ж! И это отлично. Это почти счастье.

Лагеря! Ведь это значит — путешествие в новые края. Пусть суровые края, но ведь там воздух, ветер, а иногда даже и солнце, пусть холодное.

Потом люди! Сотни новых людей, рядом с которыми мы будем жить и работать. Среди них много будет хороших, интересных людей, и мы будем дружить. Да попросту говоря, лагерь — это жизнь! Ужасная, чудовищная, но все-таки жизнь, а не этот склеп. Подумать только — уже третью весну мы проводим как заживо погребенные.

Я читаю Юле строфу из нового стихотворения:

*Третья весна началась.  
Что ж! Если сердце не вытечет,  
Фигнер, выходит, сильнее в десять раз...  
А раньше казалось: в тысячи!*

Так мы старались преодолеть сжигающую нас душевную муку и тревогу разговорами и спорами о предстоящей нам судьбе.

Ощущение больших перемен чувствовалось и в поведении надзора. Впрочем, они, наверно, не только ощущали, но и просто знали о предстоящем этапе из тюрьмы. Наиболее жестокие, как Вурм, Сатрапюк, старались до последнего дня не ослаблять «дух Ярославля». Помню эпизод с цветком.

В конце весны, у входа в одну из прогулочных камер, пробили в трещинку между асфальтовыми плитами чахлый цветочек. Юлия заметила его первая, показала мне глазами. Я замедлила на минуту шаг, чтобы полюбоваться на невиданное чудо.

Все это длилось секунды. Но конвоировавший нас Вурм заметил, все понял и с ожесточением затоптал цветочек сапогом. Не удовлетворился и этим. Наклонился, поднял растоптанный, раздавленный стебель, смял в пальцах и отшвырнул в сторону.

Всю прогулку я глотала слезы. Не могла сдержаться.

— Это они перед концом, перед концом злобствуют, — утешал меня в камере мой верный Оптимистенко.

Первый, кто перевел наши полуфантастические предположения в реальную плоскость, был наш добрый ярославский гений, так называемый Ларешник. Он два раза в месяц выдавал бумажку, на которой типографским способом было напечатано: «Заказ-требуется от зэка... Имея на лицевом счету... рублей, прошу купить для меня...»

Даже после смерти отца мама продолжала высылать мне пятьдесят рублей в месяц, которые разрешались. Так что мы имели возможность купить себе мыло, зубную пасту, полагающиеся тетради и пластмассовые карандаши, а иногда даже сахар. Через день-два после заполнения такой бумажки Ларешник приносил нам то, что можно было в данный момент достать в тюремном ларьке.

Я с самого начала чувствовала какую-то идущую от него волну доброжелательности, хотя лицо его и было прикрыто требуемой маской непроницаемости. Сейчас, к концу второго года пребывания в этой тюрьме, между нами совершенно явственно ощущалась молчаливая внутренняя связь. Впрочем, не всегда даже молчаливая. Были уже у нас и свои секреты.

Так, во время моей болезни, когда форточки были закрыты и стоял страшный зной, я, передавая ему листочек «заказа», тихонько спросила:

— А нельзя вместо сахара немного конфеток? Хоть сто граммов. Самых дешевых. Подушечек . . . Так хочется . . .

— Не положено, — отвечал он.

Но когда через два дня он принес мой заказ и протянул мне в дверную форточку жестяную мисочку с сахаром, я увидела, что под ним, на дне миски, лежит горсточка конфет-ирисок.

— Спасибо, — тоном заговорщика шепнула я, возвращая ему пустую миску. Полагалось все пересыпать в камерную посуду.

— Только сразу съешьте, чтобы не оставалось в камере, когда на прогулку пойдете . . .

Я дружески улыбнулась ему и еще доверительнее пообещала:

— Никогда вас не подведем.

С этого дня Ларешник не был уже чужим, он выделялся даже по сравнению с Пышкой, Святым Георгием или Ярославским. Тем не доставляло удовольствия делать зло, а этот хотел активно делать добро.

В другой раз, когда мы были лишены газеты, я однажды, учуяв шестым чувством одиночника, что дежурного надзирателя в коридоре поблизости нет, отважилась спросить Ларешника:

— Что нового на свете?

В условиях Ярославля это была такая дерзость, такое немислимое преступление, что я сама испугалась сорвавшихся слов и скорей удивилась, чем обрадовалась, когда услышала в ответ:

— В Испании дело уж к концу идет . . .

И вот сейчас, в конце мая 1939 года, именно этот тайный доброжелатель, наш хороший Ларешник и принес нам благую весть. Произошло это так. При очередной выписке из ларька я

написала на требовании «Две тетради». И вдруг он, привычно оглянувшись по сторонам, тихонько буркнул:

— Не надо тетрадей. Не потребуется. Уедете скоро отсюда.

Так мечта облеклась плотью. Теперь отъезд был уже не только предчувствием и догадкой. Любопытно, что на этой стадии нашего крутого маршрута мы почти не интересовались, или по крайней мере не очень жгуче интересовались вопросом о том, куда же нас повезут. Готовы были пешком, в кандалах, по Владимирке, лишь бы подальше от этих стен.

С нетерпением выжидали мы подходящего момента, чтобы перестучать это потрясающее известие Ольге. Но она, услышав новость, не удивилась.

— До-га-ды-ва-лась . . . Вызывали на медкомиссию.

Через два дня и нас вызвали туда же. Оказывается, амбулатория помещалась внизу и мы ежедневно проходили мимо нее, выходя на прогулку, но не знали, что среди нижних камер затесалось такое гуманное учреждение.

Комиссия состояла из трех врачей и неизбежного корпусного. Взвешивали, обмеряли, щупали мышцы.

— Исхудание большое, — пробурчал один из врачей, критически осматривая мои ребра.

— Нет, нет, я чувствую себя совершенно здоровой, я могу работать на любой физической работе, — уверяю я, холодея от ужаса при мысли, что меня, ослабшую, могут не включить в рабочий этап, оставить здесь.

Прошло еще несколько дней, и однажды, в сумерках, корпусной Витушишников обратился ко мне все с той же сакраментальной формулой:

— Следуйте за мной!

Но его маленькая мордочка с округленным рыбым ртом выглядела так любопытно-весело, что мысль о новом карцере не пришла мне в голову.

Мы прошли в дальний конец нашего коридора, где я еще ни разу не бывала, повернули еще раз направо — и я оказалась перед дверью, на которой висела табличка «Начальник тюрьмы». Я окинула дверь восторженным взглядом. Деревянная! Выкрашенная масляной краской! Красавица! Без глазка и дверной форточки . . . И запирается, конечно, изнутри.

Коршунидзе-Гадиашвили сидел под большим портретом Сталина за письменным столом, заваленным папками наших личных дел.

— Садитесь!

Нет, это, наверно, действительно — начало какой-то новой эры, если из уст Коршунидзе вырываются такие слова. Но ока-

зывается, я должна сесть только потому, что мне предстоит подписать кучу бумаг, которые он мне подсовывает одну за другой.

— Ваш приговор изменен, — цедит он сквозь длинные желтые прокуренные зубы. — Десять лет тюремного заключения заменяются заключением в ИТЛ на тот же срок. Распишитесь, что вам объявлено.

Он тычет ногтем в то место, где я должна расписаться, и я даже не прочитываю текста постановления, отвлекшись этим ногтем. Удивительно: у такой гадины такой красивый, овальный ноготь, кажется даже отполированный.

— Вы от нас уедете, — продолжает он.

— Куда? — срывается у меня помимо воли.

О идиотка! Сколько раз повторять самой себе, что им нельзя задавать вопросы. Только нарываться на дополнительные оскорбления.

— Ваши личные вещи и оставшиеся на лицевом счету деньги пойдут вслед за вами, — как бы не слыша вопроса, продолжает он и снова тычет ногтем: распишитесь!

Я возвращаюсь в камеру, а «малолетний Витушишников» уводит Юлю, с которой повторяется слово в слово вся церемония. Щелканье замков и ходьба по коридору продолжают весь вечер и часть ночи. К Коршунидзе водят еще пока поодиночке, еще на тех же незыблемых основах строжайшей изоляции. Но это уже только инерция.

Одиночный режим пал. Он сломлен. Это ясно и по доносящимся из коридора невысказанно громким голосам заключенных, и по лицам надзирателей, на которых легко прочитываются невнимательность и постронные мысли. Они, естественно, обеспокоены предстоящим сокращением штатов. Даже вороны на щите ведут себя менее сосредоточенно, чем обычно.

Близится конец нашего шлиссельбургского периода. В виски снова со страшной тревогой и великой надеждой стучит пастернаковское: «Каторга! Какая благодать!»

## ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

### **БАНЯ! ПРОСТО ОБЫКНОВЕННАЯ БАНЯ!**

— Приготовьтесь в баню!

В этом возгласе еще не содержалось ничего удивительного. Так предупреждали каждые две недели.

— Взять с собой бушлаты!

А вот это уже наполнено лихорадочным трепетом последних дней. Бушлаты? В баню? В эту одиночную душевую клетку, куда

мы с превеликим трудом втискиваемся вдвоем в костюмах Евы? Да и что там делать с бушлатами?

Страстно обсуждаем эту новость, применяем шерлокхолмсовский дедуктивный метод и приходим к потрясающему выводу: баня будет общей! Бушлаты пойдут в дезинфекцию. Это последние мероприятия перед этапом. Это окончательное крушение шлиссельбургского режима.

И оказывается — мы совершенно правы. Наступает удивительная, незабываемая минута. Нас выводят в коридор и . . .

То, что мы видим там, потрясает все наше существо. Двери двух соседних камер раскрыты настежь, и около них, в полутьме коридора, вырисовываются четыре темных женских силуэта в ежовских формочках. Такие же, как мы.

Какие же они жалкие, измученные, прогоркшие от горя . . . Такие же, как мы. Исхудалые тела потеряли женственную округлость, в глазах знакомое выражение — то самое.

Нас уже больше не прячут и не отделяют друг от друга. Наоборот, нам приказывают строиться в пары по две, и я с чувством горячей сестринской любви и преданности жму потихоньку руку той, что стоит ближе ко мне. А та, что стоит немного в сторонке, небольшая, коротко стриженная, делает шаг мне навстречу и шепчет:

— Ты, Женя, да? Я Ольга . . . Твой собственный корреспондент.

— Стенкор, — шучу я, улыбаясь Ольге. Вот она, значит, какая. Не совсем такая, как рисовалась мне через стенку.

Какими словами передать чувство одиночника, два года не видевшего никого, кроме тюремщиков, при виде своих товарищей по заключению! Люди! Это вы, дорогие! А я уж думала — никогда не увижу вас. Какое счастье — вы снова со мной. Я хочу любить вас и приносить вам пользу.

Нас выводят в незнакомую часть двора. Там еще человек десять женщин. Надзиратели еще шипят: «Без разговоров», но мы уже переговариваемся улыбками, взглядами, рукопожатиями. Нет ли тут знакомых по Бутыркам? Нет, не нахожу. Все лица к тому же как-то унифицированы одинаковой уродливой одеждой и общим выражением глаз.

Да, это была обыкновенная баня, с деревянными скамейками, дымящимися от вылитого на них кипятка, с пышной мыльной пеной в жестяных тазах, с гулким эхом голосов. Но все эти обыденные детали обстановки как бы зачеркивались тем душевным подъемом — не побоюсь сказать: пафосом человечности, которым мы все были тогда охвачены.

Такие моменты не часто бывают в жизни. Подлинная брат-

ская любовь царила между нами в этой бане. Наши сердца еще не были тронуты разъедающим волчьим законом лагерей, который в последующие годы — что скрывать! — разложил не одну человеческую душу.

А сейчас, очищенные страданиями, счастливые от встречи с людьми после двухлетнего одиночества, мы были настоящими сестрами в самом высоком смысле этого слова.

Каждая старалась услужить другой, поделиться последним куском. Жалкие тюремные обмылки, выдававшиеся «на баню», были отброшены. Все поочередно мылились огромным куском «семейного» мыла, которое предложила всем Ида Ярошевская. Ей давно уже принес его Ларешник, но она почему-то все берегла, будто чувствовала, что понадобится всем.

Мне отдала свои чулки Нина Гвиниашвили, художница Тбилисского театра Руставели.

— Бери, бери, у меня две пары, а ты совсем босиком, — говорила Нина, разглядывая мои единственные чулки, вдоль и поперек перештопанные при помощи рыбьей кости и разноцветных ниток, — бери, чего стесняешься? Не у чужой берешь.

Ну конечно, не у чужой! Кто сказал, что я сейчас впервые в жизни увидела эти огромные глаза, ласково мерцавшие как два темных алмаза?

— Спасибо, Ниночка!

Мы говорим обо всем и все сразу. Оказывается, в карцерах побывали почти все. И все по юбилейным датам: к Октябрьской, к Первому мая, к первому декабря. Некоторые во время пожара все-таки соединялись с соседями на прогулочном дворике. Сейчас называли фамилии — Галины Серебряковой, Углановой, Кароллы . . .

Мы так перевозбуждены, что никак не можем закончить одевание, и надзирательница, обслуживающая баню, уже охрипла без конца повторять: «Кончайте, женщины! Одевайтесь, женщины!»

Женщины! Этому обращению суждено было теперь надолго стать нашим коллективным именем.

Всю эту ночь мы не смыкаем глаз. Мы счастливы возвращением к людям, но как же мы смертельно устали от них с непривычки! И где-то подспудно живет невысказанное даже себе самой желание: пусть бы уж не завтра совершилась та решающая перемена, которая предстоит. Пусть еще хоть два-три дня мы пробудем в этой одиночке, в НАШЕЙ одиночке. Ведь в ней остается кусок нашей души. Здесь мы иногда так радостно общались с книгой, здесь мы вспоминали детство. Ведь нельзя же так, сразу. Надо освоиться с мыслью. Перестроить душу, уже сложившуюся в отшельницу.

— Голова болит, — жалуется Юля. — Как это хорошо, но как трудно, когда много народа . . .

Да, еще год-другой, и мы, если бы не умерли, то превратились бы в джеклондонского героя, который, выйдя из тюрьмы, построил себе в горах одинокую хижину и в ней доживал свои дни.

— Юлька, стихи такие есть . . . Саши Черного . . .

*Жить на вершине голой,  
Писать стихи и сонеты  
И брать от людей из дола  
Хлеб, вино и котлеты . . .*

Неплохо бы, а?

Мы возбужденно смеемся. Дверная форточка лязгает и рычит голосом Сатрапука:

— Спать!

До последней минуты! Злятся, конечно, безработицы боится. Впрочем, к несчастью, он, кажется, еще надолго будет обеспечен работой, — не здесь, так в другом месте.

#### ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

### НА РАЗВАЛИНАХ НАШЕГО ШЛИССЕЛЬБУРГА

Как хорошо, что в наше время все процессы протекают быстро! У тех, кто вдохновлял и осуществлял акцию тридцать седьмого года, просто не было времени и возможности выдерживать такую массу народа по 20 и по 10 лет в крепостях. Это вошло в противоречие с темпами эпохи, с ее экономикой. Примерно в 10 раз. Вместо фиговых двадцати — всего два года.

И вот наступил миг качественного скачка в нашем горемычном бытии. Все, что было до сих пор строжайшим запрещением, стало, наоборот, строжайшим приказом. Не было в Ярославской одиночной тюрьме большего преступления, чем попытка вступить в какие-то отношения с другими заключенными. Не это ль и было мотивировкой всех карцеров, всех внутритюремных репрессий!

Теперь, с того июньского дня, когда мы в последний раз переступили порог нашей камеры, мы должны были держаться ТОЛЬКО все вместе. Работа, сон, принятие пищи, мытье в бане, отправление физиологических потребностей — все это было теперь общее, коллективное. Долгими, долгими годами никто из нас не мог теперь и мечтать о том, чтобы остаться хоть на минуту наедине с самим собой.

«Разберись по пяти!» «Стройтесь, вам говорят!» «Задние, подтянись!», «Ногу равняй!», «Направляющий, короче шаг!» — эти возгласы, то хриплые, то визгливые, то злобные, то оскор-

бительно равнодушные, пришли теперь на смену еле слышному шепоту надзирателей и их крадущимся по ковровой дорожке шагам.

— Подумать только, сколько средств затрачено на поддержание этой строгой изоляции, — вздыхает хозяйственная Юлька. — Ведь пять надзирателей только для вывода меня одной на прогулку были заняты. А теперь . . .

Это она говорит, взирая на несколько сот ярославских узниц, толпящихся с утра в открытых настежь прогулочных двориках. Нас согнали сюда для прохождения всякой обработки. Нам «печатают пальцы», нас обыскивают уже не по-ярославски, а по-бутырски, у нас отнимают оставшиеся в камерах фотографии наших детей. Большой штат надзирателей, все корпусные и сам Коршунидзе заняты напряженной работой. Просто запарились . . .

Сейчас для них боевым пунктом программы является борьба с бумагой. Ни клочка бумаги не должно быть пропущено в этап. Чтобы не вздумали что-то писать и бросать по ходу поезда. Ни бумаги, ни картонок, ничего, на чем можно писать. Именно поэтому, видимо, и изымаются с такой жестокостью наши фотографии.

Как сейчас вижу эту огромную кучу фотографий, сваленных прямо во дворе.

Если бы какой-нибудь кинорежиссер вздумал показать эту кучу крупным планом, его бы, наверно, обвинили в нарочитости приема. И уж совсем бестактным нажимом было бы признано поведение режиссера, если бы он вздумал крупным планом показать огромный солдатский сапог, наступающий на гору фотографий, с которых улыбались своим преступным матерям девочки с бантиками и мальчуганы в коротеньких штанишках.

— Это уж слишком, — сказали бы критики такому режиссеру.

А в жизни все было именно так. Кому-то из надзирателей понадобилось перейти в противоположный угол двора, и он, не затрудняя себя круговым обходом, встал сапожищем прямо в центр этой груды фотографий. На личики наших детей. И я увидела эту ногу крупным планом, как в кино. Мои тоже были там. Снятые уже после меня. Последний раз вместе, пока их не развезли в разные города.

На вопрос, вернут ли нам потом эти карточки, никто не отвечает.

— Давай, давай!

Нас строят по пяти. Ноги-палки подымаются, шаркают на ходу, вылезая из огромных казенных бахил. Руки судорожно цепляются за привычную соседку. Не разлучили бы . . . С непри-



вычки долгое пребывание на воздухе пьянит и обессиливает. Кружится голова. Все кажется нереальным. Хорошо еще, что везут нас налегке, без всяких вещей. Только бушлат в руках. С вещами бы сейчас ни за что не справиться.

Двинулись . . .

— Передние, короче шаг! Задние, подтянись!

Старые знакомые — «черные вороны» — уже ждут нас. Но сейчас нас не запирают в клетки-одиночки. Изоляция кончилась. Сейчас нас грузят навалом. Чем больше в каждую машину, тем лучше.

Выезжаем из ворот тюрьмы. Час стоит закатный, точно такой же, как в тот летний день, когда мы въезжали сюда два года тому назад.

В неплотно закрытые дверки битком набитых машин нам видно сейчас все здание нашего одиночного корпуса. Вот он, наш Шлиссельбург, в большой перспективе! Трехэтажная, багрово-красная кирпичная могила с высоченными деревянными щитами вместо окон. Неужели я провела здесь два года? И выхожу живая?

Двухлетний срок казался тогда огромным. Масштаб десятилетий был еще непривычен. Колымской шутки — «трудно только первые десять лет» — мы еще тогда не слышали.

Мы еще не знали, куда нас везут. Но зловещее слово Колыма уже порхало над машинами, прорываясь в тревожных вопросах друг к другу, в воспоминаниях о бутырских разговорах тридцать седьмого года. Правда, это слово еще не особенно пугало нас тогда. Великое дело — неведение.

Товарный состав, ожидавший нас на вокзале, ничем не отличался от обычных товарных поездов. Разве только тем, что на вагонах чьим-то размашистым почерком было написано «Спецоборудование». Белым по красному.

Я успеваю заметить, что вагон, куда меня втиснули, помечен номером семь. Народу натолкали в него столько, что, кажется, негде будет даже стоять. Теплушка. Но от этого настроение улучшается. Ведь закон тюрьмы — «чем теснее, грязнее и голоднее, чем грубее конвой, — тем больше шансов на сохранение жизни». До сих пор это оправдывалось.

Так да здравствует же этот телячий вагон и грубые, «тыкающие» конвоиры! Подальше от столыпинских вагонов, одиночных камер, нижних карцеров и вежливых Коршунидзе!

Грохот. Дверь вагона заложили огромным болтом. Толчок . . . Поехали . . .

## ЧАСТЬ II

### ГЛАВА ПЕРВАЯ СЕДЬМОЙ ВАГОН

Надпись «Спецоборудование» на вагоне я заметила еще во время посадки. На минуту подумала, что это осталось от прежнего рейса. Ничего удивительного. Товарный вагон. Ну и везли в нем какое-то оборудование.

Только после того, как начальник конвоя объявил режим во время этапа, я засомневалась. Догадались и другие.

— Да это мы и есть спецоборудование, — сказала Таня Станковская, карабкаясь на третьи нары, — иначе почему бы такое: на ходу поезда разговаривай сколько хочешь, а на остановках — полное молчание, никаких шумов? Даже за шепот — карцер...

Со спины Таня казалась проказливым юрким подростком. Движения, которыми она прилаживала в изголовье тюремный бушлат, тоже были бесшабашными, мальчишескими. И голос казался молодым, когда она кричала сверху:

— Обратите внимание! Добровольно на верхотуру залезла! Сознательность! Мои-то мослы и здесь не испарятся... А у кого еще мясо осталось, тем здесь не выжить...

Никто не ответил Тане. Никто из нас ее почти не слышал. В седьмом вагоне толкалось, металось и непрерывно говорило человеческое месиво: 76 женщин в одинаковых грязно-серых одеяниях со странными коричневыми полосками вдоль и поперек кофт и юбок.

Ни одна из нас ни на минуту не закрывала рта. Слушателей в этом разговоре не было. Не было и темы беседы. Каждая говорила о своем с того самого момента, как товарный состав тронулся от Ярославля. Некоторые, еще не устроившись на нарах, уже начинали читать стихи, петь, рассказывать. Каждая упивалась звуками своего голоса. Ведь впервые за два года мы были окружены себе подобными. В Ярославской тюрьме всесоюзного значения одиночницы промолчали 730 дней. В течение двух лет употреблялось только шесть слов в день. Подъем. Кипяток. Прогулка. Оправка. Обед. Отбой.

Меня втиснуло общим потоком на нижние нары. Пошевелиться пока не было никакой возможности. Но натренированным чутьем ззка я сразу поняла — удача! Место было отличное. Впервые, боковое, так что толкать будут только с одной стороны.

Во-вторых, близко к высокому, зарешеченному окошку, из которого тонкой струйкой просачивается воздух. И какой воздух! Замолчав на минутку, я подтянулась на локтях кверху и сделала глубокий вдох. Да, так и есть. Пахло полями. За окном сиял июль. Знойный июль тридцать девятого года.

Я снова заговорила вслух. Так же, как все. Хриплым, срывающимся голосом, перебивая кого-то, рассказывая обо всем сразу и делая над собой усилие, чтобы услышать и понять других.

Отдельные фразы мучительно толклись в идущей кругом голове.

— Конечно, счастье! Куда угодно, только бы из этого каменного мешка.

— Десять лет тюремного заключения и пять поражения. Здесь у всех так . . .

— Неужели вы вечернюю баланду ели? Я не брала . . . Тошнота такая . . .

— Не слышали? Говорят, среди нас чапаевская пулеметчица Анка?

— Кормить-то они думают?

Таня Станковская свесила с верхних нар немислимо тонкие, без икр ноги в тюремных бахилах 43-й номер. И я с удивлением увидела, что если смотреть на Таню спереди — она не подросток, а старуха. Растрепанные седые патлы, костлявое лицо, обтянутое сухой, шелушащейся кожей. Сколько ей может быть? 35? Неужели?

— Удивляетесь? Это натуральных, собственных. Да два ярославских считайте за двадцать. Итого — пятьдесят пять. Да год следственный — уж минимум за десятку . . . Вот полных 65 и насчитается . . . Посторонитесь-ка, слезу, подышать маленько . . .

Таня садится прямо на пол у дверей вагона. Двери закрыты неплотно. В широкую, с ладонь, щель пробивается ветерок. Но подышать не удастся. Колеса замедляют свой речитатив. Конвоиры торопливо бегут вдоль вагонов, захлопывая двери до отказа, подвинчивая большой деревянный болт. Его снимают только тогда, когда конвоирам надо войти внутрь вагона.

Стоянка! Стоянка!

И сразу — мертвая тишина. Точно вагону воткнули в горло клип. Возбужденные, растрепанные, потные, еще боящиеся поверить в перемену судьбы, мы замолкаем, все семьдесят шесть, вкладывая все недосказанное во взгляды. Только самые нетерпеливые пытаются продолжить нескончаемый разговор при помощи жестов, мимики, даже тюремной стеной азбуки.

Когда через полчаса поезд трогается снова, оказывается, что у всех нас сели голоса. Все говорят силным шепотом.

— Ларингит! Острый ларингит! — смеясь, ставит диагноз врач Муся Любинская, доктор Муська, одна из самых молодых в вагоне. Ее торчащие черные косички многим запомнились еще с Бутырок.

Только мощная уральская девушка Фиса Коркодинова, из Нижнетагильского горкома комсомола, пронесла через эту словесную бурю неповрежденным свое металлическое контральто с басовыми нотками. Теперь Фисин голос солировал, как труба на фоне разбредающегося самодеятельного оркестра.

Может быть поэтому и выбрали старостой вагона именно ее, Фису, оценив и голос, и степенные ухватки, и сочный уральский говорок, и румянец, не слинявший даже в Ярославле.

Из Фисиных рачительных рук все получили по глиняной кружке без ручки — вроде детской песочницы, по жестяной миске и щербатой деревянной ложке.

— Что уж это, курева-то не разрешили? В Ярославле уж на что зверствовали, и то разрешено было, — говорит Надя Королева, сорокалетняя работница из Ленинграда, почти такая же исхудавшая, как Таня Станковская, но гладко причесанная, подтянутая.

Со всех сторон пускаются разъяснять. Это из-за бумаги. Ведь на развернутых мундштуках от папирос можно писать, а ОНИ больше всего боятся, как бы не стали писать и бросать в окошко записки.

Я так и не научилась курить в тюрьме. И я потихоньку радуюсь этому запрету. Чем же тогда дышать, если бы здесь еще и курили!

Появился начальник конвоя. Все с радостью отмечаем, что он не похож на ярославских надзирателей, произносящих шесть слов в сутки, шагающих по ковровым дорожкам бесшумными шагами тигров. Начальник конвоя — это добрый молодец, Соловей-разбойник, с лихо закрученным чубом, с ядреными шуточками.

— Староста седьмого вагона! Встань передо мной, как лист перед травой! — громыхает он, зыряка озорными глазами по нарам и крикает от удовольствия, когда большая, дородная Фиса вырастает перед ним.

— Староста вас слуша-а-ат, гражданин начальник, — по-уральски басит Фиса.

Он обстоятельно и со вкусом излагает еще раз все запреты.

— На остановках, стало быть, молчок. Вроде померли... За разговор на стоянках — карцер... Книг в этапе, стало быть, не положено. Поди начитались в одиночках за два-то года? Теперь будя! Ну, а насчет баек запрету нет. Байки одна одной сказывать можете. Насчет пиш-ш-ши, ну, пишша, известно, этапная.

Хлеба — та же пайка, а вот с водой, бабоньки, беда! Вода у нас дефицит. Так что, воды вам положено в день по кружке. На все. Хошь пей, хошь лей, хошь мойся-полоскайся!

— Почему вы позволили ему так смотреть на себя? — раздаётся вслед уходящему Соловью гортанный голос.

Тамара Варазашвили, царица Тамара, еще выше откидывает гордую голову. Она сидит с тридцать пятого. Дочь крупного грузинского литературоведа, обвиненного в национализме. И хотя в этом весь ее криминал, но Тамара считает себя «настоящей политической» и сдержанно презирает «набор тридцать седьмого». За неумение самостоятельно мыслить. За бытовые интонации в разговорах с охраной. За то, что просят, а не предъявляют требования.

— А как он смотрел-то? — удивляется Фиса.

— Откровенно оценивающими глазами. Разве вы не почувствовали? И как вы могли улыбнуться в ответ? Это унижительно.

Семьдесят шесть хриплых голосов одновременно врываются в разговор. И опять все спорят сразу, не слушая никого. Потом побеждает голос Поли Швырковой.

— ... И среди них люди есть... А что загляделся-то на Фису, так что же тут такого? Она — девка видная, а по мне и слава богу, что загляделся. Людей, стало быть, в нас видит. Женщин. Да пусть хоть баб! Не лучше разве бабонькой быть, чем номером, а?

От этих слов в седьмом вагоне сразу воцаряется тишина. Сырое дыхание sklepa снова проносится над вчерашними заживо погребенными. Над теми, кто только сегодня утром получил обратно свои имена и фамилии взамен номеров.

— Умница Поля! Кем угодно, только не номером!

— Вы уж не обижайтесь... Может, чего не так сказала... Вы тут все ученые, партийные, а я ведь на воле-то простой поварихой была. За родство попала. И не знаю, чего это следовательно мне такую статью интеллигентную дал — «КРТД»...

... Несмотря ни на что, кончается своим чередом и этот день. В зарешеченном окошке тоненьким коромыслом повис молодой месяц. Еще два-три раза взвивается вихрь общего разговора и наконец затихает совсем.

Я укладываюсь на своих нарах. Ничего. В такой духоте даже лучше на голых досках. Тем более, что из тюремного бушлата можно сделать почти роскошное изголовье.

— Э-эх! — доносится сверху голос Тани Станковской. — Если бы я была царицей, всю жизнь спала бы на нижних нарах!

Рядом со мной известная украинская писательница, автор исторических романов.

— Давайте познакомимся, — шепчет она мне, — я писательница, Зинаида Тулуб. А вы?

Я отвечаю не сразу. Мне надо собрать мысли, прежде чем безошибочно ответить на этот вопрос. До сегодняшнего утра я была «камера три, северная сторона». Называю себя и свою профессию. Педагог. Журналист.

С удивлением вслушиваюсь в свои слова. Точно о ком-то другом. Педагог? Журналист? Не соврала ли? Сонька-уголовница из Бутырской пересылки говорила в таких случаях: «Это было давно и неправда».

Сон уже почти обволок меня, унося возбуждение этого невысказанного дня. Как вдруг . . . Что это? Что-то мохнатое мазнуло меня по лицу. Карцер? Крыса? Уж не во сне ли и был красный товарный вагон номер семь с размашистой надписью «Спецоборудование»? «Простите, товарищ, я задела вас косой . . .» Да, у Зинаиды Тулуб наружность дворянской дамы прошлого века. У нее чудесная (спутанная и грязная) коса.

— Вы испугались, товарищ? Вы плачете?

Нет, я не плачу, только сердце почему-то исходит сладкой болью. Хочется, чтобы соседка еще и еще раз повторила это слово. Товарищ . . . Есть же на свете такие слова! И так обращаются ко мне — «Камера три, северная сторона!» Значит, не то. Поезд идет на восток. В лагерь. Каторга! Какая благодать!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### «РАЗНЫЕ ЗВЕРИ В БОЖЬЕМ ЗВЕРИНЦЕ»

Это немецкая поговорка. Она все время приходила мне в голову при знакомстве с окружающими попутчиками, путешественниками из седьмого вагона. Кого только не было тут!

Утро в вагоне началось очень рано. Навыки, привитые Ярославкой, сильнее любой усталости. И когда Таня Станковская села на своей верхотуре, стукнувшись седой, всклокоченной головой о потолок, и гаркнула: «Подъем!» — никто уже не спал.

Возбуждение немного улеглось. Протрезвевшими глазами оглядывались вокруг. Кое-кто узнавал лица, запомнившиеся в Бутырках. Нашлись даже знакомые по воле. Староста Фиса Коркодинова уже раздала хлеб с довесками, аккуратно приколотыми щепочками к основной пайке. Начинал на глазах складываться этапный быт.

В первый день, потрясенные самим фактом движения, мы не

замечали, с какой медлительностью ползет поезд. Сейчас почувствовали.

— Точно замедленная киносъемка.

— Вроде кибитка с декабристками продвигается . . .

Вагон скрипел, выворачивая душу. Колеса тарактели и, главное, шли не ритмично, толчками, от которых проливалась драгоценная влага в кружках. Останавливались то и дело на станциях, полустанках, а часто и в чистом поле, чтобы конвой мог пройти по вагонам для раздачи пищи, для проверок. Вчерашние одиночницы с радостью восстанавливали памятные по Бутыркам приемы организации камерной жизни. Дежурные, дневальные. Очередь на глядение в крошечное зарешеченное окошко.

Ане Шиловой, агроному из Воронежской области, эту очередь многие уступали. Пусть хлеба посмотрит. Знаете, как у нее сердце по хлебам истосковалось!

Аня из тех, кто не ладно скроен, да крепко сшит, — небольшая, коренастая, сгусток энергии, щурит глаза, снисходительно улыбаясь.

— Ох уж хлеба здешние! Посмотрели бы, что сейчас под Воронежом у нас в это-то время!

А Таня Крупеник, милая Таня, живое воплощение Украины, карие очи, черные брови, — восклицает:

— Подумать только, Анька! Скоро работать будем! Мы с тобой тут самые счастливые — агрономы. Только нам да еще, может, доктору Муське дадут работать по специальности. Гуманитариям-то нашим хуже . . . Не дадут им по специальности . . .

— Откуда у вас такие точные сведения? Никто из нас еще в лагере не был . . .

Это Софья Андреевна Лотте — ленинградский научный работник, историк Запада. Она выделяется на общем серо-коричневом фоне своим внешним видом. Единственная из семидесяти шести она не в ежовской формочке. На ней обтрепанная, но собственная, ленинградская вязаная кофточка, черная юбка. Из-за этого к ней относятся настороженно, хотя, казалось бы, что можно подозревать при одиночном режиме?

— Да, конечно, — подхватывает реплику Лотте Нина Гвинушвили, художница Тбилисского театра имени Руставели, — конечно, никто из нас еще там не был . . . И вполне возможно, что вам, товарищ Лотте, приготовлена там кафедра. Будете белым медведям читать историю чартистского движения в Англии.

Нина Гвинушвили подает ей с полки реплику не менее охотно, чем Таня Станковская. Но Танины словечки все густо приправлены горечью, у Нины же все получается так вкусно, легко, по-французски, что никто не сердится, даже те, на кого направлена шуточка. Может быть потому, что Таня худая,

лохматая, с обтянутыми шелушащейся кожей скулами, а Нина изящная, с достоинством увядающая, интересная женщина. Особенно глаза ярко-зеленые, светятся в сумерках.

Гуманитарии, которые действительно составляют большую часть населения седьмого вагона, уже сгрудились вокруг Зинаиды Тулуб, читающей свои стихи.

На лице ее почти экстатическое выражение. Читает она старомодно, с пафосом. Она вообще старомодна. Неуловимый привкус старого дореволюционного литературного салона ощущается во всей ее манере читать, говорить. В быту она беспощадна и часто смешна.

— У нее на воле двое осталось, — говорит Таня Станковская. — Муж Шурик и кот Лирик. Она просила начальника Ярославки со своего лицевого счета 50 рублей коту Лирику перевести. Он без мяса не может . . .

В одиночке Зинаиде Тулуб было легче. Она мечтала, сочиняла стихи. В карцер ее не сажали ни разу. Может, из уважения к литературе? А здесь ее затолкали. Да и по возрасту она старше нас, в основном тридцатилетних.

Но стихи объединяют всех. Сидя в Ярославке, я часто думала, будто это только я искала и находила в поэзии выход из замкнувшегося круга моей жизни. Ведь только ко мне в подземный карцер приходил Александр Блок. Только я одна твердила на одиночной прогулке в такт шагам: «Я хочу лишь одной отравы — только пить и пить стихи . . .» А это оказалось высокомерным заблуждением, — думала я теперь, слушая поток стихов, своих и чужих. Умелых и наивных. Лирических и злых.

Аня Шилова, отложив вопрос об урожае, усевшись с ногами на вторые нары, повествовала теперь этапникам о печальном демоне — духе изгнания. Впервые в жизни она выучила наизусть такую длинную поэму. И теперь в каждое слово вкладывала не только оттенки смысла, но и гордость своей соприкосновенностью с таким произведением.

Поля Швыркова, повариха, и та начиталась в одиночке Некрасова и тоже стала рифмовать «боль души» и «в той тиши». Вообще Поля, несмотря на все, была несколько польщена тем, что следователь дал ей такую интеллигентную статью КРТД, ввел ее в такое общество, где все партийные и с высшим образованием. Еще в Бутырках Поля включила в свой лексикон много новых слов, из которых больше всего ей полюбили слово «ситуация».

— Ну, как, Женя, ситуация-то? После Ежова, я думаю, благоприятствует нам, а?

Но вот в чтение стихов включается моя соседка по одиночке, мой «стенкор» Оля Орловская, и я почти замираю, слушая, что она читает.



*Сталин, солнце мое золотое!  
Если бы даже ждала меня смерть,  
я хочу лепестком на дороге,  
на дороге страны умереть . . .*

Это заявление в стихах на имя Сталина.

Оля передала его недавно в руки Коршунидзе, начальнику Ярославки . . .

Таня Станковская спрашивает невероятно скрипучим голосом:

— И что же Коршунидзе? Умилился? Прослезился?

Поднимается страшный шум. Вопреки всему, из 76 путешественниц седьмого вагона по крайней мере двадцать с упорством маниаков твердят, что Сталин ничего не знает о творящихся беззакониях.

— Это следователи, гадюки, понаписывали . . . А он доверился Ежову. Вот теперь Берия порядок наведет. Докажет ЕМУ, что сидят все невинные. Вот помяните мое слово: скоро домой поедем. Надо больше писать ЕМУ. Иосифу Виссарионовичу . . . Чтобы знал правду. А как узнает — разве он допустит, чтоб такое с народом? Вот хоть я . . . С детства на Путиловском . . .

Надю Королеву перебивает Хава Маляр, стройная женщина лет сорока с лицом оперной Аиды. У нее дооктябрьский партийный стаж. Белые приговаривали ее к расстрелу.

— Нехорошо, Наденька, — с улыбкой говорит она. — Ты питерская пролетарка . . . К тому же сейчас тридцать девятый год. А питерские рабочие только до 9 января девятьсот пятого думали, что злые министры доброго царя с толку сбивают. После девятого они уже отлично разобрались, что к чему. А ты, вроде, на уровне зубатовцев, а?

На Хаву сразу набрасываются Женя Кочуринер и Лена Кручина. Они наперебой подводят научно-теоретическую базу под все происходящее в стране. Над духотой седьмого вагона, над подрагивающими глиняными кружками с остатками мутной тепловатой воды, над ярославскими бушлатами несутся удивительные слова об обострении классовых противоречий по мере продвижения к социализму, об объективном и субъективном пособничестве врагу . . . О том наконец, что лес рубят — щепки летят.

И Женя и Лена были на воле преподавателями кафедр марксизма в вузах.

— Эй, начетчики! Что там толкуете? — остервенело кричит с третьих нар Таня Станковская. — Что вы там за рабочий класс расписываетесь, столичные барыни?

— Странно вы себя ведете, Станковская, — сухо обрывает ее Лена, — трудно поверить, что вы в партаппарате работали.

— А вы их видели, наши партаппараты-то, донбассовские скажем? Да вы, кроме Арбата и Петровки, вообще что-нибудь видели? Ладно, короче говоря, довольно нудить! Давайте споем лучше! Благо здесь этого не запрещают . . .

И Таня затягивает голосом охрипшего пропойцы шуточную этапную на мотив «Боевого восемнадцатого».

*По сибирской дороге  
ехал в страшной тревоге  
заключенных несчастный народ . . .  
За троцкизм, за терроры,  
за политразговоры,  
а по правде — сам черт не поймет!*

— Лучше грустную, — предлагает Таня Крупеник, — дайте про чоловиков своих заспываемо, дивчата . . . Живы ли они? Из пересохших глоток летит этапная:

*Мы, подруги, друзья, ваши жены,  
мы вам песню свою пропоем . . .  
По сибирской далекой дороге  
вслед за вами этапом идем . . .*

Мужья . . . Некоторые точно знают, что их мужья расстреляны. Другие не знают ничего. Но на встречу надеются абсолютно все. И песня сменяется страстным шепотом.

— Встретимся . . . В лагерях изоляции нет . . .

— А там, может, и разрешат совместное проживание . . . Вот ведь Люся говорила . . .

Эта тема сразу выдвигает на первый план меньшевичек и эсерок. У них тюремный опыт. Они знают, как бывает и как не бывает.

Люся Оганджян, коротенькая, длинноносая, с умными, насмешливыми глазами, удивительно похожая на Розу Люксембург, охотно рассказывает о самых светлых минутах своей жизни. Они прошли в Верхнеуральском политизоляторе, где в начале 30-х годов либерализм доходил до того, что разрешались семейные карцеры.

— Вы вот знакомы с чистой, бескорыстной любовью только по литературе, — говорит Люся и хорошеет, заливаясь румянцем. — А я знала ее в жизни. Не жалуюсь на судьбу, свою долю радости получила. Эта волшебная одиночка, настоящее слияние двух душ, обостренная враждебностью окружающего мира . . .

Эсерка Катя Олицкая — женщина за сорок, похожая почти мужским орлиным носом и прямыми прядями спадающих на лоб волос на вождя индейцев Монтигомо Ястребиный Коготь, определенно обещает встречу с мужчинами в транзитном лагере. Правда, мы пока не знаем, куда нас везут. Но если во Владивосток, то там обязательно встретимся с мужчинами.

— Не слушай их, — шепчет мне на ухо Надя Королева, — что они понимают? От царя Гороха остались. Вон что она несет-то? Себя социалисткой называет, а нас . . . Помню, учили мы про них на политзанятиях, так я думала — они давно вымерли . . . И вдруг рядом . . . Вот компания, понимаешь! Чтоб ему ни дна ни покрывки, этому следователю!

От песни про мужей разговор так и клонится к запретной теме. Уж сколько раз, еще в Бутырках, договаривались: про это не надо . . . Но всегда найдется одна, которая не выдержит.

— Помню, было ему четыре года. Купила я как-то курочку и зарезала. А он: не буду знакомую курочку есть . . .

Зоя Мазнина, жена одного из организаторов ленинградского комсомола, из своих трех детей чаще всего вспоминает младшего — Димку. И не плачет, когда вспоминает, а наоборот, улыбается. Смешные случаи ей все на ум приходят.

Плотина прорвалась. Теперь вспоминают все. В сумерки седьмого вагона входят улыбки детей и детские слезы. И голоса Юрок, Славок, Ирочек, которые спрашивают: «Где ты, мама?»

Есть счастливые. Они получали в Ярославке письма. Они знают, что их дети живы, у стариков. Есть самые несчастные — такие, как Зоя Мазнина. Она уже третий год ничего не знает о детях. Некому написать. Муж и брат арестованы. Стариков нет. А чужие разве напишут? Опасно . . . Да по правилам Ярославки и не передали бы письмо от чужих. Переписываться можно было только с кем-нибудь одним из близких родственников, и то по нищенской норме.

Я почти счастливица, если я знаю из маминых писем, что один мой сын в Ленинграде, другой — в Казани. У родственников. Может быть, не обидят. Мама переписала строчки из Алешиного письма: «Дорогая бабушка! Со мной на парте сидит мальчик, у которого мама сидит в том же ящике, что и моя» (адрес Ярославки: почтовый ящик № . . .).

Я крепко сжимаю пальцы, стараясь не поддаться припадку материнского горя. А припадок уже назревает, уже сгущается над седьмым вагоном. Я помню, как это бывало в Бутырках. Только начни — пойдет . . .

Вспышка массового отчаяния. Коллективные рыдания с выкриками: «Сыночек! Доченька моя!» А после таких приступов — назойливая мечта о смерти. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Нет, нельзя давать себе волю. Ведь я в тысячу раз счастливее Зои. Я знаю, где мои дети. И счастливее Милды Круминь, которая получила в Ярославке письмо от своего Яна. Одно письмо за два года. Из специального детдома, где жили дети заключенных. Ян писал: «Милая мама! Я живу хорошо. На 1 Мая у нас

был концерт самодеятельности». А внизу торопливыми каракулями было приписано: «Мамочка! Я забыл латышские буквы, напиши мне их, и тогда я напишу тебе по-латышски, как мне здесь плохо без тебя».

Надо научиться вот так же, как Зоя Мазнина, говорить и думать о детях без слез, с улыбкой. Вот сейчас расскажу про Ваську:

— Когда ему было три года, он сочинил стихи: «Вот идет однажды дама, это васенькина мама» . . .

На этот раз сгустившийся над головами мрак вдруг разрешается не общими рыданиями, а неожиданным скандалом. Писательница Зинаида Тулуб невзначай обронила некстати словечко о своем необыкновенном коте Лирике. И на нее чуть не с кулаками бросилась та самая Лена Кручинина, которая так умело подводила теоретическую базу под события тридцать седьмого года.

— Как вы смеете? — кричала Лена совсем другим голосом, не тем, каким она освещала теоретические проблемы. — Как вы смеете со своими дамскими прихотями! Здесь матери, понимаете это, матери! Их дети насильственно разлучены с ними и брошены на произвол судьбы. А вы смеете оскорблять матерей! Сравнить наших детей со своими котами и пуделями!

К счастью, остановка. Поднявшийся бешеный шум обрывается на полуслове. «Спецоборудование» снова не дышит. Только Нина Гвиниашвили решается еле слышным шепотом подытожить столкновение.

— Здорово формулируете, Леночка! Очень четкие формулировки! А как же проблема детей с точки зрения обострения классовой борьбы по мере нашего продвижения к социализму?

. . . Сквозь окошечко просачивается летний вечер. Близится час, когда в Ярославке бывал отбой. Теперь уже всем ясно: воды больше не будет. А надеялись до последней минуты. Сама Фиса Коркодинова, староста, надеялась.

— Думала, грозитя он только, что одна кружка на день. Тут ведь если на нормальный стакан мерить, так больше полстакана не будет. А умываться как же?

Тамара Варазашвили опять высоко вскидывает голову и вполголоса говорит:

— Никогда не посмели бы мучить людей жаждой, если бы мы требовали воды. А мы ведь только просим. Униженно умоляем. А с такими чего же церемониться.

Опять завязывается спор. Уже из последних сил выдавливая саднящие горло слова. Сара Кригер популярно разъясняет, что требования можно было бы предъявлять, если бы дело происходило, скажем, в царской тюрьме. А в своей . . .

— У вас собственная тюрьма есть? — очень спокойно переспрашивает Нина Гвиниашвили.

Наде Королевой, уживчивой, услужливой, миролюбивой, вдруг становится непереносимо тошно.

— Спице давайте! Хватит уж. Беда мне — с учеными попала. Так и жалят друг друга. Ну, трудно с водой. Что ж теперь делать-то? Перетерпим... Самое главное — работать едем, не в каменном мешке сидеть...

(Пройдет четыре года, и Надя Королева, возвращаясь лиловым колымским вечером с общих работ, упадет на обледенелую землю и этим задержит движение всей колонны. На нее будут сердиться те четверо, которые шагали с ней в пятерке. И часовой будет довольно долго шевелить труп Нади прикладом, приговаривая: «Хватит придуриваться! Вставай, говорю!»)

Он повторит это несколько раз, пока кто-то из эзков не скажет: «Да ведь она... Не видите разве?»)

... Почти все уже заснули. Я долго мучаюсь, боясь повернуться, чтобы не разбудить Тулуб. Бедняга так беззащитно плакала, когда Кручинина напустилась на нее. Пусть поспит.

Не спят и на вторых нарах. Там тихонько беседуют кавказские женщины и две коминтерновские немки. Тамара, наверно, страшно довольна, что Мария Цахер, член КПГ, бывшая сотрудница немецкой коммунистической газеты, заинтересовалась Грузией, расспрашивает. В такт постукиваниям колес Тамара мечтательно повествует.

— Высокая культура... Христиане с пятого века... Шота Руставели. Народ мой. Гордый, бесстрашный... Немного эпикурец...

— Попросту говоря, лентяи порядочные, — вставляет словечко Нина Гвиниашвили.

Легкое хихиканье. Это смеется Люся Петросян, родная сестра легендарного Камо. Об этом сама Люся избегает говорить. Не повредило бы... А когда Нина громогласно призывает ее не скрывать такого брата, а гордиться им, Люся с притворным смирением говорит:

— Я простая, темная горянка.

Да, Люся очень осторожна, потому что ее когда-то лично знал великий Сталин. И каждое утро начинается для Люси надеждой: вот откроется дверь, войдет начальник и вызовет ее с вещами. На свободу... И так уже третий год.

Тамара недовольна тем, что Нина своими репликами снижает романтическую приподнятость рассказа о дружбе.

— Отступница ты... От своего народа... А по глазам все равно видно, что грузинка. Вон как сияют...

(Через шесть лет с зелеными, сияющими глазами Нины Гви-

нишвили, изящной, остроумной художницы, случится вот что: в колымском совхозе Эльген, где на силос идет даже самая грубая лоза, неисправная силосорезка дрогнет, сорвется с рычагов, и колкая тугая лозина выхлестнет напрочь Нинин правый глаз.

А когда мы с Павой Самойловой проберемся в лагерную больницу, чтобы передать Нине сахарку, и будем подавленно молчать у ее койки, Нина ласково погладит Паву по руке и скажет: «Не мучайтесь, девочки! На такую жизнь, как наша, достаточно и одним глазом смотреть».)

... Совсем ночь. Не могу заснуть. Лежу еще долго после того, как Мария Цахер закончила беседу о Грузии рядом добросовестных русских предложений, построенных по-немецки, с «вербум финитум».

— Спасибо, Тамара. Это знания, которые для мой знакомств с Советский Союз большого значения иметь будут . . .

Наутро всем неловко за вчерашнее.

— Подумайте, девочки! Как мы в Ярославке мечтали узнать, кто сидит рядом. Какое бы это было счастье поговорить с соседкой. А теперь спорим, обижаем друг друга. Зачем срывать на других свое горе?

Эти слова очень доходят до всех еще и потому, что их произносит Павочка.

Паву все зовут только Павочкой. У нее круглые карие чистые глаза, по-мальчишечьи стриженные волосы. Она попала в чертовое колесо из-за брата. За то, что она сестра Вани Самойлова, когда-то участвовавшего в комсомольской операции. Сама Павочка делит свою биографию на два раздела: школа и тюрьма. В облике Павы есть что-то от тех девушек, которые шли в революцию в до-революционные времена.

— Давайте лучше даром времени не терять. Пусть каждый рассказывает по своей специальности. Аня — по сельскому хозяйству. Муся — лекции по медицине. Софья Андреевна — по истории. А ты, Женя, читай Пушкина. Ты ведь можешь наизусть . . .

— Правильно! Давайте классиков. Очень успокаивает.

В этом деле я сразу выдвигаюсь даже на фоне пропитанных стихами ярославских узниц. К тому же читать наизусть очень выгодно. Вот, например, «Горе от ума». После каждого действия мне дают отхлебнуть глоток из чьей-нибудь кружки. За общественную работу. А своя кружка стоит накрытая мисочкой, и я с удовольствием думаю о том, что в ней оставлено порядочно водички на вечер. С четверть стакана определенно будет.

Но вот дошла очередь до «Русских женщин». Сколько раз

еще в Ярославке мысли обращались к декабристкам. Читаю о встрече Волконской с мужем.

*Невольно пред ним я склонила  
Колени — и, прежде чем мужа обнять,  
Оковы к губам приложила! . .*

Нет, это для нас теперь не хрестоматийные строки! Это та самая мечта, которая маячит перед каждой из семидесяти шести. Читаю и вижу десятки налитых страданием глаз. А декабристки . . . Они воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто не удивился бы, если бы рядом с Павой Самойловой и Надей Королевой здесь оказались Маша Волконская и Катя Трубецкая. Но у них дело было полегче. «Покоен, прочен и легок на диво слаженный возок . . .» Это вам не седьмой вагон! Да что там вагон . . .

— Пешком бы, братцы, прошагала до Колымы, кабы знать, что Коля там . . . — вздыхает сверху Таня Станковская.

Да, Маше Волконской здорово повезло! Вот она и встрети-лась со своим Сергеем в руднике . . .

*Святая, святая была тишина!  
Какой-то глубокой печали,  
Какой-то таинственной думы полна . . .*

Читаю все дальше и дальше, и вдруг воцаряется действительно полная тишина. На фоне этой новой тишины я странно громко слышу свой голос. И, наконец, отдаю себе отчет, в чем дело. Колеса давно уже не аккомпанируют мне. Стоянка!

— Что же мы наделали! Забыли . . . Полное молчание на остановках. Что же будет? «Спецоборудование» заговорило . . .

Тарахтение отодвигаемого болта, и резкий возглас начальника конвоя:

— Книгу сдать!

На этот раз добрый молодец Соловей-разбойник не улыбается и не ищет глазами Фису Коркодинову, старосту. В нем вдруг проявляется какое-то фамильное сходство с самыми свирепыми ярославскими надзирателями, даже с Сатрапюком, сажавшим всех в карцеры.

— Книгу, говорят вам, сдать! Староста седьмого вагона! Что стоишь? Сдать, говорю! А то такой шмон вам закатим, что небо с овчинку покажется! Эй, Мищенко! Находи давай книгу! А их всех на карцерное положение! Я их выучу, как в этапе режим нарушать, конвой подводить!

— Давай все переходь на одну половину! — командует толстоносый Мищенко, сталкивая всех влево и начиная профессионально точными движениями перетряхивать ярославские бушлаты с коричневыми полосами.

Тамара Варазашвили, которую Мищенко толкнул довольно основательно, возмущенно говорит, не повышая голоса:

— Я протестую. Режима никто не нарушал. Никаких книг в вагоне нет. Товарищ читала стихи наизусть.

Это возражение приводит Соловья-разбойника в бешенство.

— Что вы меня, понимаешь, придурком ставите! Нет книги? Да я сам лично под вагоном битый час торчал и слушал, как вслух по книге читали.

— Это наизусть...

— Вон что! Ну, за такие слова, за нахальное это вранье вы ж у меня до самого Владивостока на карцерном положении поедете, раз так! Я вам покажу, как над начальником конвоя надсмешки строить! В остатний раз говорю — отдайте книгу! А то на себя пеняйте!

Выручает все та же степенная, но в то же время расторопная Фиса, староста вагона, бывший заворг Нижнетагильского горкома комсомола.

— Разрешите обратиться, гражданин начальник, — вытягиваясь в струнку, говорит она, по возможности умеряя раскаты своего басовитого голоса. — А вы проверьте сами! Заставьте ее при вас почитать. И сами увидите, что она без книги читать может. У нее память, гражданин начальник... Просто сами удивляемся... Аттракцион. Право, заставьте. Пусть почита-а-ат...

На лице Соловья — борьба чувств. Ему и боязно — не попасть бы впросак, а с другой стороны, уж больно удачно нашла Фиса словечко — аттракцион! Читает без книги! Кто же их, чертей ученых, знает. Может и впрямь...

Побеждает любопытство.

— Ладно, — решает Соловей, — давай, Мищенко, сделаем им проверку, коли так. Котора это у вас может-то? Вон та? Чернявенька? Ну, давай валяй! Вот по часам, смотри, засекаю: полчаса почитаешь без книги, но чтобы складно, да без останову — поверю! Не выдюжишь — на карцерном весь вагон. До самого Владивостока!

Все радостно шумят. У всех отлегло от сердца. Во-первых, в пылу скандала выяснилось, наконец-то, направление транспорта — Владивосток! Это уже что-то определенное. Оттуда, наверное, на Колыму. А там непочатый край возможностей героического труда и досрочных освобождений. Во-вторых, никто не сомневается в успехе аттракциона. Проверенный.

— Начинать — командует Соловей.

— А вы присядьте, гражданин начальник, — хлопочет хозяйственная Фиса, — на ногах ее не переслушаешь, устанете.

— Ладно! Садись давай, Мищенко... Посмотрим...



Нет, «Русских женщин» я им читать, конечно, не буду. Что-нибудь нейтральное: «Евгений Онегин». Роман в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Пушкина.

Читаю и не свожу глаз с конвоиров. На лице Соловья — сначала угроза: сейчас сорвешься, вот тут-то я с тобой и разделаюсь. Потом растущее удивление. Затем почти добродушное любопытство. И наконец возглас плохо скрытого восторга.

— Ишь, черти, троцкисты-бухаринцы! До чего же, дьяволы, ученые! Ну, ты подумай, Мищенко, — ведь и впрямь без книги шпарит! Постой, а ты что же замолчала? Может, до сих только и знаешь? А? Ну-тко дальше, дальше давай!

Читаю дальше. Поезд уже тронулся, и колеса четко отстукивают онегинскую строфу. Кто-то подносит мне драгоценный дар — глиняную кружку с мутной теплой водичкой.

— Глотни из моей, а то пропадет голос . . .

Толстоногого Мищенко укачало. Он дремлет, временами вздрагивая и встряхиваясь. Но любопытный и озорной Соловей-разбойник воспринимает Пушкина как надо — где надо, смеется, где надо — огорчается. В восторг его приводит описание ларинских гостей.

*Скотининых чета седая  
С детьми всех возрастов, считая  
От тридцати до двух годов . . .*

— Ничего себе! — иронически гогочет он, прерывая чтение и шурясь на Фису. — От тридцати до двух годов! Потрудились! Понаделали ребятишек!

О карцерном положении больше нет речи. Уходя, Соловей обещает.

— В Свердловске баня вам будет. Пропускник там законный . . . Воды хошь залейся! Там и намоетесь сколько влезет и напьетесь до отвала. Скоро уж . . .

. . . Скоро уж . . . Этими словами начиналось теперь каждое утро. Но нет. Это было еще далеко не так скоро . . .

— Честное слово, мне кажется, мы все еще где-то в районе Ярославля, — с отчаянием объявляет Аня Шилова, отрываясь от окошечка. — Посмотрите-ка, Мина . . .

Мина Мальская с трудом забирается на вторые нары. Ей около пятидесяти. Огромный партийный стаж. За тюремные годы Мина совсем сникла, сгорбилась, стала лимонно-желтой. Часто жалуется на болезни, а этого в седьмом вагоне не любят. Неписанный закон: терпи молча. У каждой своего хватает. Вон Таня Станковская. Смотреть страшно, скелет один, а никогда о болезнях ни полслова.

И никто не обращает внимания, когда Мина Мальская,

забравшись-таки на вторые нары, хватается за сердце. Только спрашивают:

— Ну, где едем? Как там, по пейзажу судя?

— Гм... Судя по флоре... Трудно сказать... Принимая во внимание сильный зной...

Рядом с Миной Мальской Аня Шилова выглядит такой молодой, энергичной, полной сил. Ее пьянят перспективы работы. Наплевать, пусть у черта на рогах, лишь бы по специальности.

— Девочки! Вечную мерзлоту руками рыть буду, ей-богу! Все равно ведь и там своя земля! Только бы не сидеть без дела. Поддержали бы в одиночке еще год, я бы головой об стенку... Что угодно вытерплю, только не безделье...

(В сорок четвертом жизненные дороги этих, так непохожих друг на друга женщин, двух верных членов коммунистической партии, закончатся почти одинаково.)

Аня Шилова умрет в лагерной больнице от болезни почек, нажитой непосильным физическим трудом. Умрет, испытав перед смертью ужас слепоты.

Мина Мальская погибнет от инфаркта месяц спустя. На третий день после ее смерти придет на имя начальника лагеря телеграмма: «Прошу оказать необходимую помощь для спасения жизни моей матери. Военный корреспондент «Известий» Борис Мальский».)

... Теперь-то мы знали: до Владивостока. Там транзитный лагерь. Это точно знают меньшевички и эсерки. Оттуда — говорят они — скорее всего на Колыму. Но это еще далеко, об этом можно пока не думать. Лишь бы кончился седьмой вагон! Лишь бы напиться досыта водички!

Возбуждение первых послеодиночных дней спало теперь окончательно. Кончились споры на отвлеченные темы. Кончились даже стихи. Все беспощадно поняли: больше месяца до Владивостока, если такими темпами.

Душно. Так душно, что кто-то своим умом доходит до слова душегубка, тогда еще неизвестного. Пыль. Пот. Теснота. Но самое страшное — жажда.

— Девочки! — Детское личико Павочки Самойловой полно мучительного удивления. — Почему говорится: «Тот не герой, кто сна не борол». По-моему, правильнее будет: «Тот не мученик, кого жаждой не пытали...»

Почти никто не ест соленую баланду. Она хоть и жидкая, но после нее еще страшнее хочется пить. Селечные хвосты в ней варятся. Конвоиры выносят почти всю баланду нетронутой.

— Гражданин начальник, — обращается Фиса Коркодинова, староста, к Соловью-разбойнику, — я от всего вагона с просьбой к вам. Ту воду, какая на баланду употребляется, отдайте нам

простой водой. Хоть умыться бы! Глаза промыть нечем, гражданин начальник. Ну что это — одна кружка в день! В ней и стакана нет. Совсем доходим . . . А баланду и так никто не ест. Зря два ведра воды на нее идут. И умылись бы, и постирались этой водичкой . . . Женщины ведь, гражданин начальник.

Соловей-разбойник сердится.

— Вот что, староста седьмого вагона, это нам с вами никто права такого не давал, чтобы самовольно режим менять. Положено — горячий харч раз в сутки этапникам, ну и обеспечиваем. А вам дай вместо баланды воду, вы же сами потом жалобы строчить в ГУЛАГ начнете. Дескать, нам воду, а наварку — себе . . . Тем более, вы все шибко грамотные, писать мастера. Так что, режим меняться не будет.

Страшно смотреть на Таню Станковскую. Кожа у нее шелушится все больше. Зубы стали длинными и неровными, вылезают вперед из шершавых губ и торчат, как колья в старом расшатанном заборе. И хотя Таня по-прежнему — ни слова о здоровье, но все видят: у нее страшный понос. Двадцать раз в день она слезает с третьих нар и пробирается, гремя бахилами, — седая, страшная, всклокоченная, — к тому углу вагона, где зияет огромная дыра, заменяющая парашу.

— Муся! Доктор Муська! Обрати внимание на Таню. Ты ведь врач . . .

Доктор Муська пожимает плечами и трясет косичками.

— Беда с этими филологами! Врач, врач . . . Просто фетишизм какой-то! А что может врач в седьмом вагоне? Ну ладно, предположим, я назначаю больной Станковской усиленный подвоз витаминов в организм, внутривенные вливания глюкозы с аскорбинкой, постельный режим . . . Да еще, конечно, обильное питье . . . Эх, Женечка, пеллагра у Татьяны, а пеллагра — это три Д. — Муся шевелит губами, вспоминая. — Тут все перезабудешь, что и знала! Три Д. Одно Д точно помню — это дерматит. Замечаешь, как она вся шелушится. Второе . . . Второе Д — это, кажется, диаррея. Понос. Сама видишь. И ничем этот авитаминозный понос не остановишь.

— А третье Д?

— Третье? Ну, третьего, по-моему, у Таньки еще нет, это деменция . . . Слабоумие . . . Расстройство психики.

Нет, третьего определенно не было. Это я знала точно, потому что вечерами Таня часто звала меня к себе на верхотуру и там делилась со мной совсем неслабоумными мыслями.

— Ханжей ненавижу, Женька! Вот тебе Оля Орловская нравится . . . А я видеть не могу! Как вспомню ее стишата «Сталин, солнца мое золотое». Ну что это! Ведь если там, на воле, еще, может, можно заблуждаться, то здесь-то, в седьмом вагоне,

в седьмом кругу дантова ада, кем надо быть, чтобы продолжать молиться на отца, вождя, творца? Или идиотом круглым или ханжой, притворой!

— Тань, а Таны! Давай заявим Соловью, что ты очень больная. А? Может, у них какой-нибудь захудалый санитарный вагонешко есть?

— Юмористка ты, Женька!

— Нет, правда... Ведь был же в Ярославке врач, и даже гуманный. Я его Андриюшенцией прозвала. Помнишь, когда в прошлом году форточки закрыли на ключ?

— Немножко помню. Тогда я в основном такая и стала, как ты меня сейчас видишь. Кислородное голодание...

— Ну вот, и я тогда болела очень. Сердцем... И Андриюшенция гуманизм проявил. По его распоряжению мне увеличили срок проветривания камеры с десяти минут до двадцати. Давай спросим про санитарный вагон, Таня. А вдруг есть?

— Карцер у них в их хвостовом вагоне оборудован, это да! Фиса говорила. А насчет санитарного вагона — это твои девичьи грезы. Люблю тебя, девка, за доверчивость. Ты да Павка Самойлова! Чудачки... Из Ярославки взрослыми детьми вышли. Ладно! Довольно про брэнное тело говорить. С ним — дело конченное. Я тебе хочу одну свою тайную муку сказать. Думаю — поймешь. Слушай, не могу я на Надю Королеву смотреть. Совесть мучает. Будто это я ее посадила. Коренную питерскую пролетарку. Будто сама не сижу с ней рядом...

Это понятно мне сразу, без уточнений. То же странное чувство стыда и личной ответственности я испытала летом тридцать седьмого в Бутырках, попав в камеру к иностранным коммунистам.

Я глажу Таню по костлявому, совсем неживому плечу и тихонько шепчу:

— Понимаю, Танюша. Мне самой в Бутырках до смерти стыдно было перед Кларой. Немецкая коммунистка... Чудом вырвалась из гестапо. Все мне казалось: я в ответе за то, что она в Бутырках.

Духота сгущается, становится скользкой. Ее можно пощупать. Как на зло, июль все жарче. Крыша седьмого вагона раскалена, не успевает остыть за ночь, не помогает и то, что на ходу поезда двери вагона закрыты неплотно и в широкую — с ладонь — щель пробивается ветерок.

Перед каждой остановкой на станциях, когда состав еще больше замедляет свой черепаший ход, конвоиры идут вдоль вагонов (вдвое быстрее поезда), захлопывают до отказа двери, укрепляют дверные болты. Потом, отъехав от станции, поезд снова останавливается в чистом поле и конвоиры восстанавливают

спасительную щель в двери. Сидеть у этой щели можно только в порядке строгой очереди.

Остальные, кому не дошел черед ни до оконца, ни до дверной щели, лежат обессиленные на нарах, избегая лишней раз пошевелить растрескавшимися губами.

В головах у каждой — неуклюжая глиняная кружка, похожая на детскую песочницу. Она — источник страшных волнений. Как уберечь воду от расплескивания? При толчках вагона. При неосторожном движении соседок.

Некоторые предпочитают выпить всю дневную порцию с утра. Те же, кто бережет воду, чтобы время от времени пропускать по глоточку до самого вечера, — не знают ни минуты покоя. Все смотрят на кружку, дрожат за нее. То и дело возникают конфликты, грозящие полным разрывом отношений между вчерашними друзьями.

Теоретики седьмого вагона — Сара Кригер и Лена Кручинина — лежат сейчас спинами друг к другу. Не разговаривают. Кровная вражда. Сара полезла в карман своего бушлата, чтобы достать бинтик, выпрошенный еще у ярославской медсестры. У Сары в кровь стерты ноги. Из-за бахил. Она маленькая, ей надо тридцать третий номер, а выдали мужские — сорок четвертый. Полезла, да и толкнула локтем Ленину кружку. Пролила часть воды. Порядочно. Со столовую ложку. Вспыльчивая Лена чуть не ударила Сару. Та округлила глаза, зашелестела громким шепотом, перекатывая во рту картовое «р-р-р»:

— Отдам, завтра же отдам... Замолчи... Не безумствуй! Не теряй лица! Здесь есть беспартийные...

Но Лена не в силах побороть приступ гнева. Ее щеки стали ярко-красными.

— Не только беспартийные! Даже меньшевики и эсеры. Из этого не следует, что надо ворочаться, как бегемот на льду, и проливать чужую воду.

(Лена Кручинина сделает в лагерях карьеру. Ей удастся найти путь к сердцу жестокой Циммерман, начальницы женского лагеря. И Циммерман сделает для Лены исключение — назначит ее в лагослугу, куда положено назначать только надежнейших бытовиков и уголовников, а никак не «врагов народа». От Лены будет зависеть, кого из товарищей послать на смертельно опасные работы, кого придержать в зоне.

Лена подружится со старостой лагеря, уголовницей Лидкой-красючкой, и они вместе будут стоять на разводах, рядом с начальником режима. На них будут аккуратные телогрейки, валенки первого срока, а на руках — теплые варежки, связанные активными старушками из немецкого барака.

Уже через год многие бывшие соседки по седьмому вагону

будут называть Лену «чертовым придурком», а те, кто надолго сохранит манеру выражаться по-интеллигентски, — «лукавым царедворцем».)

... Как случилось, что однажды конвой недоглядел, оставил щель в седьмом вагоне во время стоянки? По-человечески понять можно. У конвоя тоже было дел по горло. Одни счета да пересчеты чего стоят! Считали они свое «спецоборудование» дважды в сутки, хотя куда ему деваться из плотно запертого вагона.

И произошло чудо. Через щель в седьмой вагон стали проникать звуки обычной человеческой жизни: смех, детские голоса, бульканье воды. Это было почти невыносимо.

Не меньше двадцати этапниц приникли к щели, мостясь одна на другой. Маленькая станция, затерянная в уральской глуши. Обыкновенная станция. Босоногие мальчишки торговали яйцами, сложенными в шапки. На ржавой дощечке, прибитой к дощатому строению, было написано: «кипИток».

На этот раз я отчаянно отстаивала свое место под солнцем. И мне удалось занять выгодную позицию — в самом низу. Всем своим существом я жила теперь жизнью этой маленькой станции, твердя про себя:

— Господи, сотвори чудо! Пусть я вдруг стану самой последней, самой бедной и невзрачной из этих баб, сидящих на корточках вдоль платформы со своими ведерками и горшками в ожидании пассажирского. Я никогда не пожаловалась бы на судьбу, никогда — до самой смерти. Или пусть я стала бы вон той дремучей старухой, что палкой нащупывает облезлые грязные доски деревянного настила. Ничего, что ей осталось, может, несколько недель или дней. Все равно она — человек. Не «спецоборудование»...

Самое мучительное было видеть приоткрытый водопроводный кран и струящуюся из него воду. Подошел какой-то парень, голый до пояса, и, нагнувшись, подставил смуглую, в белых расческах спину под струю.

И кто-то в седьмом вагоне не выдержал. Чья-то рука с глиняной кружкой просунулась в щель вагонной двери.

— Воды!

Потом, когда все это кончилось, многие говорили, что все происшедшее напоминало сцену из «Воскресения».

— А, батюшки! Никак арестантский! — это одна из баб, сидящих на корточках у своих ведерок с огурцами.

— Где? Где?

— Да-к надо милостыньку им! Эй, Даша!

— Яйца-то, яйца давай сюды!

— Пить, вишь, просят... Молока неси, Манька!

Обветренные, заскорузлые руки стали просовываться в щель седьмого вагона с солеными огурцами, с кусками хлеба, ватрушек, с яйцами. Из-под спущенных до бровей платков на этапниц смотрели вековечные крестьянские бабьи глаза. Жалостливые. Жалкие благородными слезами. Кто-то плескал в протянутые кружки молоко, а оно разливалось, оставляя круги на «сырой земле».

— Одни бабы, гляди-ко . . .

— Да, может, в других вагонах и мужики есть. Кто ж его знает?

— Господи, может и Гавриловых Ванятко тут где-кося?

— Пошто же воды-то им не дают, ироды? Подь, Анка, нацеди ведерко!

— Да ведь не полезет ведерко — в щелку . . .

— Дома-то поди ребятишки остались. Ребят-то сколько осиротили . . .

На минуту мне показалось, что идет не тридцать девятый, а просто девятый год нашего века. Но современность вдруг остро напомнила о себе голосом молодой женщины, торопливо просовывавшей в вагонную щель пучок зеленого лука.

— Витамины нате! Витамины ешьте! Важнее всего!

Все это длилось несколько минут. Каким-то чудом конвоиры, занятые заготовкой воды, не заметили ничего. Поезд тронулся. Староста вагона Фиса и специально избранная комиссия в составе Павы Самойловой и Зои Мазниной начали пересчитывать пeryшки зеленого лука, чтобы разделить его со всей справедливостью.

Но даже раздел лука не мог погасить вспыхнувшего возбуждения. Водяной бунт назревал. Первой подняла голос Тамара Варазшвили.

— Товарищи! Я хочу сказать несколько слов, — негромко, но с ораторской интонацией сказала она, встав в центре вагона. — Мы должны требовать нормального снабжения водой. Мы изнемогаем. У каждой за спиной два, а то и три года тюрьмы. И какой тюрьмы! Мы все больны цингой, пеллагрой, алиментарной дистрофией. Кто дал этим людям право истязать нас еще и жаждой?

— Правильно, Тамара! — поддержала спокойно Хава Маляр, впервые за все время этапа повышая голос.

— Не говорите от имени всех, — раздалось с верхних нар.

— Я, конечно, не имею в виду тех, кто готов не только всему подчиниться, но и все оправдать, — продолжала Тамара.

— Да еще и подвести под все это теоретический базис!

Хава встала рядом с Тамарой, подчеркивая свою поддержку.

— Потом, объясните, наконец, в чем дело? Куда девалась

вода? Разве наш путь пролегает через пустыню Сахару? Почему они не могут набирать воду на станциях три раза в день?

— Что же вы предлагаете? Голодовку? — это из угла, где сидят эсерки.

— Прекратите антисоветскую агитацию! Не мерьте всех на свой аршин! — это Лена Кручинина.

— Я и адресую свои слова не всем, а только тем товарищам, которые не потеряли человеческого достоинства и уважения к самим себе.

— Правильно, правильно, Тамара! — это уже многие, очень многие.

К двери пробилась, стуча бахилами, Таня Станковская.

— Давайте требовать! — резко заявляет она и, не дожидаясь одобрения своих действий, начинает колотить сухими синими кулачками в вагонную дверь.

Поезд уже снова замедлил ход, приближаясь к очередному полустанку.

— Воды-ы-ы!

И уже кто-то: — Негодяи! Мучители! Не имеете права! Нет на вас советской власти?

И чей-то отчаянный вопль:

— Вагон разнесем! Стреляйте! Все равно один конец! Воды-ы-ы!

Топот ног по платформе. Рывок! Дверь настезь! Пять конвоиров во главе с Соловьем-разбойником.

— Молчать! — кричит он, и его глаза наливаются кровью. — Рехнулись, что ли? Бунтовать? А ну, говори, кто застрельщик?

И так как на вопрос, конечно, никто не отвечает, он хватается оказавшуюся ближе всех к дверям Таню Станковскую и совсем незаметную молчаливую Валю Стрельцову. Он приказывает отвести их в карцер, как зачинщиков бунта. Тогда вперед выходит Тамара.

— Мы требуем воды, — спокойно говорит она. — Все требуем. А те, кого вы взяли, ни в чем не виноваты. К тому же Станковская очень больна, она не перенесет карцера.

Хава говорит еще спокойнее и еще тише Тамары:

— Мы не верим, что в Советской стране могут истязать людей жаждой. Мы считаем это произволом конвоя и требуем нормального снабжения водой.

— Я вам покажу требовать! — задыхаясь не только от злости, но и от удивления, гремит Соловей-разбойник. В нем сейчас ничего общего с тем Соловьем, который почти по-человечески воспринимал пушкинский текст.

— Мищенко! На карцерное их всех! А приедем — покажу им,



где раки зимуют! Небо с овчинку покажется! — Он делает неопределенное движение в сторону Тамары и Хавы, но после минутного колебания отворачивается от их спокойных взглядов, делая вид, что действительно считает зачинщицами водяного бунта еле стоящую на ногах Таню и безликую молчальницу Валю Стрельцову.

Конвоиры уходят, уводя двух заложниц. Но вагон не усмирен. Вслед конвою несутся удары десятков кулаков по стенам вагона, по дверям. Летит все тот же разъяренный вой:

— Воды-ы-ы!

Теперь уже никто не поднимается с нар. Щель в двери закрыта. Болт закручен наглухо. Хлебные пайки сокращены почти вдвое. Баланды не приносят. Карцерное положение.

Но это все почти никого не расстраивает. Вернее, почти никто не замечает этих ухищрений Соловья-разбойника. Не до того. У всех одна мысль — Таня не выйдет живой из карцера.

У Тамары опустились плечи. Она почти перестала откидывать назад голову. Три дня подряд она заявляет раздающему хлеб конвоиру Мищенко, что произошла ошибка: не Станковская, а именно она, Тамара Варазашвили, первая предложила требовать нормального снабжения водой.

— Второй же была я, а не Стрельцова. Могут подтвердить очевидцы, — тихим голосом добавляет Хава Маляр, и ее лицо оперной Аиды бледнеет.

Но Мищенко пуще всего не любит, когда эти шибко грамотные бабенки начинают балакать на своем птичьем, ученном языке.

— Ничого не бачил! Ничого не чул! — бурчит он флегматично. — Староста, рахуй, давай пайки!

Но Фиса Коркодинова — недаром ее еще в Нижнетагильском горкоме комсомола считали отличным массовиком — чувствует: разве так надо с Мищенко разговаривать?

— Гражданин начальник, — она вытягивается в струнку. — Разрешите обратиться...

Мищенко польщен до невозможности: «Гм... Уважительная девка, ничего не скажешь...»

— Ну, давай, — присоанивается он, — тильки покороче...

— Разрешите, гражданин начальник, мне, как старосте, узнать, на сколько суток зэка Станковская посажена? Мне для учета... Когда срок ей?

— Ну, ежели для учета, могу сказать. На пять... Писля завтра туточки буде...

Но их привели к концу этого же дня. Соловей-разбойник сообразил, что проволочка с оформлением акта о смерти будет

немалая. Так уж лучше довести до транзитки, а там пусть разбираются сами.

Валя Стрельцова, вечная молчальница, и тут остается верна себе — лезет молча на вторые нары к своему месту. Даже не спросила, где ее кружка. Даже не поблагодарила Надю Королеву за то, что Надя ее кружку сберегла целехонькой. Хранила, чтобы не раздавили.

(Только восемь лет спустя, когда Валя Стрельцова смертельно заболела, простудившись на таежном сенокосе, где до самого колымского ноября спят в самодельных шалашах, — все узнают о причине Валиного упорного молчания, ее отъединенности от людей.)

За день до смерти Валя расскажет своей соседке, религиознице Наташе Арсеньевой, что во время следствия она, Валя, поставила свою подпись под десятками смертных приговоров. Была Валя на воле техническим помощником первого секретаря одного из обкомов партии. Вот и заставили ее подписать и на секретаря, и на все бюро, и на многих из областного актива.

Наташа Арсеньева, адвентистка седьмого дня, будет искренне убеждена, что после смерти Вали надо рассказать об этом всем в лагере. Чтобы знали люди, что новопреставленная раба божия Валентина страдала, покаялась и перед смертью у бога и людей прощения просила. Тогда, мол, легче ее душе будет.)

... — Таня, Танюша, прошу тебя, ляг на нижние нары, — умоляет Павочка Самойлова. — Ну, мне ведь совсем не трудно наверх залезть. Я молодая, здоровая, а ты? Куда ты в таком состоянии полезешь?

— Не надо, — хрипит Таня, — мне только ноги вытянуть бы. В карцере все время с согнутыми коленями... Там даже моим мослам поместиться негде. Достижение современной техники карцер этот.

С Тани стаскивают бахилы. Ей жертвуют несколько капель воды на край ярославского полотенца, чтобы обтерла лицо после карцерной грязи. Доктор Муська считает ей пульс.

— Почему у тебя такие руки холодные? — испуганно спрашиваю я, забравшись в гости к Тани на верхотуру. — Такая жарщица, духотищица, а они у тебя ледяные? Неужели додумались какой-нибудь искусственный холод в карцере делать?

— Нет. Там еще душнее здешнего. Совсем без воздуха. Сама не знаю, что с руками.

Таня смотрит на свои руки, похожие на скрюченные лапы старого ободранного петуха, лежащего на прилавке мясной.

(Только через несколько лет, работая медсестрой в лагерных больничных бараках, я пойму, что эти ледяные руки — верный признак близкого конца для всех «доходяг», гибнущих от дистро-

фии. Я так привыкну к этому, что, ощутив под своей рукой холод очередной петушиной лапы, уже с вечера буду заготавливать бланк «акта о смерти», чтобы передать его потом в УРЧ для архива «А».)

— Да ты не бойся, Женька, не умру я в этапе. Мне до транзитки обязательно надо добраться. Поняла? И хотя мне другой раз — уж скажу тебе как другу — здорово умереть хочется, но я не даю себе волюшки в этом деле. Вот после транзитки видно будет. . .

— Муж?

— Нет. Не из тех я дурочек, что мечтают на транзитке расстрелянного мужа встретить. Нет. Но действительно, мне нужна встреча с мужской зоной. Иван Лукич, понимаешь. . . Наш, донбассовский. В тридцать пятом секретарем райкома стал, а до того — в шахтах. Знатный мастер.

— Любовь?

— Да ну тебя! Ему шестьдесят два.

Таня долго кашляет и хрипит, прежде чем начать рассказ. Доктор Муська уже несколько раз говорила, что у Тани начались застойные явления в легких, при этом так озабоченно качала головой, что черные косички, завязанные тряпочками, задевали соседок.

Оказывается, когда Таня была арестована, — а была она до ареста инструктором культпропа обкома, — рабочие той самой шахты, где и отец Тани работал и два брата, написали коллективное заявление. Дескать, знаем всю семью как облупленную. Станковские — рабочая династия, потомственные шахтеры. Татьяна все от Советской власти получила: образование, работу, квартиру — все. Ей, мол, никакого резона с контриками якшаться быть не может. Все равно, что против себя самой идти. А работала она отлично. Ни дня, ни ночи не было для нее, если по рабочему делу. Свыше пятидесяти подписей собрали. Ну, и к Ивану Лукичу пошли. А он в это время уже секретарем райкома был.

— Да. Подписал. Ни на что не посмотрел. Он ведь мой крестный, в партию меня рекомендовал в двадцать втором. Взял он это заявление, подписал, да еще добавил сбоку: «Как в двадцать втором ручался, так и теперь ручаюсь».

— Какие люди! А потом?

— Потом посадили их всех до одного, кто подписывал. Ну, и Ивана Лукича тоже. Это я уже потом по пересылке узнала от новеньких. Вот и нельзя мне, понимаешь, до транзитки умирать. Эсерки говорят, что там обязательно с мужчинами встретимся. Они знают. Не впервой.

— Поблагодарить его хочешь?

— Что благодарить? Сам знает, что я души за него не пожалела бы. Тут другое. Хочу сказать ему, что напрасно он это

сделал. Нерационально. Ты послушай, какая у меня мысль. Понимаешь, верю я, что таких Иванов Лукичей много в нашей партии есть, из тех, кто остался на воле. Но сделать они пока ничего не могут.

— Почему же?

— Не знаю. История скажет. Но только если они сейчас выступят против Сталина, от этого, кроме еще нескольких тысяч покойников, ничего не будет, а вред большой. Ведь настанет время, когда они смогут поднять свой голос. И надо, чтобы они сохранились до тех времен. И так уже нас слоями снимают. Чего же еще самим в петлю лезть? Да главное — без пользы для дела . . .

Ровная беседа прерывается неожиданным появлением на верхотуре Хавы Маляр. Волосы у нее распущены, и Таня, увидев ее, протягивает свою петушью лапу и поет (да, поет!) шутивным шепотком: «Как смеешь ты, Аида, соперничать со мною?»

— Тише, Таня . . . Я принесла вам . . .

Хава всех зовет на «вы», но оно звучит у нее очень доверительно. Я протираю глаза. Не мираж ли? На раскрытой ладони Хавы — пять кусочков пиленого сахара. Это еще ярославский. Там выдавали по два кусочка в день. В этапе же сахара не положено. Как догадалась скопить? А после того, как вызвали на медицинскую комиссию, по кусочку в день откладывала, потому что, когда с сердцем плохо, нет ничего лучше, как пососать сахарку. Сразу пульс выравнивается. И Таня должна съесть два кусочка сейчас, сразу, а остальные в ближайшие дни. Сразу пойдет на поправку.

(Хава Маляр, несмотря на большое сердце, доживет до счастливых времен. Она еще успеет прочесть материалы XX и XXII съездов. Она медленным шагом, оглядываясь неверящими, эфиопскими глазами по сторонам, поднимется по лестнице большого дома на старой площади.

Она успеет насладиться горячей водой в одной из квартир Юго-Запада. И только весной шестьдесят второго кучка уцелевших этапниц седьмого вагона побредет следом за мертвой Хавой в крематорий.)

Иногда эшелон останавливался на целые сутки по каким-то высшим соображениям. Это были самые мучительные дни. неподвижный, раскаленный, вонючий воздух. Закрытая наглухо дверная щель. Приказ: молчать всем, хоть и стоим в чистом поле.

Но вот дожили, дожили наконец! Свердловск. Будет баня. Меньшевичка Люся Оганджаниян уже была здесь. И она снова и снова, как Шахерезада, повторяет волшебную сказку о свердловском санпропускнике. Какой он чистый, большой, просторный. Ничем не хуже Сандуновских бань. В раздевалке — огромное

зеркало. Мочалки всем выдают. Можно помыться в свое удовольствие. А уж напиться . . .

— Только бы торопить очень не стали. Злитя, наверно, на нас Соловей-разбойник за водяной бунт.

Но Соловей-разбойник вспылчив, да отходчив, даже улыбается снова.

— Староста седьмого вагона! — громогласно возглашает он. — Выходы! Стройся по пяти!

На запасном пути, где остановился вагон, нет перрона. Мина Мальская, Софья Андреевна Лотте, да и некоторые другие, никак не могут спрыгнуть. Высоко. Павочка Самойлова и Зоя Мазнина подставляют им скрещенные руки, кое-как стаскивают. Но писательница Зинаида Тулуб боится прыгать даже и так. Она стоит на краю вагона и подробно рассказывает нетерпеливым конвоирам с собаками, как осложнился в Ярославке ее давнишний радикулит и как она в молодости была отменной спортсменкой. Тогда такой прыжок, конечно, не составил бы для нее трудности, но теперь . . .

— Давай прыгай, говорят тебе! Весь строй задерживаешь! — рявкает Соловей. — Мищенко, давай ссаживай ее, как знаешь!

Мищенко покорно подставляет свою бычью шею, и на ней повисает бывшая прелестная, правда немного старомодная женщина, автор талантливых исторических романов.

— Я вам, право, очень обязана, — говорит она, поправляя ежовскую формочку, когда пыхтящий Мищенко ставит ее на твердую почву.

Толпа серо-коричневых теней у каждого вагона.

— Разберись по пяти! Приставить ногу!

Соловей-разбойник перебегает от вагона к вагону, на ходу делясь с дежурными образчиками фольклора. Немецкие овчарки рвутся из своих ошейников и громко лают. Они тоже застоялись во время пути и выглядят облезлыми, похудевшими.

— Интересно, какая на них положена норма снабжения водой в этапе? — кротким голосом просто в воздух бросает Нина Гвиниашвили. И стоящий неподалеку Мищенко, не искусственный в оттенках сарказма, отвечает почти добродушно:

— От пуза пьют. Сколько влезе . . .

Население всех вагонов выстроено по пяти. Получается длинная, метров на семьдесят, серо-коричневая шевелящаяся лента. Кто-то от свежего воздуха затуманился, осел на землю.

— Держись, держись! Одна одну поддерживайте. Падать никому не давать . . .

Конвоиры бегут вместе с собаками, раздраженные тем, что, несмотря на категорический запрет, некоторые все же теряют сознание.

— По пяти, по пяти! Ряды не путать!  
— Хвост, хвост загибай! Передние, приставить ногу! Задние, подтянитесь! Левее, левее!

Таня Станковская острит хриплым, срывающимся голосом:

— А если левее, то не прибавят за левый уклон по десяточке?

— Остроумная была покойница, — шепчет мне на ухо Нина Гвинуашвили.

В сиянии раннего летнего утра Таня действительно выглядит настоящим трупом. Голова ее бессильно качается на вытянувшейся шее, как увядший плод на стебле.

— Шаг влево, шаг вправо — будет применяться оружие, — предупреждают конвоиры.

Раздевалка санпропускника превосходит самые смелые надежды. Простор. Чистота. А зеркало! Полстены! Но все равно оно не вмещает нескольких сот голых женщин с тазами в руках, толкующихся перед ним. Плывут, плывут в синеватом стекле сотни трещащих горьких глаз, ищущих свое отражение.

Я узнаю себя только по сходству с мамой.

— Павочка, — окликаю я Паву Самойлову, — подумай только: я по маме себя узнала. Больше на нее похожа сейчас, чем на себя. А ты?

— А я, стриженная, еще больше на Ваню стала похожа.

Даже здесь, в волнующий момент встречи с зеркалом, после трехлетней разлуки, Пава ни на минуту не забывает о своем брате. Между ними — большая любовь и дружба.

(Во Владивостоке Паву будет ждать редкостная удача. Ей, единственной из всего этапа, доведется встретить на транзитке того, о ком мечталось. Ее брат Ваня окажется в соседней мужской зоне, отгороженной легким заборчиком. И они встретятся у этого забора. И Ваня передаст на память сестричке случайно сохранившуюся у него маленькую подушечку. И будет повторять: «Прости, прости меня, Павочка, я тебя погубил . . .» «Да чем же ты виноват, Ванюша?» — спросит Пава. «Да только тем, что — твой брат».)

А перед посадкой на пароход «Джурма», который повезет женский этап на Колыму, Пава снова перебросит брату ту же подушечку, потому что больше ей дать ему нечего.

И этим кончится для них все, потому что в сорок четвертом по доносу сексота о «разговорчиках» Ваню расстреляют, и сестра узнает об этом только в пятидесятых годах, после своей и Ваниной (посмертной) реабилитации.)

. . . Соловей! С ума он сошел, что ли?

Да, начальник конвоя с завидной принужденностью разгуливал среди сотен обнаженных женщин. Не успели и ахнуть по этому поводу, как заметили, что у всех дверей, ведущих из

раздевалки в душевые, стоят по два солдата в полном обмундировании и с винтовкой в руках.

— Что уж это, батюшки! — запричитала совсем по-деревенски Поля Швыркова. — Или уж мы вовсе не люди, что нас нагешом прямо мимо мужиков гонят. Рехнулись они, видно . . .

— В отношении шпионов, диверсантов, террористов, изменников родины вопросы пола никакой роли не играют. Ты разве не усвоила этого еще в тридцать седьмом от следователя? . . Ну, что же, если так, то и они для нас не мужчины. — И Нина Гвниашвили храбро шагнула через порог между двумя солдатами.

— Нет, нет, девочки, — страстно зашептала Таня Крупник. — Нет, видят они в нас женщин и людей, эти солдаты. Приглядитесь к лицам.

Таня говорила чистую правду. Глаза всех караульных, стоящих у дверей, были устремлены в одну точку, вниз, под ноги. Казалось, они пересчитывают только мелькающие мимо них пятки. Все до одного, ни один не поднял любопытствующего взгляда.

Другое дело Соловей-разбойник. Тот даже не отказал себе в удовольствии вызвать перед свои светлые очи старосту седьмого вагона.

— Староста седьмого вагона! Встань передо мной, как лист перед травой! — рявкнул он, так и зыряка озорными, гулящими зенками, так и предвкушая появление голой Фисы.

И она встала перед ним. Общий гул восторга прошел по толпе женщин. В вагоне никто не замечал, что представляют собой Фисины волосы. Гладко зачесанные за уши и туго закрученные на затылке, они совсем не бросались в глаза. Сейчас, расплетенные, выпущенные на волю, они рыжим потоком струились вдоль тела Фисы, прикрывая ее всю до колен. Она стояла с тазиком в руке и казалась одновременно и уральской Лорелейей, и святой Барбарой, у которой чудом выросли длинные волосы, чтобы прикрыть ее наготу от мучителей-язычников.

— Староста седьмого вагона вас слуша-а-ат, гражданин начальник, — пробасила Фиса, придерживая волосы на груди, как держат наброшенную на плечи шаль.

Соловей с плохо скрытой досадой уточнил свои распоряжения, а этапницы седьмого вагона окружили свою деловитую, смышленную старосту кольцом любви и дружбы.

Наслаждение длилось целый час. Конвой, занятый возней в дезокамере, не торопил. Все ожили. Плеск воды перекликался во всплесками смеха. Таня Крупник, быстрыми, спорыми движениями простирая рубашку, даже замурлыкала тихонько: «Ой, Днепр, Днепр» . . .

Запас жизнелюбия и доброты был в Тане неисчерпаем. Ни

минуты она не чувствовала себя отверженной из-за того, что она, единственная из всего вагона, имела срока не десять, а двадцать лет. Сама Таня говорила, что ей отвалили столько потому, что ее суд пришелся на пятое октября тридцать седьмого. Тут как раз вышел новый закон, установивший новый максимальный срок тюремного заключения — двадцать пять вместо десяти. Но многие в вагоне шептались: это потому, что Таня в близком родстве с бывшим председателем Совнаркома Украины Любченко. А уж известно: чем ближе к знаменитым коммунистам, тем больше срок . . .

— Что десять, что двадцать — одно и то же, — отмахивалась Таня в ответ на расспросы. — Никто столько сидеть не будет. Разберется партия. Не может этого быть. Ведь вот слетел же Ежов! И на других вредителей придет срок. Ведь это ясно, что вредители проникли в НКВД. Разоблачат их . . . А мы выйдем! Уже сейчас к нам относятся лучше, чем при Ежове. Он нас два года в одиночках держал, в крепости. А теперь мы на работу едем. Крайний Север осваивать . . . Значит, верят, что будем работать по совести.

(Чем отличается десятилетний срок от двадцатилетнего — это Таня почувствует в сорок седьмом, когда ее товарищи (из тех, кто выжил) один за другим будут уходить из лагеря на поселение. В лагере появятся новые люди — эски военного периода. Среди них Таня, с ее неистребимыми, не убитыми ни тюрьмой, ни лагерем партийными повадками двадцатых-тридцатых годов, почувствует себя одинокой. А в сорок восьмом случится пожар на агробазе колымского совхоза Эльген. И Тане, работающей там заключенным агрономом, будет угрожать новый срок, новый суд, с обвинением в диверсии, в поджоге.)

И в одну белесую ночь короткого колымского лета Таню Крупеник — карие очи, черные брови — найдут болтающейся в петле в одной из теплиц, где выращивают огурцы и помидоры для лагерного и совхозного начальства. Над головой мертвой Тани будет кружиться и жужжать туча колымских комаров, жирных, омерзительных, похожих на маленьких летучих мышей.)

. . . Первые дни после Свердловска — прилив бодрости. Возобновляется чтение стихов, лекции по специальности. Зинаида Тулуб читает наизусть по-французски Мопассана. Все восхищаются ее чтением, и даже Лена Кручинина не вспоминает больше о Зинаидином коте Лирике.

Мина Мальская меньше хватается за сердце и согласилась прочесть (нет, не лекцию! Зачем в таком состоянии долго затруднять внимание товарищей!) маленькую заметку о природе Крайнего Севера.



На третий день все замечают, что после великолепия свердловского санпропускника еще более мизерным кажется водяной паек. Снова начинаются ссоры, ленивая переброска репликами.

— О-ох, — вздыхает Поля Швыркова, — брюхо старого добра не помнит! С полведра поди выпила в Свердловске, а сейчас опять... Такая ситуация...

— Хватит ныть, не шумите! — обрывает кто-то из умеющих спать круглые сутки.

— Не злитесь, девочки! И откуда только это зло в людях берется! — тяжело вздыхает Надя Королева.

— Как откуда? Невод широко был раскинут. Ну, и рыбка наловилась разная... — Это Таня Станковская хрипит сверху. Она теперь совершенно не встает, а на мои вопросы о здоровье отвечает:

— До транзитки все равно доеду!

Однажды на рассвете, уже недалеко от Иркутска, все проснулись от сильного толчка.

— Крушение?

— Неплохо бы... Чтобы вдрызг седьмой. Тогда волей-неволей пришлось бы им нас в чистом поле подержать. Вот надышались бы!

— Не мечтайте. Ой, смотрите, кружки летят. Вот это действительно стихийное бедствие. Не то что крушение поезда. Без кружки попробуй до Владивостока. Еще сколько протацимся.

Эшелон остановился. За дверями — топот ног конвойных, перебежки их от вагона к вагону, отрывистые крики, ругательства.

— Как вы думаете, что бы это могло случиться? — вежливо повторяет уже в который раз Зинаида Тулуб и просительно обводит вагон своими томными глазами, годящимися скорее для Анны Керн, чем для этапницы седьмого вагона.

Все молчат. Наконец раздается сверху голос Тани Станковской:

— Одно из двух: или внеочередное извержение Везувия, или получен ответ Сталина на стихи Оли Орловской.

У Нади Королевой от толчков вагона раскололась пополам кружка, и Надя рыдает над ней, как над умершей родной дочерью.

Вдруг резко стукнула оттолкнутая вправо дверь. Сразу почувствовалось: это не обычный приход конвоя. Все вскочили. Что еще? Вслед за Соловьем-разбойником подталкиваемые сзади еще двумя конвоирами в седьмой вагон влезает одна за другой женщины. Они слабы. Они держатся за стенки, эти незнакомые женщины в тех же серых с коричневым ежовских формочках. Их много — человек пятнадцать.

— Староста седьмого вагона! Принимай пополнение! — командует Соловей. — Давайте сдвигайтесь маленько на нарах, дайте новеньким места, а то, вишь, развалились! Кумы королю . . .

— Куда же, гражданин начальник? И так уж по команде на другой бок ворочаемся, — заворчала на этот раз даже Фиса.

— А чего ворочаться? Знай лежи-полеживай! Спокой! — мрачно шутит Соловей.

— Давай, давай! Лягайте, да не вертухайтесь! — инструктирует Мищенко.

Надя Королева, рыдая, расталкивая всех, бросается к Соловью со своим горем. Она ведь не виновата, что крушение. А как же теперь без кружки?

— Другой не дадим. Вы как думаете? Я за них отчитываться должен или как? Во Владивостоке — полная инвентаризация. — И поучительно добавляет: — Беречь надо казенное добро.

Один за другим конвоиры и Соловей спрыгивают на песок. Закладывается дверной болт. Новенькие стоят кучей в середине вагона, у самого парашного отверстия, прижимая к груди бушлаты. Несколько минут длится общее молчание. Среди взглядов, бросаемых нашими коренными обитателями седьмого, есть и враждебные. Подумать только! И так чуть живы, пить нечего, дышать нечем, а тут еще . . . Куда их девать?

— Кто же это вас так обкорнал-то?

Поля Швыркова первая заметила, что в облике новеньких есть что-то отличное от своих, привычных. Что-то еще более нестерпимое и оскорбительное.

— Волосы!

— Да, нас остригли. Мы ведь не ярославки. Мы из Суздаля. Нас только в день этапа привезли в Ярославль. В двенадцатом вагоне ехали. А потом сломался он. Небольшое крушение.

— Вот нас и разбили на три группы и по другим вагонам рассовали. Но у вас, видать, и без нас не скучно?

Суздаль. Вторая женская одиночная тюрьма всесоюзного значения. В Бутырках многие о ней мечтали. Там бывший монастырь. А келья уж обязательно посуше камеры. И вот . . .

Да, в отличие от ярославских, суздальские узницы обриты наголо. Ярославки с ужасом смотрят на обритые головы своих незваных гостей. А те бросают полные зависти и восхищения взгляды на наши растрепанные, пыльные, посеревшие косы, локны, челки.

— Эх, бабоньки, — на весь вагон вздыхает Поля Швыркова.

И это сигнал. Сигнал к тому, чтобы все увидели в новеньких не нахлебников, с которыми надо делить голодный паек воды и воздуха, а родных сестер, униженных и страдающих еще больше, чем мы сами. Волосы! Обрить волосы!

- Идите сюда, товарищ! Здесь можно подвинуться.
- Кладите свой бушлат на мой . . .
- Снимите бахилы и забирайтесь сюда с ногами. Потеснимся, теперь уже меньше осталось. По Сибири едем.

Одна из новеньких узнала меня. Пробирается, прокладывая дорогу свернутым бушлатом.

— Жень!

Но я не сразу узнаю хорошо знакомую по воле, по Москве, Лену Соловьеву. Трудно узнать кокетливую, вечно смеющуюся Лену в этой почти бесполой фигуре, как бы только что поднявшейся после тифозной горячки. Отрастающая белесая щетинка топорщится на несуразно длинном черепе. С острых плеч, как с гвоздиков, свисает ежовская формочка.

По тому, как долго я вглядываюсь в нее неузнающими глазами, по интонации, с которой я восклицаю наконец: «Леночка!», — она, может быть, впервые за все время заключения догадывается, во что превратилась она, бойкая, способная аспиранточка.

Судорожными движениями она вытаскивает из кармана мятую грязную косынку и набрасывает ее на голову.

— А так? Так хоть немного похожа на себя? — спрашивает она, и ее узловатая, костлявая рука тянется к моим волосам. — Счастливая! У тебя локоны! Те же . . . московские . . .

Меня охватывает пароксизм острой, непереносимой жалости.

(Ведь это еще только тридцать девятый год. И несмотря на следствие, суд, Бутырки, Лефортово, Ярославку, мне известно еще далеко не все о том, что люди могут проделывать с другими людьми. Поэтому бритые головы суздальских этапниц, а особенно моей старой знакомой Лены Соловьевой, я воспринимаю как предел надругательства над женским естеством. Через два-три года я просто не буду замечать, как выглядит чья-либо женская голова, прикрытая лагерной шапкой, напоминающей головные уборы печенегов-кочевников.)

. . . Вырастут . . . Леночка, родная, вырастут! Ты снова будешь красивой. Не завидуй нам. Ведь мы такие же, как ты. И нас они могут так же . . . Я дотрагиваюсь до своих волос. Нет, уж этого я, пожалуй, не пережила бы . . .

— Лена, где твой Иван? Где девочки?

В застывшем, как маска, лице Лены что-то вздрагивает.

— Девочки? Не знаю, ничего не знаю. Не разрешили переписку. И Иван — там же, где все порядочные люди.

Лена говорит почти безразличным голосом. Видно, она уже ничего не боится. Ей все равно, если кто-нибудь из вагонных ортодоксов-сталинцев «стукнет» конвою о таких ее речах.

Среди суздальских есть все-таки одна с небритой головой.

— Не далась! — объясняет она громким голосом с очень четкой дикцией, по которой я безошибочно угадываю педагога.

Это Лиля Итс, Елизавета Ивановна. Директор средней школы из Сталинграда. Высокая, привлекательная, с крупными кольцами русских волос, спускающихся на плечи. Когда-то девочки обожали ее, но прозвали все же «Елизавета Грозная».

— Я бросилась прямо на ножницы. Била парикмахера, кушала ему руки, — все с теми же учительскими интонациями, точно объясняя урок, продолжает Лиля Итс. — Спасла волосы, но исколечила ногу. Пускай! Это меня меньше травмирует.

Правое колено у Лили багрово-синего цвета. Нога как лоснящееся полено.

— Швырнули в карцер со всего размаха о железную койку. Но остричь все же не успели. Тут как раз этап... Заторопился... Некогда уж им было со мной сражаться.

Тамара Варазашвили порывисто жмет руку Лили.

— Уважаю ваше мужество, товарищ.

В углу, где расположились (и не думая уступать ни сантиметра из своего жизненного пространства) наши ортодоксы, возникает движение.

— А вам не приходило в голову, что стрижка могла быть вызвана чисто санитарными соображениями. Может быть, появилась вшивость? — спрашивает Лена Кручинина.

Все суздальцы наперебой отклоняют этот вариант. Он у них уже много раз обсуждался.

— Откуда вши в одиночках? Там было голо и чисто. Камень, железо и один человек в ежовской форме. Два раза в месяц — одиночный душ. Никаких санитарных соображений. Просто издевательство.

— Ну, едва ли обычную стрижку можно считать издевательством. Вот когда в царской каторге брили полголовы...

Таня Станковская не может больше вытерпеть. Не поймешь, откуда у нее берутся силы, чтобы прокричать на весь вагон:

— Братцы! Давайте составим благодарность товарищу Сталину. Так, мол, и так... Жить стало лучше, стало веселее. Бреют уже не полголовы, а всю подряд. Спасибо, дескать, отцу, вождю, творцу за счастливую жизнь.

— Станковская! Когда слушаешь вашу антисоветчину, просто не верится, что вы были членом горкома.

— Слушая вас, просто не веришь, что вы у них не в штате, а просто как вспомогательный состав. Кстати, почему бы вам сейчас не вызвать конвой и не доложить об этой беседе. Может, вам за заслугу эту чистое белье выдали бы. А то от вас воняет что-то сверх нормы...

— Тш-ш-ш... Девочки, да что же это? — умоляет наивный

ортодокс Надя Королева. — Разве хорошо так оскорблять друг дружку? У меня вон горе-то какое — кружку разбила, и то на людей не бросаюсь. Что ж поделаешь, терпеть надо. Тюрьма так она и есть тюрьма. Не курорт... Как в песне-то поется. «Это, барин, дом казен-н-най...»

«— А-лек-санд-ров-ский централ», — подхватывает кто-то нараспев.

Стучат и стучат колеса, теперь уже совсем не ритмично, еле-еле. Кажется, пешком скорее дошли бы до Владивостока.

Устал седьмой вагон. Истомили, перегрузили его. И все же идет, пробирается, уходит все глубже в сибирские дали. Заглушая стук колес, из вагона выбивается на воздух вековая каторжная песня, сибирская этапная:

*... За какие преступ-ле-е-нья  
Суд на каторгу сослал?*

Среди суздальских есть популярные люди. Лина Холодова, пулеметчица Щорса. Слух о ней шел по всему этапу. Спорили: среди нас чапаевская Анка. Оказалось — не Анка, а Лина, та, что у Щорса. Следователи говорили ей: «Мало тебе было мужиков в своем селе, так ты на фронт пошла, чтобы в свое удовольствие пораспутничать!»

Известная парашютистка Клава Шахт. Даже после двух лет Суздаля, в ежовской формочке, она сохранила изящество движений, манер. Только пальцы рук у нее деформированы. При последнем прыжке повисла на проводах.

Феля Ольшевская, член партии с семнадцатого, долгие годы работала в польском революционном подполье. Ее сестра — жена Берута.

Знаменитая председательница колхоза из Узбекистана Таджихон Шадиева. Многим ее лицо кажется знакомым, потому что в тридцатых годах лицо Таджихон то и дело мелькало в кадрах кинохроники и на обложках «Огонька», «Прожектора».

За три года тюрьмы Таджихон все еще не привыкла к тому, что забота о народном хозяйстве страны — теперь не ее дело. С азартом и грубыми ошибками в русском языке она все рассказывает о каких-то давнишних пленумах, на которых ей удалось посрамить некоего Биктагирова по вопросу о сроках уборки хлопка. Таня Крупеник и Аня Шилова делятся с ней своими замыслами и агрономическими планами насчет освоения Колымы.

Я не могу наглядеться на Лену Соловьеву. Знакомая по воле, это великая радость. Она знала моего старшего сыночка. Я знала ее девочек. Я сидела с ней рядом в тридцать шестом на Тверском бульваре во время совещания переводчиков. С ней

можно вспомнить, как интересно выступали тогда Пастернак, Бабель, Анна Радлова. Я глажу белесую щетинку, покрывающую удлинённый череп Лены, и с трудом отрываюсь от разговора, чтобы слазить на верхотуру, посмотреть, как там Таня Станковская.

— Жива, жива еще, не бойся, — каждый раз говорит Таня.

(Да, она действительно умрет только на транзитке. Но поискать среди заключенных мужчин своего партийного крестного Ивана Лукича ей не придется, потому что в ворота транзитного лагеря Таню уже не введут, а внесут. Ее положат на нары, с которых она уже не встанет.

Она будет лежать, почти бесплотная, не человек, а силуэт человека. Ее не будут трогать даже клопы, которые живут на владивостокской транзитке, организовано, почти как разумные существа, передвигаясь вполне целеустремленно, большими толпами по направлению к новым этапам.

Таня заболеет, вдобавок ко всему, куриной слепотой, и не увидит меня, только за руку будет держать.

В день Таниной смерти по транзитке распространится слух, что где-то здесь сегодня умер Бруно Ясенский от алиментарной дистрофии. Я расскажу об этом Тане, а та, оскалив страшные, расплзающиеся во все стороны цинготные зубы, засмеется и скажет очень четко своим обычным хриплым голосом: «Мне везет. Когда будешь меня вспоминать, будешь говорить: она умерла в один день с Бруно Ясенским и от той же болезни».

И это будут последние слова девочки из потомственной шахтерской семьи, партийной крестницы Ивана Лукича, самой мужественной пассажирки седьмого вагона — Тани Станковской.)

... По мере приближения к Владивостоку все больше говорили насчет обуви. Уверяли, что этап высадят не в самом городе, а на какой-то Черной речке. Придется пешком шагать несколько километров до транзитки.

— Как же пойдем в бахилах? Кровавые мозоли натрем ...

— Давайте у Соловья портянки требовать ... Чтобы хоть плотно они на ногах сидели, эти трижды проклятые бахилы.

— Где он вам возьмет их?

— Чтобы этому Коршунидзе ярославскому так до конца жизни топаты!

— Он сам, что ли, их выдумал? Деталь туалета, созданного гениальной фантазией товарища Ежова, сталинского наркома, любимца народа ...

Бахил в одиночных тюрьмах иногда не хватало. Поэтому на некоторых этапницах была еще собственная обувь, та самая, в которой арестовали. С отваливающимися, перевязанными веревочками подметками, с отломанными каблуками ...

... В поведении конвоя тоже ощущалось близкое завершение путешествия. Ежедневно по многу раз считали и пересчитывали, писали и переписывали. Особенно переутомлялся Мищенко. Ему выпала непосильная задача переписать суздальских, перемещенных в седьмой вагон, отдельным списком. К этому делу он приступал уже трижды, каждый раз откладывая его окончание на завтра.

— Як ваше прозвище? — спрашивает он Таджихон Шадиеву.

— Что я, уголовная что ли, чтобы еще прозвища иметь, — обижается бывшая председательница узбекского колхоза. — С меня и фамилии достаточно.

— Ну, хвамилия?

— Шадиева.

— А националы?

— Узбечка.

— Та ни... Ни нация, а националы...

— Инициалами твоими интересуется, — подсказывает догадливая доктор Муська.

— Ах, инициалы? Т. А.

— Полностью, полностью ныцыалы, — требует обескураженный Мищенко.

Не меньше хлопот ему было и с немками.

— Гат-цен-бюл-лер...

— Тау-бен-бер-гер...

Мищенко отирает со лба холодный пот.

— Ныцыалы ваши?

— Шарлотта Фердинандовна...

Час от часу не легче... Эх, не такой бы харч за такую работенку!

... Во Владивосток прибыли ровно через месяц со дня выезда из Ярославля. Собственно, еще не во Владивосток, а где-то поблизости от него. Может быть, на Черную речку или как там еще называлась эта пустынная местность. Был поздний вечер, когда эшелон остановился. У вагонов уже ждал усиленный конвой, которому должен был с рук на руки сдать этап Соловей-разбойник. Оглушительно лаяли немецкие овчарки, прыгая на своих поводках.

— Выходь по пяти! Стройся давай!

Пахнуло близостью моря. Я почувствовала почти непреодолимое желание лечь ничком на землю, раскинуть руки и исчезнуть, раствориться в густо-синем, пахнущем йодом пространстве.

Вдруг стали раздаваться отчаянные голоса.

— Не вижу! Не вижу ничего! Что с глазами?

— Девочки! Руку дайте! Ничего не вижу . . . Что это?

— Ой, спасите! Ослепла, ослепла я!

Это была куриная слепота. Она поразила примерно треть пассажиров седьмого вагона сразу же при вступлении на дальневосточную землю. С сумерек до рассвета они становились слепыми, блуждали, протянув вперед руки и призывая товарищей на помощь.

Испуг заболевших, их отчаяние передавались всем. Конвой неистовствовал, устанавливая тишину, необходимую для сдачи-приемки этапа при пересчете поголовья.

Ох, как тут пригодилось то, что всего только три года тому назад выучила в медицинском институте доктор Муська.

— Девочки, не бойтесь! — кричала доктор Муська, тряся косичками и размазывая рукавом льющиеся ручьем слезы. — Слушайте меня, девочки, вы не ослепли, это только куриная слепота, авитаминоз А. Это от Ярославки, от седьмого вагона, климат приморский спровоцировал. Резкий переход. Перемена среды. Низкая сопротивляемость организма. Это излечимо. Это пройдет, слышите! Это только от сумерек до рассвета. Надо рыбий жир. Трех ложек достаточно. Не бойтесь, мои дорогие!

. . . До самого рассвета длится процедура сдачи-приемки. Рассвет. Невиданные оттенки лилового и сиреневого по краю неба. Ярко-желтое, точно нарисованное, солнце.

— Теперь я буду по-настоящему понимать японскую живопись, — говорит Нина Гвиниашвили, глядя на небо и одновременно наворачивая на ноги порванное надвое ярославское полотенце, чтобы дошагать в бахилах до транзитки.

. . . Опять длинная, шевелящаяся, серо-коричневая лента.

— Трогай давай! Направляющий, короче шаг! Предупреждаю: шаг вправо, шаг влево — будет применяться оружие . . .

Бахилы задвигались, увязая в песке. Я оглянулась назад. Там под лучами декоративного, великолепного солнца стоял, покривившись, старый грязно-багровый товарный вагон. На нем наискосок, от нижнего левого до верхнего правого угла было размашисто написано мелом: «Спецоборудование».

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ТРАНЗИТКА

Итак, настало утро. Утро 7 июля 1939 года. Мы все шли и шли. Предчувствие знойного дня уже настигало нас. Но пока что нам в лицо бил какой-то удивительный воздух, пахнувший свежестырированным бельем. Мы жадно глотали его. Он точно смывал



с нас грязь седьмого вагона. Дорога то поднималась, то опускалась, и на всем ее протяжении нам не встретился никто: ни человек, ни машина, ни лошадь. Точно вымер весь мир. И только нас, последних, домучивает иссякающая жизнь.

Мне казалось, что я сплю на ходу. Сплю и вижу во сне запах моря и пустынную дорогу. Только стоны и крики возвращали меня к реальности. Крики, как ни странно, были радостные. Это вчерашние слепцы радостно вопили: «Вижу!» Еще не все усвоили, что с наступлением вечера им предстоит ослепнуть снова.

Суздальские куда слабее нас, ярославков. Со своими бритыми головами они казались все одинаковыми, точно сошедшими с какого-то конвейера, фабрикующего ужасы.

Путь нескончаем. До сих пор не знаю, сколько там было километров. Конвоиры совсем осипли от окриков, овчарки тявкают лениво, как безобидные дворняги. Становится все жарче. Только бы не упасть... Ведь впереди транзитка, вожденная транзитка, где мужскую зону от женской отделяет только колючая проволока, где мы можем встретиться с мужчинами, с НАШИМИ мужчинами. Впереди, значит, шанс на встречу с мужем... Мы с готовностью верим этой легенде, рожденной безнадежно устаревшим тюремно-лагерным опытом наших эсерок и меньшевичек. Эта безумная надежда и ведет сейчас полуживые тени через непонятные спуски и подъемы нашего пути под все более яростным дальневосточным солнцем.

Вот и ворота транзитного лагеря. Они густо оцеплены колючей проволокой.

— Гав-гав-гав, — оживились конвоирующие нас немецкие овчарки, чуя близкое завершение своей ответственной миссии.

— По пяти, по пяти, проходь в ворота! — неистовствуют конвоиры, подталкивая вперед падающих.

В зоне вдоль проволочного ограждения стоят женщины, масса женщин. На них вылинявшие, заплатанные, рваные платья и кофточки. Женщины худы, измождены, лица их покрыты грубым пятнистым загаром. Это тоже заключенные, но они лагерницы. Их не коснулось мертвящее дыхание ярославских и суздальских одиночек. Женщины эти напоминают толпу нищих, беженцев, погорельцев. Всего только. А мы... Мы пришли из страшных снов.

И эта мысль отчетливо прочитывается на лицах встречающих нас лагерниц. Ужас. Пронзительная жалость. Братская готовность поделиться последней тряпкой. Многие из них плачут открыто, глядя на нас, наблюдая, как мы серой нескончаемой лентой вползаем в ворота. Доносятся приглушенные реплики:

— Ежовская форма... Бубновый туз...

— По два года и больше в одиночках . . .

— Тюрзак . . .

Тюрзак . . . Страшный зверь по имени тюрзак . . . Этому зловещему слову суждено почти десять лет висеть на наших шеях, подобно тяжелой гире. Тюремное заключение . . .

Мы были худшими среди плохих. Преступнейшими среди преступных. Несчастнейшими среди несчастных. Одним словом, мы были самые-рассамые . . .

Не сразу мы осознали тяжесть своего положения. Только позднее нам стало ясно, что, в отличие от Ярославля, где все мы были относительно равны, в этом новом круге дантова ада не было равенства. Оказывается, население лагерей делилось на многочисленные, созданные дьявольской фантазией мучителей «классы».

Впервые услышали мы здесь слово «бытовики». Это лагерная аристократия — лица, совершившие не политические, а служебные преступления. Не враги народа. Просто благородные казнокрады, взяточники, растратчики (с уголовниками, скрывающимися под тем же деликатным названием, мы встретимся немного позже. На транзитке их еще нет).

Бытовики очень горды тем, что они — не враги народа. Они люди, искупающие свою ошибку преданным трудом. В их руках все командные должности, на которые допущены заключенные. Нарядчики, старосты, бригадиры, десятники, дневальные — все это в подавляющем большинстве «бытовики».

Затем начиналась сложная иерархия «пятьдесят восьмой» — политических. Самой легкой статьей была пятьдесят восемьдесят. «Анекдотисты», «болтуны», они же по официальной терминологии «антисоветские агитаторы». К ним примыкали и обладатели буквенной статьи — КРД (контрреволюционная деятельность).

В большинстве случаев это были беспартийные. По лагерным законам этой категории можно было рассчитывать на более легкий труд и даже иногда на участие в администрации из заключенных. Реже проникали туда заключенные по статье ПЭША (подозрение в шпионаже). Самыми «страшными» до нашего прибытия были так называемые КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Это были лагерные парии. Их держали на самых трудных наружных работах, не допускали на «должности», иногда в праздники их изолировали в карцеры.

Наше прибытие влило бодрость в каэртедешников. В сравнении с тюрзаком, прибывшим из политизолятор, осужденных военной коллегией по террористическим статьям, меркли «преступления» КРТД. Прибыла мощная смена для работы на лесоповале, мелиорации, на колымском сенокосе.

По существу, различие между нами и КРТД состояло в сроках ареста. Они — так же как и мы, в основном коммунисты — были арестованы раньше нас, когда давали еще чаще всего КРТД 5 лет. Мы же, взятые в разгар ежовщины и бериевщины, получали уже по 10, а потом и по 20—25 лет тюремного заключения. Причем получался своеобразный парадокс: так как раньше брали тех, кто хоть как-то был связан с оппозицией, то в составе каэртедешников были люди, некогда голосовавшие неправильно или воздерживавшиеся при голосовании. А среди наших, несмотря на большие сроки и жесткий режим, сложившийся благодаря особенностям времени нашего ареста, преобладали ортодоксальные коммунисты, работники партийных аппаратов, партийная интеллигенция, не состоявшая в оппозициях. Но кто обращал внимание на это несоответствие?

— У патриархальных немок полагалось класть в основу жизни три, даже четыре «К» — Киндер, Кюхе, Кирхе, Клейдер, — шутили на транзитке наши, — а у нас сейчас складывается жизнь на четырех «Т» — троцкизм, терроризм, тяжелый труд.

И еще шутили в связи с медицинскими осмотрами, которые мы проходили на транзитке:

— Дышите, — говорит врач, прикладывая ухо, и спрашивает: — Какая статья?

— Тюрзак . . . 10 лет . . .

— Не дышите . . .

Да, дышать было трудновато. С цинизмом, уже никого не удивлявшим, лагерная медицина «комиссовала» в строгом соответствии со статьями и пунктами. Тюрзакам полагался «тяжелый труд» — первая категория здоровья. И ее ставили. Достаточно сказать, что за четыре часа до смерти «первую категорию здоровья» получила Таня Станковская.

Впервые мы столкнулись здесь с лагерной медициной и нам открылось новое в профессии врача. Во-первых, эта профессия может спасти ее обладателя от гибели потому, что он почти всегда нужен как врач, даже если у него «тюрзак». Во-вторых, врачу в лагере труднее, чем всем прочим смертным, сохранить душу живую, не продать за чечевичную похлебку совесть, жизнь тысяч товарищей. Его искушают ежеминутно и теплым закутком в «бараке обслуги», и кусочками мяса в баланде, и чистой телогреечкой «первого срока». Мы еще не знали, кто из наших товарищей-врачей устоит против соблазнов, кто выстоит (это стало видно уже на Кольме). Но все сразу заметили, что, став членом медицинской комиссии и прикрыв ярославскую формочку белым халатом, а бритую голову косынкой с красным крестом, Аня Понизовская из суздальской тюрьмы сразу перестала гор-

биться, а в голосе ее зазвучали металлические нотки, пока еще, впрочем, довольно мелодичные.

Транзитка представляла собой огромный, огороженный колючей проволокой, загаженный двор, пропитанный запахами аммиака и хлорной извести (ее без конца лили в уборные). Я уже упоминала об особом племени клопов, населявших колоссальный сквозной деревянный барак с тремя ярусами нар, в который нас поместили. Впервые в жизни я видела, как эти насекомые, подобно муравьям, действовали коллективно и почти сознательно. Вопреки своей обычной медлительности, они бойко передвигались мощными отрядами, отъевшиеся на крови предыдущих этапов, наглые и деловитые. На нарах невозможно было не только спать, но и сидеть. И вот уже с первой ночи началось великое переселение под открытое небо. Счастливчикам удавалось где-то раздобыть доски, куски сломанных клеток, какие-то рогожи. Те, кто не сумел так быстро ориентироваться в обстановке, пристылали на сухую дальневосточную землю все тот же верный ярославский бушлат.

Я никогда не забуду первую ночь, проведенную на транзитке под открытым небом. После двух лет тюрьмы я впервые видела над своей головой звезды. С моря доносилось дыхание свежести. Оно было связано с каким-то обманчивым чувством свободы. Созвездия плыли над моей головой, иногда меняя очертания. Со мной снова был Пастернак . . .

*Ветер гладил звезды  
горячо и жертвенно . . .  
Вечным чем-то,  
Чем-то жидущим, своим . . .*

Мелодию этих стихов пела почти на одной ноте телеграфная проволока. Воздушные волны с моря окончательно пересилили терпкий запах хлорки. Дело над собой усилие — и вот я ощущаю почти счастье. Ведь до утра, когда надо снова начинать жить, еще далеко. А сейчас — стихи и звезды и совсем недалеко море. Я снова напоминаю себе, что Владивосток — это порт, что отсюда ежедневно в далекие неведомые края устремляются пароходы. И, может быть, «Транзитка» — это только название парохода, на котором мы едем . . .

Закрываю глаза, отдаваясь головокружительной встрече с природой после такой долгой разлуки. Плыдем, плывем . . . Куда же он, наш Ноев ковчег? Мерцают над ним звезды, мерцают наши жизни — огоньки на ветру, зыбкие, неверные . . .

Утром, когда в предрассветных сумерках обозначились все цвета и оттенки, я замерла от восторга, увидев в углах двора редкие кустики крапивы и огромные пыльные лопухи. Они ошарашили меня своим зеленым великолепием. Я совсем забыла

о ядовитом нраве крапивы, любясь ее красотой. А доверчивые добродушные лопухи... Они ведь пришли сюда из дальней страны моего раннего детства, попали в такую даль с нашего абратского переулочного заднего двора.

— Подъем! Завтрак!

Еду привезли в походных кухнях, и мы сразу выстроились в огромные очереди. Давали очень горячую баланду и даже какие-то смертоносные «пирожки», от которых сразу удвоилось количество так называемых «поносников», составлявших наиболее многочисленный отряд нашего этапа.

Первые три дня, пока шла медицинская «комиссовка», наш этап еще не посылали на работу и время уходило больше всего на новые знакомства. С жадностью недавних одиночников мы говорили и не могли наговориться с лагерницами, большой этап которых находился здесь, на транзитке, уже больше месяца. И снова — судьбы, судьбы... Безумные по неправдоподобности и в то же время доподлинные. Трагические по сути, но часто состоящие из серии комических по своей несообразности эпизодов.

— Где-то мы с вами, товарищ, определенно встречались, — возбужденно говорила Софья Межлаук — жена заместителя Молотова, на этапе лагерниц, глядя на нашу Таню Крупеник.

— Да, мне ваше лицо тоже знакомо... Одно из двух: или мы видели друг друга в правительственном доме отдыха или в Бутырской тюрьме...

Все мы старательно разматывали клубок времени в обратном направлении. Каждая начинала с момента ареста и в тысячный раз мы слушали варианты все той же сказки про великого Лядоеда. Лагерницы знали куда больше нас. Во-первых, большинство из них были арестованы позднее, во-вторых, их режим, куда более мягкий сравнительно с нашим, допускал некоторое общение с вольными во время работы.

В тот день, когда я сидела в сторонке от всех, потрясенная смертью Тани Станковской, ко мне подошла молоденькая девушка с милым, похожим на крепкое яблочко лицом и сказала тихо:

— Не мучайтесь так о подруге. Здесь умирают слишком часто, чтобы позволять себе так реагировать на смерть. Переключите мысль на другое. Например, на вашу семью, там, на воле. Остался кто-нибудь?

— Дети... Родители... Муж взят.

— Так вот. Я работаю за зоной. Пишите письмо. Опущу в ящик. Получат.

Возможность послать маме письмо, не имея в качестве соавтора ярославского цензора! Это уже чего-нибудь стоит...

И я усеиваю два крохотных блокнотных листика микроскопическими буквами, чтобы больше уместилось. Блокнот, из которого девушка вырвала эти два листика, сунув его обратно довольно небрежным движением в карман, кажется мне настоящим чудом, как будто она вынула из кармана горсть бриллиантов. И так небрежничать с такой вещью! Окончательно захлебываюсь от изумления и восторга, когда моя благодетельница с такой же небрежностью дает мне конверт . . . Настоящий конверт с маркой!

Я все еще не верю счастью и отдаю ей готовое письмо с таким чувством, с каким, наверно, потерпевшие кораблекрушение бросают в море бутылки с мольбой о помощи.

Эта двадцатидвухлетняя Аллочка Токарева из лагерного этапа (статья КРД — срок 10 лет), почувствовавшая ко мне симпатию, была в течение всего месяца, проведенного мной на владивостокской транзитке, моим добрым гением. Она очень тактично и доброжелательно вводила меня в новый для меня мир, обучала лагерному «savoir vivre».

— Когда будут всякие документы на вас заполнять, — учила она меня, — говорите, что вы до филологического учились на медицинском и дошли до четвертого курса.

— Зачем? — поражалась я.

— Если на Колыме понадобятся медсестры, это ваше медицинское образование могут вспомнить. Будете медсестрой . . . В помещении. Не на кайловке, не на лесоповале . . .

— Так ведь это ложь! Я ведь все равно не смогу работать медсестрой . . .

— Чего там не смочь! Людям еще лучше, если порядочный человек на такой работе. Будете доходяг спасать. Взятки брать от них не будете . . .

— А лечить?

— Не смешите . . . В лагере лечат одним — освобождение от работы на день-два . . .

— Не могу врать . . .

— Надо научиться . . .

Такие речи в устах молодой девушки с круглым ребяческим «яблочным» личиком казались продолжением великого Безумия.

Но на первых порах я была не очень понятливой ученицей и сразу же испортила отношения с личностью, облеченной великой властью, с некоей Тамарой, носившей высокий титул «начальника колонны».

Тамара была первым настоящим лагерным «придурком», с которым меня свела судьба. Как ни странно, она была политическая «пятьдесят восьмая». У нее даже, кажется, было КРТД. И уж если она, несмотря на эту статью, сумела занять такую

должность, то значит... Но все это мне стало ясно позднее. А тогда, узнав, что Тамара — бывший комсомольский работник из Одессы, я запросто подошла к ней с вопросом, не прибыли ли вместе с нами и наши личные вещи с Ярославки. Вопрос этот был для меня очень острым, потому что красные домашние тапочки, которыми я измерила сотни километров по одиночной камере, совсем развалились, бахил мне не выдавали, и я оказалась практически совсем босиком. В личных моих вещах находились мои старые, но еще вполне крепкие черные туфли, и я мечтала о них страстно, даже во сне их видела.

Свой вопрос я задала, конечно, в самой вежливой форме, называя Тамару товарищем, как принято было у нас, транзитов.

— Видала малахольную? — обратилась Тамара к своей заместительнице из бытовичек, следовавшей за ней по пятам.

Красивое правильное лицо Тамары, нормально окрашенное в розовый цвет и выделявшееся этим среди наших серо-желтых лиц, стало красным от гнева. Как я узнала потом, она принадлежала к типу тех «придурков», которые всегда находятся в состоянии «подогрева» и ждут только случая, чтобы напустить на кого-нибудь.

— Чемоданы ваши еще не прибыли, мадам-туристка, — издевательски бросила она мне в лицо. — И товарищем меня не зови! Свиной с тобой вместе не пасла... А по делишкам своим обращайся к своему старосте, а не ко мне...

Все это она кричала фальцетом, постукивая кулаком по столу, привлекая к себе и ко мне всеобщее внимание. Ее гнев на меня за нарушение субординации, за тон равной полыхал не меньше пяти минут.

Я углубила инцидент, сказав в ответ:

— Извините, вы действительно не товарищ, — я ошиблась.

Нажила себе ни с того ни с сего могущественного смертельного врага. Это обрело конкретные очертания уже на третий день, когда меня, еле стоящую на ногах от истощения, цинги, дистрофического поноса, направили на работу по разгрузке каменного карьера.

Между прочим, некоторые одесситки, знавшие Тамару «по воле», говорили, что до ареста она была очень хорошей дивчиной, активной комсомолкой, приветливой и доброжелательной к людям. Потом я нередко встречала образцы такого полного смещения личности в условиях лагерной борьбы за существование. Прежнее оказывалось у некоторых вытесненным окончательно. На его месте возникал другой человек, и этот человек был страшен.

Это были как бы деревянные куклы-марионетки, без привязанностей, без душевной жизни и, главное, без памяти. Такие

люди никогда не вспоминали о воле, о человеческом периоде своей жизни. Эти воспоминания обременяли бы их.

Одесситки, находившиеся на транзитке, отлично знали это и никогда не подходили к Тамаре как старые знакомые. Став Иванов, родства не помнящим, она этим как бы ограждала себя от осуждения своих поступков, а главное — тех событий, жертвой которых стала и она сама. Ее постоянное состояние «подогрева» и так называемая «раздражительность», то есть готовность скандалить и оскорблять людей, находящихся под ее властью, объяснялись презрением к людям и подспудным страхом перед ними. Своих многочисленных угодников и подхалимов Тамара снисходительно презирала. Тех же, кто молчанием и взглядами показывал, что понимает механизм ее деятельности, она остро ненавидела и преследовала.

Я своим наивным обращением «товарищ» вызвала в ней воспоминания о том прошлом, которое она считала несуществующим, которое мешало ее сегодняшней карьере. Поэтому она и ответила мне таким взрывом. После столкновения с ней я стала догадываться о сущности этого психологического типа, выявленного условиями лагерей. И всегда при встрече с Тамарой вспоминала строки Блока:

*Как страшно мертвецу среди людей  
живым и страстным притворяться!  
Но надо, надо в общество втираться,  
скрывая для карьеры лязг костей.*

Много таких духовно мертвых людей я встречала потом на своем лагерном пути. В тюрьме таких не было. Тюрьма, особенно одиночная, наоборот, возвышала людей, очищала их нравственно, раскрывала все глубинные алмазы и золотые россыпи души.

... В каменном карьере мне довелось узнать, что такое каторжные работы. Установилась июльская жара. Беспощадные дальневосточные прямые ультрафиолетовые лучи. От камня даже на расстоянии пышет адским жаром. И главное — мы, больше двух лет не видевшие лученьшка, отвыкшие в одиночках от всякого физического действия, больные цингой и пеллагрой... После доконавшего нас седьмого вагона. Именно нам предстояло справляться с этими земляными и «каменными» работами, требующими даже от мужчин большой силы и выносливости.

Удивительно, как редки были на этом солнцепеке солнечные удары. Я вспоминаю только два случая. Один раз это была Лиза Шевелева, личный секретарь Елены Стасовой по коминтерновской работе. Она потом умерла в магаданской больнице заключенных, сразу после морского этапа. Другой была Верико Дум-



бадзе, девочка, арестованная за отца в возрасте 16 лет. Их отнесли на тех же носилках, на которых мы таскали камни, в больницу, но уже через два дня обе были снова выписаны на работу.

В уме все время пронеслись разные книжные ассоциации. Новая Каледония. Жан Вальжан на каторге. Каторжник, прикованный к тачке . . . Вот как оно, оказывается, выглядит все это в жизни.

Придурки транзитки не уставая твердили нам, что эта работа — суший рай для наших статей и сроков. Ведь с нас пока не требуют нормы. А еду дают как за сто процентов. Вот на Колыме будет другое. Там норму подай! А здесь так, просто передышка для вас в ожидании морского этапа. Несмотря на такой либерализм, у многих из нас открылись на ногах трофические язвы. По ночам, хоть они и проходили под открытым небом, трудно было заснуть от натруженного дыхания, стонов и вскриков сотен голосов. На зубах все время скрипела каменная пыль.

У многих уже начиналось лагерное отупение. Они уже научились смотреть как-то точно сквозь туман, точно мимоходом и на умирающих, и на больных куриной слепотой, бродящих по вечерам с поводьями, протягивая вперед дрожащие руки, и на орды клопов, ползавших по нам. У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья оборвавшейся ежовской формочки напоказ.

Но это было меньшинство. Огромное большинство активно сопротивлялось. Еще любовались и летучими утренними туманами, и удивительными фиолетовыми закатами, горевшими над нами в час возвращения из каменного карьера, еще радовались близкому соседству с огромным флотом, которое ощущалось каким-то шестым чувством. И стихи . . . Мы все еще читали их друг другу по ночам. Мы все еще жили в том сладостно-горьком мире чувств, которым так щедро дарила нас ярославская одиночка. Я инстинктивно чувствовала: пока меня волнует и этот ветер, и эти пламенные звезды, и стихи, — до тех пор я жива, как бы ни тряслись ноги, как бы ни гнулся позвоночник под тяжестью носилок с раскаленными камнями. Именно в том, чтобы сохранить в душе все эти последние сокровища, и заключалось теперь сопротивление наступающему на нас страшному миру.

Уже появились среди нас люди, затосковавшие по одиночным нам.

— Честное слово, было лучше. Все-таки было чисто. И были книги. И не было этого отупляющего скотского труда.

— Если бы нас не вывели, мы бы умерли там все не позднее будущего года от цинги . . .

— А сейчас! Вы думаете дожить до будущего?

... Однажды на рассвете, когда в разрывах облаков еще трепетали побледневшие звезды, весь наш табор был разбужен Надей Лобициной. Надя была эсеркой и, несмотря на свой тридцатилетний возраст, казалась нам живым анахронизмом. Очки, старомодная прическа и манера говорить — все это были детали образа курсистки девятисотых годов. Но в этот момент Надя вела себя как таежный следопыт или вождь краснокожих из майнридовской книжки. Она приложила ухо к земле и слушала, приподняв палец. Потом вскочила с доски, на которой спала, и свистящим шепотом объявила:

— Идут! Этап идет... огромный... Мужчины, наверно! Мы ведь говорили вам...

Многие с сожалением посмотрели на Надю. Галлюцинации? Психоз? Ничего удивительного...

Но эта фантастика оказалась чистой правдой. Этап пришел. Огромный мужской этап, параллельный нашему, тоже тюрзаковский, из Верхнеуральского политизолятора. Тоже одиночки. Тоже в основном коммунисты. Мужчины, НАШИ мужчины!

Так сбылось предсказание эсерок в одной своей части. Только встречи с родными стали теперь, при гигантском масштабе всего действия, почти невозможны. Я уже писала, что одной только Павочке Самойловой посчастливилось встретить брата.

Нас не гонят от проволоки, отделяющей нашу зону от мужской. И мы смотрим, смотрим не отрывая глаз на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги в таких же бахилах, как наши, ярославские. На них те же ежовские формочки, только штаны с коричневой полосой выглядят еще более каторжными, чем наши юбки. И хотя мужчины, казалось бы, сильнее нас, но мы все жалеем их материнской жалостью. Они кажутся нам еще более беззащитными, чем мы сами. Ведь они так плохо переносят боль (это было наше общее мнение!), ведь ни один из них не умудрится так незаметно выстирать бельишко, как это умеем мы, или починить что-нибудь... Это были наши мужья и братья, лишённые в этой страшной обстановке наших забот.

— Бедный, и пуговку некому пришить... — вспомнил кто-то эту формулу женской любви из раннего эренбургского романа.

Каждое лицо кажется мне похожим на лицо моего мужа. У меня уже ломит виски от напряжения. Кругом меня все тоже вглядываются. И вдруг...

Вдруг кто-то из мужчин, наконец, заметил нас:

— Женщины! НАШИ женщины!

Я не умею описать того, что произошло потом. Не нахожу

слов. Это было подобно мощному электротоку, который разом одновременно пронизал всех нас, по обе стороны колючей проволоки. Как ясно было в этот момент, что в самом сокровенном мы все похожи друг на друга! Все подавляемое в течение двух долгих лет тюрьмы, все, что каждый поодиночке носил в себе, вырвалось наружу и бушевало теперь вокруг нас, в нас самих, казалось даже в самом воздухе. Теперь и мы и они кричали и протягивали друг другу руки. Почти все плакали вслух.

— Милые, родные, дорогие, бедные!

— Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь!

Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон.

После первого взрыва начались поиски своих. В ход пошла география. Причем партийная география. Так как огромное большинство заключенных мужчин это были арестованные коммунисты, то переключка, начавшаяся между нами, выглядела примерно так:

— Ленинград — обком партии!

— Из Днепропетровского обкома комсомола есть кто?

— Уфимский горком! Здесь ваш первый секретарь!

Потом начали перебрасываться «подарками». Душевное напряжение жаждало излиться действием. Каждый по обе стороны хотел отдать что-то свое. Но ни у кого ведь ничего не было. И началось такое:

— Возьмите вот полотенце! Оно еще не очень рваное!

— Девочки! Котелок кому надо? Сам сделал, из краденой тюремной кружки . . .

— Хлеб, хлеб держите! После этапа ведь отощали вы совсем . . .

Сразу начались бурные романы. Эти человеческие существа, уже почти бесплотные, соприкоснувшись друг с другом, сразу, как по волшебству, приобрели утраченную от безмерных страданий остроту восприятия мира. Завтра их разведут в разные стороны, и они никогда больше не увидятся. Но сегодня они взволнованно смотрят в глаза друг другу через ржавую колючую проволоку и говорят, говорят . . .

Более высокой, самоотверженной любви, чем в этих однодневных романах незнакомых людей, я не видела в жизни. Может быть потому, что тут любовь действительно стояла рядом со смертью.

Ежедневно мы получали от наших мужчин длинные письма. Коллективные и индивидуальные. В стихах и в прозе. На засаленных листочках бумаги и даже на обрывках тряпок. В трепетной чистой нежности этих писем выливалась их поруганная мужественность. Мы были для них собирательным образом женствен-

ности. Они цепенели от тоски и боли при мысли, что над нами, ИХ женщинами, прodelывалось все то нечеловеческое, через что прошли они сами.

Я помню начало первого коллективного письма. «Родные вы наши! Жены, сестры, подруги, любимые! Как сделать, чтобы вашу боль переложить на нас? . . .»

Несмотря на то, что и в мужской и в женской зонах была масса народа, знакомых «по воле» почти не было. Те, кто встретил хотя бы земляков, считались счастливыми. Из Казани в этом этапе был смешной молоденький татарский поэт, бывший детдомовец, избравший себе увлекательный псевдоним — Гений Республиканец. Но за то, что он из Казани, я прощала ему даже этот псевдоним. Часами мы с ним стояли у разделяющей нас проволоки, без конца перечисляя казанские фамилии. Просто фамилии. Как заклинания. Как подтверждение того, что они не приснились мне, все эти ученые, поэты, партийные работники. Что на свете живут не только жандармы, придурки, вохровцы и доходяги.

Судьба этого мужского этапа была трагична. Их очень быстро, не дав оправиться после поезда, стали грузить на пароход для отправки на Колыму. От транзитки до порта надо было идти пешком сколько-то (порядочно!) километров. В день этапа произошла какая-то задержка с выдачей хлеба, и мужчин погнали голодных. Пройдя несколько километров по солнцепеку, они стали падать, а кое-кто и умирать. Остальные тогда сели на землю и заявили, что, пока не выдадут хлеба, они дальше не пойдут.

Организованные протесты случались не часто среди привычных к дисциплине заключенных — бывших коммунистов. Охрана и конвой обезумели. С перепугу наделали много лишнего. Они толкали мертвых сапогами по методу лекарей бравого солдата Швейка («Уберите этого симулянта в морг!»). Они убили несколько волочивших ноги людей «при попытке к бегству». А остальных все-таки пришлось вернуть на транзитку еще на неделю.

Как всегда после взрыва репрессий, стали немного подкармливать. Участились те самые смертоносные «пирожки», баланда стала гуще. Пирожки эти, как теннисные мячики, летали через проволоку, потому что наши милые товарищи все хотели отдать их нам, а мы не брали, перебрасывали обратно, уверяя, что очень сыты.

Аллочка Токарева, у которой завязался пламенный роман с одним парнем из Харькова, простаивала у проволоки целые ночи напролет. Глаза ее горели фанатичным блеском. От ее лагерного благоразумия не осталось и следа. Она готова была, если надо, броситься с кулаками на «начальника колонны» —

самодержицу Тамару. Но та смотрела очень равнодушно на «эту беллетристику». Никакой серьезности она не усматривала в платонических излияниях у проволочного заграждения.

— Пусть их — лишь бы счет сходился при проверке... На то и транзитка...

... Наша бригада по разгрузке каменного карьера становилась все меньше. Авитаминозный понос косил людей, превращал их в тени. В больницу, как правило, попадали только явные смертники, да и то не все. Остальные лежали вповалку на земле или на нарах, вскакивая ежеминутно, чтобы бежать в уборную. Те, кто еще держался на ногах, приходя с работы, подавали больным желтую, пахнущую гнилью воду из бочек, а иногда, придя в отчаяние, бежали за «лепкомом», который совал грязными пальцами в раскрытые высохшие рты таблетки сала.

Сроки пребывания на владивостокской транзитке были очень различны и для отдельных заключенных, и для целых этапов. Для некоторых это был только перевалочный пункт, с которым расставались через несколько дней. Другие находились здесь целыми месяцами. А отдельные «придурки», сумевшие приспособиться к требованиям здешнего начальства, жили здесь годами.

Пути из транзитки шли в разные стороны. Господин УСВИТЛ (Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей) был богатым помещиком. Его экономии расстилались на огромных просторах этого края. Но тюрзаку, как правило, путь лежал только на Колыму. Странная психологическая загадка, — это слово, пугавшее всех на воле, не только не пугало, но даже как-то обнадеживало нас, обитателей транзитки.

— Скорей бы уж в этап!

— На Колыме хоть сыты будем!

— Любой мороз лучше этого пекла!

В таких возгласах изливалась сокровенная потребность человеческой души в надеждах. Пусть самых призрачных. Очень влияли на настроение и те слухи о Колыме, которые распространяли по транзитке некоторые бытовики-рецидивисты, уже побывавшие там. Их рассказы, правда, относились к периоду 34—35 годов, но все равно выслушивались с жадностью. Сдобренные хорошей дозой вранья и хвастовства, эти повествования создавали образ некоего советского Клондайка, где инициативный человек (даже заключенный!) никогда не пропадет, где сказочные богатства, вроде огромных кусков оленины, кетовой икры, бутылок рыбьего жира, в короткий срок возвращают к жизни любого доходягу. Не говоря уже о золоте, на которое можно выменивать табак и барахло.

— Самое главное, не тушуйтесь, девчата! Колыма — она всех примет, накормит и оденет! — так рассказывал желтоволосый молодой «придурок» по имени Васек-растратчик. Васек составлял списки этапов, всегда знал кучу новостей и охотно делился ими. Он бывал на Колыме уже дважды, а сейчас отбывал третий срок за растрату, совершенную в Магадане. Колымскому патриотизму Васька не было пределов.

— Что, жарко? — жалостливо осведомлялся он, проходя мимо нашей бригады каменщиков, изнемогавшей от зноя. — Ничего, скоро на Колыму поедете. Там прохладно.

И Васек запевал пронзительным голосом:

*Колыма ты, Колыма, дальняя планета,  
двенадцать месяцев зима, остальное — лето . . .*

По складу природы Васек-растратчик был похож на горьковского Луку. Он не упускал случая утешить страдающего ближнего своего. Даже для больных куриной слепотой он находил слова надежды. И его жадно слушали.

— Ничего, девки, вам только до Колымы добраться бы! Там, знаешь, как морзверя есть будете? Килами! Прямо в зоне, в бочках стоит, вот как здесь вода! Живой витамин А, спроси хоть лекпома! Для глаз, главное дело, лучше нет. Как сжуешь куска два-три, — и все! И забудешь про куриную слепоту.

И для пожилых женщин, которых в этапе было, правда, немного, но которые страдали больше нас, молодых, Васек-растратчик изыскивал радостные перспективы.

— Не тушуйся, мамаша, само главное — не тушуйся! На Колыме ты еще не старуха будешь. Там знаешь, как говорится? Сорок градусов — не водка, тысяча верст — не дорога, тысяча рублей — не деньги, шестьдесят градусов — не мороз, а шестьдесят лет — не старуха! Мы тебя, мамаша, еще замуж отдадим, увидишь!

И хотя всем было ясно, что Васьковы рассказы надо, как говорили наши следователи, «перевести на язык тридцать седьмого года», все ж его речи об обетованной земле, стране Колыме, как сладкий яд проникали в сознание многих.

Все чаще стали наши бредовые ночи, наряду со стонами и скрежетанием зубов, прорезываться возгласами:

— Хоть бы уж скорее на Колыму!

И Васек-растратчик, ведавший этапными списками, стал частенько подмигивать нам, шепча своим утешительным голоском:

— Скоро уж!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  
ПАРОХОД «ДЖУРМА»

Это был старый, выдавший виды пароход. Его медные части — поручни, каемки трапов, капитанский рупор — все было тусклое, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключенных, и вокруг него ходили зловещие слухи: о делах о том, что в этапе умерших эков бросают акулам даже без мешков.

Нас почему-то долго не принимают на борт, и мы несколько часов качались в огромных деревянных лодках, стоявших на причале, у набережной. Экипаж «Джурмы» неторопливо готовлял судно к рейсу. Мы видели матросов, гоняющих по палубе тяжелые веревочные швабры, видели капитана и штурмана, бесцеремонно разглядывавших нас в бинокли.

День отплытия был пасмурный, с низкими неподвижными тучами над головой. Только временами в тучах возникали промоины и сквозь них просачивались столбы солнечного света. Куски грязновато-серой пены бились об иллюминаторы. Казалось, даже воздух насыщен тревогой и ожиданием беды. И все-таки ко всему примешивалось еще и любопытство. Ведь как бы то ни было, а мне предстоял первый в моей жизни морской переход.

Сидеть в лодке было очень неудобно и томительно. В тесноте затекали ноги, от голода и морского воздуха кружилась голова и все время поташнивало. Но самое ужасное — это было пение. Даже сейчас, спустя 25 лет, я краснею от стыда при воспоминании об этой «художественной самодеятельности», хотя лично я за нее не в ответе. Ведь это не мне и не моим друзьям пришла в голову идея затянуть зазорные комсомольские песни.

Ира Мухина на воле была балериной, сидела по шестому пункту, за какой-то ужин с иностранными поклонниками своего таланта. Вид открывшихся перед нами водных просторов навел ее на мысль о Волге. Она запела:

— «Красавица народная, как море полноводная . . .»

Несколько голосов подхватило:

— «Как родина, свободная . . .»

— Замолчите, сейчас же замолчите, — кричала Тамара Варашвили, — где ваше человеческое достоинство?

— Чего ты хочешь от этой капеллы из края непуганых идиотов? — с гримасой глубокого отвращения перебивала ее Нина Гвиниашвили.

Обиженные хористы демонстративно перешли на фортиссимо. Напрасно Аня Атабаева, бывший секретарь райкома партии из Краснодара, пыталась своим басовитым голосом перекричать их, убеждая, что в этой обстановке такое пение о свободной родине может быть воспринято как насмешка и вызов.

Ах, какой там вызов! Я лично восприняла этот хор как постыдное пресмыкательство. До сих пор с содроганием вспоминаю, как заулыбались капитан «Джурмы» и его штурман, как они зашептались и стали передавать из рук в руки бинокль, чтобы получше разглядеть оригинальных любительниц хорового пения.

Посадка . . . Посадка . . . Какие-то подъемы, спуски, карабканье по утлым лесенкам. Кажется, я держусь на ногах только потому, что упасть некуда. Мы движемся плотной массой, я льюсь, как капля этой серой волны. Я больна. Я совсем больна. Еще утром в день этапа у меня был сильный жар и неудержимый цинготный понос. Я скрыла это, чтобы не отстать от этапа, от друзей. И сейчас во время посадки на «Джурму» сознание мое по временам потухает и я живу в отрывочном, не совсем связном мире.

Наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. Нас много, очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. Сидим и лежим прямо на грязном полу, друг на друге. Сидим, раздвинув ноги, чтобы между ними мог поместиться еще кто-нибудь. Ах, наш седьмой вагон! Как он был, оказывается, комфортабелен! Ведь там были нары.

Но лишь бы скорее отплыть. Нам кажется, что пароход сейчас отвалит. Мы слышим, как корпус его трется о пирс, поскрипывает. Слышим, как снуют возле парохода какие-то лодки, ялики, катеры. Вроде весь этап уже погружен. Вот провели мужчин в соседнюю часть трюма.

Но нет, самое страшное было еще впереди. Первая встреча с настоящими уголовниками. С блатнячками, среди которых нам предстоит жить на Колыме.

Нам казалось, что в наш трюм нельзя больше вместить даже котенка, но в него вместили еще несколько сот человек, если условно называть людьми тех исчадий ада, которые хлынули вдруг в люк, ведущий к нам в трюм. Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые «стервы» — рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйно помешанным.

Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матершинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая четку даже там, где негде было поставить ногу. Они сию же минуту принялись терроризировать «фраерш», «контриков». Их приводило в восторг сознание,



что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, — враги народа!

В течение пяти минут нам были продемонстрированы законы джунглей. Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, вытаскивали с занятых мест. Началась паника. Некоторые из наших открыто рыдали, другие пытались уговаривать девок, называя их на «вы», третьи звали конвойных. Напрасно! На протяжении всего морского этапа мы не видели ни одного представителя власти, кроме матроса, подвозившего к нашему люку тележку с хлебом и бросавшего нам вниз эти «пайки», как бросают пищу в клетку диким зверям.

Спасла нас Аня Атабаева, секретарь райкома партии из Краснодара, плотная смуглая женщина лет 35, с властным низким голосом и большими руками бывшей грузчицы. Она размахнулась и изо всей своей богатырской силы двинула по скуле одну из девок. Та рухнула, и в трюме на секунду воцарилась изумленная тишина. Аня воспользовалась этим и, вскочив на какой-то тюк, возвысившись таким образом над толпой, отпустила громовым голосом такую пулеметную очередь отборной ругани, что блатнячки обомлели. Жалкие твари, они были столь же трусливы, сколь подлы. Аня первая из нас поняла, что к ним относится поговорка: «Молодец среди овец, а на молодца и сам овца».

Сила, исходившая от всей Аниной личности, загипнотизировала их. К тому же и форма, в какой эта сила была выражена, оказалась доступной их пониманию.

— Кто такая? — спрашивали они друг друга, со страхом и уважением поглядывая на оригинальную «фраершу». Из разных углов трюма понесся пущенный кем-то из наших ответ: «Староста! Староста!»

Это было им понятно. Староста. Она может дать по морде, а то и упрятать в «кандей».

— Отдать хлеб и барахло! — командовала Аня страшным голосом.

И они отдали. Мат, конечно, продолжал висеть в воздухе, продолжались и визги, и непотребные песни, но активная агрессия против «политиков» была приостановлена.

... Плыдем. Кажется, уже третьи сутки. Дни и ночи слились. Открываю глаза и вижу гроздь человеческих лиц. Воспаленные глаза, бледные, грязные щеки. Терпкая вонь. Особенной качки нет, но тех, кто сильно ослабел, все же рвет. Прямо на соседок, на кучи грязных узлов. Впервые на нашем, уже почти трехлетнем скорбном пути появляются вши. Их принесли блатнячки. Жирные белые вши ползают прямо поверху, не давая себе труда прятаться в швах одежды.

Это был один из счастливых, вполне благополучных рейсов «Джурмы». Нам повезло. С нами не случилось никаких происшествий. Ни пожара, ни шторма, ни затопления, ни стрельбы по беглецам. Вот Юлия моя, оставшаяся из-за болезни на транзитке на две недели дольше меня, ехала потом на той же «Джурме» и случился пожар. Блатари хотели воспользоваться паникой для побега. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. А вода эта от пожара закипела. И над «Джурмой» потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона.

С нами никаких подобных ужасов не приключилось. Мы просто «шли этапом» на «Джурме». К нам был даже проявлен гуманный подход. Иногда люк оставляли открытым, и мы видели кусок торжественно неподвижного неба над морем. Мы плыли, а оно все стояло над нами. А потом, когда поносников стало уж очень много, нам разрешили даже выходить по лестнице на нижнюю палубу в галюн.

Однажды я упала на этой лестнице, потеряв сознание. Очнувшись через несколько секунд, услышав над головой волшебные слова:

— Вам очень плохо, товарищ?

Мужской голос. Интонация интеллигентного человека. Это врач, заключенный врач. Он следует на Колыму тем же этапом. Его используют как врача в тюремном изоляторе. Неужели есть такое лечебное учреждение? Кого же туда класть? Разве в этапе есть здоровые? А-а... Оказывается, тех, у кого высокая температура. И, кажется, я как раз отношусь к таким, потому что — по крайней мере на ощупь — доктор считает, что у меня не меньше тридцати девяти.

Еще несколько фраз с обеих сторон, и выясняется, что на воле доктор Кривицкий вовсе не был доктором. Он был заместителем наркома авиационной промышленности. А медицину изучал еще до революции, когда был в эмиграции, в Цюрихе. Что? Я из Казани? Он года три назад был в Казани на открытии авиационного завода. Аксенов? Председатель горсовета? Ну как же, он знает... Позвольте, — замнаркома ведь знакомился с его женой! Такая дама... Это... это были вы?

... Да, Кривицкий не обманул. В больничном изоляторе были нары. А на них впритирочку друг к другу лежали вповалку все больные. ВСЕ! Мужчины и женщины. Политики и блатари. Поносники и сифилитики. Еще живые и те мертвецы, до которых руки не дошли, чтобы вытащить. В углу стояла огромная параша, которой ВСЕ — и мужчины и женщины — пользовались открыто, на глазах у всех.

У меня оказалось сорок и три. Меня втиснули между мужчиной и женщиной на нижние нары. По протекции доктора Кривицкого. Соседом слева оказался рослый бандюга. Он лежал почти голый, в бреду кричал страшное, и мне казалось, что огромный алчный орел, вытатуированный на его груди, сейчас клюнет меня своим клювом, прихоронившимся как раз на высоте моего носа. Справа стонала Софья Петровна Межлаук, жена заместителя Молотова.

— Если я умру, передайте моей дочери, что я ни в чем не виновата, — повторяла она все время, хватая меня за руки.

Кажется, это был субботний вечер и наверху, в капитанской рубке, веселились. Шаркали ноги танцующих. А фокстрот все время повторяли один и тот же:

*Сумерки тихо спускались,  
Звезды сплелись в хоровод . . .  
В шумном большом ресторане  
Кэтти танцует фокстрот . . .  
Ах, ах, ах . . .*

Мне снова кажется, что я играю роль в каком-то кинофильме. Сейчас снимем крупным планом шаркающие ноги танцующих. Потом — таким же крупным — голые ляжки вот этого старика, сидящего на параше. Дрожащие, тощие, как у ободранного петуха, покрытые синей кожей . . . Нет, этого, наверно, нельзя снимать, это будет грубый натурализм.

Наверху хохочут все громче. Выпила, видно, здорово. И опять: «Кэтти танцует фокстрот. Ах-ах-ах . . .» Что у них, других пластинок нет, что ли?

Мне надо в уборную. Нет, нет, не могу я здесь. Они почти мертвецы, но они мужчины. Пойду наверх . . .

Я нечеловеческим усилием подтягиваюсь на локтях, и мое тело выдавливается из глубины нар. Кривицкий спит в закутке, отведенном для врача. Как хорошо быть врачом! Он спит на двух отдельных табуретках . . . Хорошо, что он спит. Ни за что не позволил бы мне идти наверх, специально предупредил, чтобы не смела, что могу умереть на ходу.

Поднимаюсь по крутой парходной лестнице почти на четвереньках. Долго поднимаюсь. Наверно, час. Наконец вижу над головой звезды, сверкающие в графитно-черном небе. Тьму пререзают вымпелы дыма от парохода. Вот и палуба. Я вижу воду. На ней пляшут огни «Джурмы».

И вдруг я сбиваюсь с пути. Я знаю, что уборная где-то рядом, но я не понимаю, как дойти до нее. Такое уже было со мной однажды в Ярославке после нижнего карцера. Это очень страшно. Человек, не знающий, куда ему идти, это уже не человек. Ощу-

пываю стены, как слепая. Мне кажется, что дым от парохода застилает мне глаза. Я уже почти ничего не вижу. Но ведь здесь умирать никак нельзя. Среди моря. Бросят за борт, акулам. Даже без мешка. Господи, ну подожди до Магадана! Пожалуйста, Господи, молю тебя . . . Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я человек. А ТЫ ведь сам сказал: «Из земли взят и в землю . . .»

(Недавно, уже в шестьдесят четвертом, я прочла в рассказе Сент-Экзюпери такие слова: «То, что я выдержал, клянусь, не выдержало бы ни одно животное». Это говорил летчик, заблудившийся во время бури на чилийских склонах Анд.)

Потом я высчитала, что это было на шестой день морского этапа. Подобрал меня все тот же Кривицкий, проснувшийся и заметивший мое отсутствие. Но об этом я узнала много позднее, так как в сознание пришла только через двое суток, в тот день, когда «Джурма» завопила радостным голосом, увидя из-за гряды сопок очертания уже близкой бухты Нагаево.

Доходяг выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берегу аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться в количестве, чтобы не было путаницы с актами о смерти. Мы лежали прямо на прибрежных камнях и смотрели вслед нашему этапу, удалявшемуся по направлению к городу, на встречу пыткам коллективной бани и дезкамеры.

Так мы лежали до глубокой ночи, и оставшиеся с нами конвоиры уже крыли недобрыми словами начальников, по-видимому забывших о брошенных доходягах. Потом оказалось, что не было машин. В этот день ушло несколько больших этапов в тайгу и машины были угнаны.

Стоял август. Но Охотское море все равно отливало безжалостным свинцовым блеском. Я все старалась повернуть голову так, чтобы увидеть свободный кусок горизонта. Но это не удавалось. Лиловые сопки высились кругом, как тюремные стены. Я еще не знала, что это особенность Колымы. За все годы жизни на ней мне ни разу не удалось прорваться взглядом к свободному горизонту.

Конвоиры, продрогшие и изозлившиеся, развели костер. Над костром клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым заревом огня.

— Вы видели когда-нибудь на карте этот географический пункт? — спросила вдруг обычным будничным голосом лежавшая рядом со мной коминтерновская немка Мария Цахер.

Нет, я не видела его на карте, этот пункт. Я вообще была раньше чудовищно безграмотна. Я не знала ни карты Колымы, ни фокстрота про Кэтти, танцующую в шумном большом ресторане. Я не знала, что людей можно выбрасывать акулам прямо так, без мешков . . . Теперь я все это знаю.

На небе забрезжили удивительные оттенки лилового и сиреневого. Близился мой первый колымский рассвет. Я вдруг почувствовала странную легкость и примиренность с судьбой. Да, это чужая и жестокая земля. Ни моя мать, ни мои сыновья не найдут дорогу к моей могиле. Но все-таки это земля. Я добралась до нее, и мне больше не угрожают кишашие акулами свинцовые воды Великого, или Тихого, океана.

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

### «ВАМ СЕГОДНЯ НЕ ВЕЗЛО, ДОРОГАЯ МАДАМ СМЕРТЬ . . .»

Нет, это не сон — я действительно сижу в ванне. Я дотрагируюсь до ее ослепительно белой скользкой внутренности. Какое изобретение человеческого гения! От горячей воды идет пьянящий запах соснового бора. Потому что мне назначена врачом не простая ванна, а хвойная. Да, насчет ванны сомнений нет, — она подлинная. Только вот мне ли принадлежит это костлявое тело, просвечивающее сквозь воду?

Уже две недели я нахожусь в стране чудес, именуемой Магаданской лагерной больницей. Меня и других наших здесь лечат, кормят, спасают. И это после того, как я окончательно привыкла к мысли, что все люди, с которыми я сталкиваюсь за последние три года, если только они не заключенные, хотят одного: мучить и убивать.

Первые дни, проведенные здесь, слились в сплошной клубок беспамятства, боли, провалов в черноту небытия. Но в какой-то день, открыв глаза, я увидела над собой склоненное лицо ангела. Да, это был самый настоящий рафаэлевский ангел, сидящий на облаках у подножия Сикстинской мадонны. Только белокурые волосы ангела были тронуты завивкой перманент, а нежный подбородок уже начал чуть-чуть, самую малость, тяжелеть, обличая кончающийся четвертый десяток. Звали ангела подходяще — Ангелиной Васильевной. Доктор Клименко, Ангелина Васильевна, супруга следователя НКВД, ведала женским отделением магаданской больницы заключенных.

— Вот вы и пришли в себя, — зазвенел небесными флейтами голос ангела. — Теперь надо только побольше кушать . . . Не обращая внимания на понос . . .

Призыв «побольше кушать» в наших условиях мог прозвучать как самое изощренное издевательство, если бы ангел одновременно не положил на тумбочку около моей койки довольно увесистый сверток.

— Это все можно, не сомневайтесь, — говорил ангел, отходя к соседним больным.

Я не сомневалась. Я рвала зубами вареную курицу, принесенную ангелом, так же алчно, как, наверное, мой пращур в сумраке неандертальской ночи свеживал какого-нибудь бизона.

— Что вы делаете? Разве можно есть мясо при таком поносе? — шептала Софья Петровна Межлаук, оказавшаяся и здесь моей соседкой. Сама она считала, что только голодная диета — единственное средство при нашем изнурительном поносе.

А я поверила ангелу, сказавшему мне: «Понос цинготный. Есть надо все». Я еще больше поверила голосу своего замученного, но в основе своей неистребимо здорового и молодого тела. А оно орало, вопило, требовало — еды!!!

Что заставило доктора Клименко не только больше месяца держать меня в больнице, давая отлежаться после этапов, но еще и приносить мне почти ежедневно из дому высококалорийные продукты, — не знаю. Может быть, ее, как врача, увлек процесс воскрешения полумертвой? Ведь потом она несколько раз говорила:

— Когда пришел ваш этап с «Джурмы», то из всех смертников самой безнадежной были вы. Я никогда не думала, что Цахер, Межлаук, Антонова умрут, а вы останетесь живы...

Да, возможно, врачом руководил профессиональный интерес. Но этим все не исчерпывалось. Вокруг ангела-врача ходили странные слухи. Говорили, что десяткам людей она спасала жизнь, то удерживая подольше в больнице, то не пуская на тяжелые работы, то выписывая дополнительное питание. Ощущала я и ее персональную симпатию к себе лично.

Так или иначе, но все шло почти по Диккенсу. Среди злодеев жил ангел, и этот ангел спасал меня от смерти. Но иногда в глубине безмятежных голубых глаз врачихи пробежала какая-то темная тень страдания. И тогда казалось, что дело тут не столько в Диккенсе, сколько в Достоевском, и что таким поведением Ангелина, наверное, старается искупить деятельность своего мужа, которого она любит.

Шли дни. Скоро умерла Софья Петровна. Просто от голода. Никак не соглашалась послушать доктора и есть все, что дают.

— Что вы! — не теряя апломба высокопоставленной дамы даже на смертном ложе, говорила она. — Что вы, доктор! Я лечилась в Осло у профессора Икс, в Париже — у Игрека, и я знаю, что только диета может меня спасти.

Ангелина с поистине ангельским терпением втолковывала ей, что Колыма порождает своеобразные болезни, отличные от тех, какими болеют в Осло и Париже. Но Софья Петровна только снисходительно улыбалась.

Умерла она спокойно. Не проснулась с ночи. Потом умерла

Мария Цахер. Перед смертью она вдруг забыла все русские слова, каких и раньше-то знала не густо. Но теперь она не могла даже вспомнить, как будет «вода». Я к этому времени уже стала вставать с койки, а так как в палате другие не понимали Марию, то мне пришлось принять ее последний вздох.

Кончина ее была настолько «литературной», что критика, несомненно, обвинила бы автора, описавшего такую смерть, в нарочитости. Однако все было именно так. Мария лежала совсем бесплотная, почти не возвышавшаяся над уровнем койки. Лицо ее, и вообще-то острое, типично «арийское», стало теперь колючим. Нос, подбородок, контуры синих губ были выписаны готическим шрифтом. Но на этом призрачном лице жили огромные карие глаза, горячие, полные мысли и страдания. Мария до последнего вздоха жила активной душевной жизнью. Умиравшего солдата тельмановской армии волновали вопросы коммунистического движения.

— Смогу ли я теперь читать по-русски? Как ты думаешь, почему я вдруг забыла все русские слова?

— Наверное, плохое кровоснабжение мозга. Потом вспомнишь . . .

За несколько минут до смерти она начала читать наизусть какие-то антифашистские стихи, кажется Эриха Вайнерта. Помню, что там повторялся рефрен: «Дер марксизмус ист нихт тод». Она произнесла эти слова, потом дотронулась до моей руки своими ледяными костяшками и сказала: «Абер вир зинд тод». И умерла.

Умирили ежедневно — и из нашего, и из других — новых и старых этапов. Но это не могло затмить мощного чувства возвращения к жизни, которое охватило всех нас, выздоравливающих. Жить во что бы то ни стало . . . И каждый день приносил теперь какую-нибудь новую радость. То совсем прошел понос. То прибавка в весе на два килограмма сразу. То румянец на щеках появился и еще больше вырос аппетит. Оказалось, что здесь можно и подработать на дополнительное питание.

— Вышивать умеешь? — таинственно спрашивает меня Сонька-айсорка, санитарка из бытовичек.

— Конечно, — уверенно отвечаю я, вызвав из тьмы времен вид крестиков на канве и уроки рукоделия в приготовительном классе гимназии.

— Вот этот узор сделай на подушку. И будет тебе за это от меня сахар-масло-белый хлеб . . .

На узоре был букет царственных роз, вокруг которого вилась разноцветная надпись: «Спи спокойно, Гриша, Соня тебя любит».

Теперь мои больничные дни были заполнены творческим

трудом. Розы получились здорово. Сонька была довольна и ежедневно подкладывала мне на тумбочку что-нибудь съестное. На вопросы, откуда все это у нее берется, Сонька хохотала с прищипом:

— Ох, и дураки же эти контрики! Лежи знай припухай, кантуйся!

Но, очевидно, все-таки у Гриши не было достаточных оснований для вполне спокойного сна; потому что в один прекрасный день Сонька предложила мне распороть его имя над розами.

— Сделай тут вместо «Гриша» — «Васек», — поняла? — говорила Сонька, сверкая своими ассирийскими глазами и кладя мне на тумбочку кусок краковской колбасы.

Так в связи с причудами сонькиного сердца я оказалась еще на два дня обеспечена работой.

Блатняки, лежавшие рядом с нами в больнице, были здесь в меньшинстве и вели себя куда спокойнее, чем на «Джурме». Обстановка располагала к лирическим раздумьям, и они рассказывали по вечерам истории своих жизней, варьируя любовные и воровские приключения, в которых, впрочем, проявлялась довольно убогая фантазия. От нас они все время требовали пересказа «какого-нибудь романа» или чтения стихов Есенина.

А к одной из девок, наглой и красивой Тамарке, приходил тайком на свидания настоящий живой Остап Бендер. Однажды я случайно оказалась в коридоре во время его посещения.

— Чего матюкаешься? — ласково сказала Тамарка. — Не видишь, что ли, женщина стоит рядом, шибко грамотная, пятьдесят восьмая!

— Извиняюсь, мадам, — сказал Остап Бендер с одесским акцентом, показывая в улыбке массу золотых зубов, — извиняюсь. Ученых я сильно уважаю. По натуре я сам — член-корреспондент академии наук. Только здесь не приходится работать по специальности.

— А какая у вас специальность?

— Я по несгораемым шкафам. Высокая квалификация. Может, слышали? По-нашему — медвежатник . . .

— Кто же его не знал в Ленинграде! — с гордостью добавила Тамарка.

. . . Ангелина назначила мне курс мышьяковых инъекций, и я поправляюсь, как на дрожжах.

— Телец на закланье, — желчно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой, — кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда — сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на «Джурме» . . . Groш цена этой Ангелининой благотворительности. Одни ложные надежды . . .



— А у нас, у блатных, знаете, какая поговорка? — вмешалась Тамарка. — Умри ты сегодня, а я завтра!

— Истина посередине, — примирительно подытожила остроумная Люся Оганджян, — не надо каннибальского «ты сегодня». Но не надо и мрачного пессимизма Лизы. Знаете, есть у Сельвинского такие стихи — про кулика, между прочим. «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть? Адьо-с, до следующего раза!» А в следующий раз, может быть, опять вмешается Господин Великий Случай. Так что мы все-таки выиграли отсрочку. А это уже немало . . .

. . . Первое ощущение при возвращении в женскую зону лагеря, так называемый ЖЕНОЛП, при входе в восьмой, тюрзаковский барак, — это ощущение стыда. Мне было стыдно смотреть на синие лица, обмороженные носы, щеки, пальцы, на голодные глаза моих товарищей, вернувшихся этим поздним ноябрьским вечером с общих работ. Я так отличаюсь сегодня, после двух больничных месяцев, от них, от лагерных «работяг». Я стала круглой, упитанной, свежей. Точно предательство какое совершила.

После больницы, с ее отдельными койками, чистыми полами, проветренными помещениями, наш восьмой, тюрзаковский барак кажется настоящим логовом зверя. Он весь искривленный, покосившийся, с двойными сплошными нарами, промерзшими углами, с огромной железной печкой посередине. Вокруг печки, поднимая вонючие испарения, всегда сушатся бушлаты, чуни, портянки.

— С курорта? — ехидно бросила мне Надя Федорович, стажированная оппозиционерка, репрессированная с тридцать третьего и глубоко презиравшая «набор тридцать седьмого».

Общие работы, на которые я попадаю со следующего утра, называются благозвучным словом «мелиорация». Мы выходим из зоны с первым разводом в полной ночной тьме. Идем километров пять строем, по пяти в ряд, под крики конвоиров и ругань штрафных блатнячек, попавших в наказание за какие-нибудь проделки в нашу бригаду тюрзаков. Пройдя это расстояние, попадаем на открытое всем ветрам поле, где бригадир — блатарь Сенька, хищный и мерзкий тип, открыто предлагающий ватные брюки первого срока за «час без горя», — выдает нам кайла и железные лопаты. Потом мы до часу дня тюкаем этими кайлами вечную мерзлоту колымской земли.

Совершенно не помню, а может быть, никогда и не знала, какая разумная цель стояла за этой «мелиорацией». Помню только огненный ветер на сорокаградусном морозе, чудовищный вес кайла и бешеные удары сбивающегося в ритме сердца. В час дня — в зону на обед.

Опять вязкий шаг по сугробам, опять крики и угрозы конвоиров за то, что сбиваешься с такта. В зоне нас ждет вождеденный кусок хлеба и баланда, а потом полчасовой «отдых», во время которого мы толпимся у железной печки, пытаясь набрать у нее столько тепла, чтобы хватило хоть на полдороги. И снова кайло и лопата, теперь уже до позднего вечера. Затем «замер» обработанной земли и чудовищная брань Сеньки-бригадира. Как тут наряды закрывать, когда эти Марии Ивановны даже тридцати процентов нормы не могут схватить! И, наконец, ночь, полная кошмаров и мучительного ожидания рельсы на подъем.

Это зима тридцать девятого—сорокового. Кто-то из наших раздобыл где-то старый, но не очень, номер «Правды». Вечером перед отбоем в бараке сенсация. В «Правде» напечатан полный текст очередной речи Гитлера. И с весьма уважительными комментариями. А на первой полосе фото: прием В. М. Молотовым Иоахима фон Риббентропа.

— Чудесный семейный портрет, — бросает Катя Ротмистровская, залезая на вторые нары.

Катя неосторожна. Ей уже много раз говорили, что, к несчастью, среди нас появились люди, чересчур внимательно прислушивающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам.

Пройдет полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей ценой собственной жизни. Катю расстреляют за «антисоветскую агитацию в бараке».

... Через десять дней «мелиорации» трофическая язва у меня на ноге снова раскрылась. Я с удивительной быстротой снова превратилась в «доходягу». Теперь я уже ничем не отличаюсь от тюрзаковской толпы, и причины для укоров совести больше нет. Зря старалась Ангелина.

По воскресеньям мы не работаем. Стираем, чиним свою рвань и ходим в гости по другим баракам, где живут люди с более легкими статьями и меньшими сроками. Не тюрзаки. В тех бараках — запах человеческого жилья от варящейся на железных печках рыбецки, раздобытой за зоной. Там некоторые места на нарах застелены домашними клетчатými одеяльцами, а подушки покрыты марлевыми накидушками, вышитыми мережкой. Обитательницы этих бараков в большинстве работают в помещении — в прачечных, банях, больницах. У них нормальный цвет кожи и на лицах выражение интереса к жизни.

Я познакомилась с жительницами седьмого барака, захожу туда по воскресеньям. Там живут участницы лагерной самодеятельности. Певица Венгерова поет соло. Бывшие балерины снимают бушлаты и чуни и надевают пачки, чтобы продемонстрировать первому ряду — начальству — свое искусство. Есть и хор. В одно из воскресений я попадаю на такой концерт. Слушаю,

как три десятка женщин, разлученных со своими детьми, ничего не знающих о судьбе своих сирот, лирически поют так, точно покачивают ребенка:

*Спи, моя радость, спи, моя дочь . . .  
Мы победили сумрак и ночь . . .  
Враг не отнимет радость твою,  
Баюшки-баю, баю-баю . . .*

Начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть) похвалил их за слаженность хора.

Посреди седьмого барака, на топчане у печки, живет восьмидесятилетняя зэка, «обломок империи», княгиня Урусова. После этого концерта она говорит:

— Когда древние иудеи попали в пленение вавилонское, им приказали играть на арфах. Но они повесили арфы свои на стены и сказали: «Работать в неволе мы будем, но играть — никогда . . .»

Она трясет своей почти облысевшей головой и добавляет:

— КВЧ на них не было . . . Да и люди были не те . . .

В седьмом бараке я слышала разные новости, так называемые лагерные «параши», то есть непроверенные слухи. В восьмом, тюрзаковском, было не до новостей.

— Скоро большой этап в тайгу будет . . . В Эльген . . . Совхоз . . . Штрафная командировка . . .

— На днях прибудет большой этап из Томска. У кого статья «Член семьи», до сих пор сидели не работая, как в тюрьме. Сейчас работать будут.

— Наверное, тюрзак в тайгу . . .

Все время надо было помнить, что как бы ни тяжел был сегодняшний день, а завтра надо ждать худшего. Каждый вечер, ложась спать, надо было благодарить судьбу за то, что сегодня ты еще жива. «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть . . .»

## ГЛАВА ШЕСТАЯ НА ЛЕГКИХ РАБОТАХ

Когда в магаданский ЖЕНОЛП пришел этап жен, казанская землячка, врач Мария Немцевичская, потрясенная моей цветущей цингой и полным моим пауперизмом, подарила мне хорошенькую вязаную кофточку, уцелевшую в ее узле благодаря спасительной медицинской профессии.

Мы сидели на нижних нарах в тюрзаковском бараке, засыпая друг друга фамилиями знакомых и друзей. Фамилии перемешались стандартными возгласами: расстрелян . . . десять лет . . . пропал без вести . . .

В промежутках врачаха со слезами гладила меня по волосам, а я как зачарованная перебирала дареную кофточку. Ее яркие пуговицы и цветные разводы гипнотизировали меня.

— Я очень похудела. Она будет мне велика, — говорила я, совершенно не думая о том, как «впишется» эта кофточка в мой общий ансамбль: тряпичные, перевязанные веревочками чуни на ногах, серая с коричневой полосой тюремная ярославская юбка, обшарпанная заплата на телогрейке.

Легкий шорох и тихие возгласы заключенных возвестили появление в бараке старшей нарядчицы Верки. Цепкий зоркий взгляд моментально фиксировал кофточку в моих руках.

— Конечно, велика тебе! Да куда тебе и надевать-то такую? На кайловку, что ли?

Веркины многоопытные руки смяли тонкую шерсть. Шерсть распрямилась.

— Натуральная. Дай померить . . .

— Конечно, конечно, Верочка, пожалуйста, померьте, — изо всех сил сжимая мою руку, повторяла хозяйка кофты, врачаха Мария, отлично знакомая с могуществом старшего нарядчика.

Верка небрежным жестом засунула кофточку под свой пуховый платок.

— Не жалеите, Женечка, — возбужденно уговаривала Мария. — Эта кофточка вам, может быть, жизнь спасет. Конечно, есть среди нарядчиков такие, что берут, да не делают, но про эту Верку я слышала, что она за каждую вещь посылает на легкую работу хоть на две недели. А вам сейчас после больницы, да в таком состоянии, так важно не ходить на эту проклятую кайловку. Да и морозы, может быть, спадут за это время.

Прогноз доктора Марии оправдался уже на следующем утреннем разводе. Как всегда, мы стояли совсем окоченевшие, по пятеркам, ожидая вызова. Было пять часов утра. Ничто в темном небе и густом слоистом воздухе не предвещало близкого рассвета. Торопливо выравнивая шаг, я двинулась со своей пятеркой к воротам и вдруг поймала на себе внимательный взгляд Верки-нарядчицы. Она стояла со списком в руках, в своем ладном дубленом полушубочке и пуховом платке, окруженная целым выводком вохровцев.

— Давай, давай, — выкрикивала она через каждые две-три секунды, в промежутках между кокетливыми улыбками, адресованными вохровцам.

Впрочем, иногда Верка останавливала очередную пятерку и «отставляла» из нее какую-нибудь укутанную в тряпки бесполовую фигуру.

— Налеву! В сторону! — выкрикивала при этом Верка, и у всех замирало сердце.

Потому что такая «отставка» могла быть и к несчастью, и к добру. Могли отставить для очередного этапа в тайгу, по сравнению с которым и магаданский ЖЕНОЛП казался раем. Но могли отставить и для посылки на вожделенную работу «в помещении», где хоть на несколько дней отойдут распухшие ноги, где ты встретишь «вольняшек», а с ними и нелегальные отправки писем, «левых» заработков пайки хлеба, а то и миски супа.

— Отставить! Налеву! — сказала Верка, когда я ковьяляла мимо нее в своих чунях. Так дареная казанская кофточка оказалась для меня в этот момент гриневским заячьим тулупчиком.

Я просто ушам не поверила, когда уже на исходе развода утомленная Верка небрежно бросила мне:

— В гостиницу пойдешь... Бригадир — Анька Полозова.

Вольная гостиница. Это то самое сказочное место, куда посылают только бытовичек, куда нам, контрикам, доступ закрыт. Это та самая счастливая Аркадия, где, закончив мытье полов, заключенные уборщицы могли брать у постояльцев заказы на частную стирку и получать за это большие куски хлеба и даже сахара.

Поистине Верка-нарядчица была глубоко принципиальной взяточницей. Взяв что-либо, она честно расплачивалась. Не в пример многим другим.

Магаданская гостиница 1940 года размещалась в большом сером бараке. Только в двух комнатах жили семейные: какие-то начальники из средних, квартиры которых еще только строились. Все остальное население гостиницы — это были колымчане первых наборов: проспиртованные экспедиторы с приисков, урки, промышляющие в Магадане в промежутках между отбытым и еще неполученным новым сроком, и даже отдельные ловкачи, что смогли, находясь «во льдах», сфабриковать неплохие документы.

Комнаты были переполнены. Коридоры тоже. В коридорах почти вповалку, по два на каждой железной койке, а местами и на матрацах, брошенных прямо на пол, жили хорошие «матери-ковские» люди. Это были по большей части геологи, отсидевшие с 37-го, в гаранинщину, по два-три года в доме Васькова, а теперь, после «либеральной весны» 1939 года, вынесенные на волю. Здесь в гостинице ждали они весны, начала навигации, возвращения на Большую землю.

— Девки! До трех казенная уборка. С трех — ваше дело... До отбоя... Только не гореть, поняли? Погорите — сами за себя отвечаете, я ничего не знаю, — сказала бригадирша Анька

Полозова, обращаясь к своей бригаде, состоявшей из пяти отборных блатнячек и меня.

Сама Анька имела солидную удобную статью — СВЭ. Социально-вредный элемент. Пограничная между политиками и блатарями. С такой статьей можно было по праву занимать выдающийся пост бригадира уборщиц гостиницы.

— Ну, я иду наряды заполнять, — добавила Анька.

— Заполняй давай! — хрипло буркнула Маруся-красючка. — И то сказать — заждался! Ишь, буркалы-то выкатил... Ошалел, ждавши...

Действительно, завхоз гостиницы, мощный кавказец, обладатель точеного подбородка и очень выпуклых глаз, с которым Анька уже целый месяц «заполняла наряды», ждал ее в дверях своей комнаты.

— Сейчас, Ашотик, иду, лапонька, — неожиданно нежно обратилась Анька к завхозу. — Да вот еще, девки! Тут сегодня новенькая, пятьдесят восьмая... Отощала здорово... тюрзак, одно слово... Так вы, того, не шакальте с ней... Покажите, что и как. Тебя как? Женей? Ну и ладно! Иди вон с Маруся-красючкой. Введи ее в курс дела, Мария. Есть? А то у меня наряды незаполненные. Иду, Ашотик, деточка!

— Та еще деточка! — буркнула опять Маруся-красючка, поводя мечтательными синими глазами. — Его легче похоронить, чем накормить. Как удав жрет... Исполу их обрабатываем...

К вечеру я увидела, как, подчиняясь неписаным законам, привилегированная бригада тащит оброк — половину доходов от своих отхожих промыслов — на прокормление удава Ашотика и его нежной подружки — бригадирши Аньки Полозовой.

Работа состояла в мытье некрашенных затоптанных полов. С тряпкой и ведром я встала в очередь к титану, где заключенный старик-кубогрей бережно наливал каждой из нас полведра кипятку. Остальное полагалось дополнять снегом.

Старик несколько раз окинул меня косым взглядом из-под лохматых бровей и сразу определил статью и срок.

— Тюрзак поди? Та-а-ак... Чуни-то снять надо. Раскиснут от воды. Эй, веселые, дали бы человеку какую обувь для работы. Есть ведь у вас, знаю...

— Дадим, не журыся, дед! Эй, Женька, снимай кандалы-то свои! На вот тебе калошки подходящие, — доброжелательно сказала татуированная с ног до головы Эльвирка, сбрасывая с себя мужские стоптанные галоши, в которых она пришаркала в кубовую.

— Спасибо, Эльвира! А как же вы сами?

— Ой, братцы, лопну! На «вы» она меня! Как ваше здоровье, Марья Ивановна? Приходите ко мне на вторые нары после

отбоя . . . Кипяточку попьем, погутарим за книжечки . . . Чудные эти контрики . . . За меня не журысь! Сниму с любого фрайера в номере, босая не буду . . . — говорила Эльвирка, обезьянними движениями почесывая правую ступню, на которой красовался лозунг «Не забуду мать-старушку».

Кубогрей остановил меня при выходе. Я шла последней.

— Давайте познакомимся. Вижу, что политическая. Как это вас сюда прислали? Видно, по здоровью, активированы, что ли? Я сам ведь тоже антисоветский агитатор. Пятьдесят восемьдесят. Сам ленинградец с Кировского. Посадили меня на эту блатную работенку, поскольку активирован. Внутренность расхотится. Оперирован был в гражданскую. А после трассы да золотишка швы-то и разошлись внутри. Вот и пожалели, посадили тут в тепло. Ну, да ведь и годиков-то мне шестьдесят с гаком. Да не во мне суть. Хочу вас предупредить. Девушка вы молодая, а место тут злчное.

— Понимаю. Мне уже за тридцать. Это я от истощения так помолодела, что девушкой кажусь.

— Все равно — молодая еще. Да и не здешнего сорта. Вижу я людей. Так вот, в номера ни к кому не заходите. Ни ногой. Ашотки особенно опасайтесь. А если что заработать надо, так у женщин. Здесь две семьи живут. Как с полами управитесь, приходите ко мне. Я вас сам к Солодихе сведу. Вчера спрашивали девушку для стирки. Жадна, правда, чертовка, да ведь уж все накормит. Ну, еще тех можете обслуживать, которые в коридоре. Это наши, реабилитированные. Сами, правда, с хлеба на квас, из колеи выбиты, по два да по три года отсидели . . . Но эти последний кусок пополам разделят. В стирке тоже сильно нуждаются.

Блатнячки закончили казенную работу на два часа раньше меня. Все в длинных шароварах с низко надвинутыми на глаза платочками, завязанными особым блатным узлом, в платях фантастических расцветок и фасонов, они носились теперь по зданию, наполняя его визгами, хохотом и матерщиной.

Впрочем, это была не ругань. Настроение у девок было мирное, даже приятное. Просто любую свою мысль они выражали именно этими тремя-четырьмя похабными глаголами и производными от них грамматическими формами.

— Амебы! — почти ласково сказал кубогрей, наливая мне очередную порцию кипятку. — Кроме этих слов ничего не знают. Право, одноклеточные . . . А ведь есть и невинные девахи среди них. Если бы, конечно, за них с малолетства взятыся. Да, жили мы на материке и не знали, сколько у нас в стране такой швали.

Мыть пол было не очень трудно, хотя от голода и согнутого положения кружилась голова. Особенно легко становилось, когда

вспоминались общие работы, например «мелиорация»: пудовое железное кайло, безнадежно тупеющее насмерть окаменелую землю и яростные ожоги от мороза, врывающегося под вытертую телогрейку. А это, действительно, легкая, блатная работа. Под крышей, в тепле. Да еще вода горячая. Нежит распухшие руки. Тем не менее до слез обидно, что шмыгающие по коридорам постояльцы оставляли грязные следы на только что вымытом куске.

— Эй ты, Мария Ивановна! Обалдела, что ли? — Переодетая в малиновый халатик с цветами и густо намалеванная, Эльвирка с неподдельным изумлением взидала на мою работу. — Гляньте-ка, девки, на малахольную! Как скоблит, а! Да что ты, к свекрови, что ли, приехала, хочешь показать, какая ты сама из себя работящая?

— А ты не ори, а покажи человеку, как делают! Тюрзак ведь она . . . А из тюрзака, известно, кровь вся выпитая.

Маруська-красючка говорила баском пропойцы, но синие глаза ее по-прежнему удивляли мечтательным выражением.

— Вот чего, Женька, слушай сюда. — Она потянула меня за рукав. — Первое дело: черного кобеля не отмоешь добела — это раз! Второе — тебе еще надо на себя заработать, а ты все на начальника вкалываешь. Это два. А третье — смотри вот, как надо . . .

Маруська ловким движением выплеснула всю воду на пол и быстрыми широкими мазками растерла ее по грязному полу.

— Было бы сыро, чтобы Ашотка видел, что мыто. Айда в кубовую чай пить! На мою пайку! Мне фрайер белого дал.

Неописуемое райское блаженство — сидеть у теплого титана, тянуть из стариковой кружки почти крутой кипяток, откусывая время от времени от кусочка пиленого сахара и отщипывая от маруськиной пайки.

. . . Солодиха оказалась весьма импульсивной дамой.

— Вот эту? Да она на ногах-то еле держится . . . Доходяга натуральная . . . Где ей такую кучу перестирать! У меня месяц не стирано.

— Любого не кормить да держать на кайловке — так отощает, — эпически заметил старик. — Смирна зато. Да и возьмет недорого.

Я почти любовно перебирала солодовское белье, сортируя его на кучки. Момент этот представлялся мне переломным и торжественным на моем тюремно-лагерном пути. Во-первых, предстояло впервые за три года самостоятельно и по собственной инициативе заработать себе на хлеб. Во-вторых, привлекал разумный характер предстоящей работы. Это было совсем неплохой целью — переодеть в чистое этих замурзанных ребят, копошив-



шихся в углу номера, заваленного невытой посудой и неприбранным барахлом.

— А ты не заразная какая? — поинтересовалась Солодиха, критически осматривая меня. — Уж больно худа...

— Нет. Цинга не заразная. От голода это...

— Ладно! Схожу вот сейчас в магазин, потом обедать будем.

Перед уходом в магазин Солодиха долго шептала что-то своему старшему — десятилетнему мальчишке, время от времени вскидывая на меня глаза. Вскоре после ухода матери мальчишка улизнул в коридор, на ходу бросив шестилетней сестренке:

— Сама смотри, чтобы она чего не сперла! Мне надоело уж...

... Недаром Юля, моя ярославская сокамерница, шутила, что от ста граммов полноценной пищи я сразу толстею на килограмм. Уже через неделю работы в гостинице я становлюсь неузнаваемой.

— Ишь как быстро на моих хлебах мяском-то обросла, — почти доброжелательно говорит Солодиха, подбавляя мне густо просаленной пшенной каши. За неделю я ликвидировала все самые непроходимые залежи в углах ее жилья, и она оценила это, особенно убедившись, что все добро на месте.

— А ты, оказывается, ничего из себя. Глазастенькая... Недолго поди у меня в уборщиках засидишься. Бабы в Магадане — товар дефицитный. А тут в гостинице шакалье так и рыщет.

Пытаюсь элементарно втолковать Солодихе, что я «честная».

— Ну что же, это хорошо, — одобряет она, — тогда вот подкрепись еще маленько, и мы тебе самостоятельного мужика подыщем. Тут ведь даже экспедиторы с приисков бывают. Масло-сахар-белый хлеб! Да и деньгами даст...

По вечерам возвращаюсь в восьмой тюрзаковский барак ЖЕНОЛПа и в лицах изображаю нашим гостиничным персонажи. Все наши хохочут, и я сама только в плане чистой юмористики воспринимаю заботы Солодихи о том, как бы повыгоднее продать меня самостоятельному экспедитору.

Но однажды во время мытья полов в коридоре (я обрабатываю их теперь быстренько, по Маруськиной методе, чтобы больше времени осталось на Солодиху) я вдруг чувствую увесистый шлепок пониже спины: чей-то осипший, настоенный на спирту и на чефире голос хрипит:

— Пойдем... Полюбимся... Сотнягу даю!

До сих пор с вопросом о проституции мне приходилось стелкаться или как с социальной проблемой (в связи с ростом безработицы в США) или как с художественным образом (Алиса Коонен под качающимся на авансцене тусклым фонарем). Даже

в самых кошмарных видениях бутырских и ярославских ночей не могли мне присниться такие слова и жесты, адресованные мне . . . мне!

Аффект настолько силен, что я сразу забываю подробные инструкции старика-кубогрея о том, как вести себя в подобных случаях («Прямо тряпкой по морде и шли его подальше на его же языке»). Вместо этого откуда-то из глубины подсознания вырывается:

— Негодяй! Как вы смеете!

Прихваченные морозом, коричневые, облупленные щеки моего попутателя расплываются в улыбке. Он сдвигает шапку набок.

— Ишь ты! Глазки. Красючка . . . 58-я, что ли? Айда, 200 даю . . .

Синие от мороза со скрюченными пальцами лапы снова тянутся ко мне.

— Отойдите, — кричу я, хватаясь за ведро, — оболью . . .

И вдруг чья-то рука (кожаный рукав) поднимает моего питекантропа за шкирку, как котенка, и от сильного удара чьей-то ноги (добротные валенки) он летит в дальний угол коридора, наполняя воздух россыпями отборного мата.

Защитивший меня человек был Рудольф Круминьш, один из реабилитированных коридорных жильцов, только что вышедших после двухлетней отсидки из дома Васькова.

С этого эпизода завязалась моя дружба с коридорными жильцами, ждущими первого корабля для отправки на материк. Я начала торопиться и у Солодихи, чтобы успеть до отправки в лагерь побыть хоть часок в этом секторе коридора. Наскоро простирнуть ребятам бельишко. Пришить пуговицы. Перемыть кружки и миски.

Оазис в пустыне. Человеческие лица. Разговор о сокровенном, волнующем нас всех. Полное доверие. Никто из них не боялся рискнуть отправкой «через волю» моей корреспонденции.

— Женя, да не пришивайте вы так крепко пуговицы к этому кожаному пальто, — говорит смешливый чернявый геолог Цехановский, которого так избивали во время следствия, что остался непроходящий кашель, — право, не старайтесь, все равно он их каждый вечер ножичком отрывает.

Это про кожаное пальто моего защитника Рудольфа Круминьша. Его взяли временно до весны работать в управление, и он одет совсем добротно, не в пример другим.

Милый Рудольф! А я-то думала, почему пуговицы так рвутся. Это для того, чтобы под предлогом благодарности за труд совать мне в карман конфеты и куски сахара.

Энергичное белое лицо Рудольфа краснеет.

— Ты есть один большой звинья! — ворчит он на Цехановского.

Теперь я без привычного чувства острой тоски вскакиваю утром со своих нар. Я даже с нетерпением ждала развода, испытывая каждый раз облегчение, когда ворота лагеря оставались позади. Не отставая от Эльвирки и Маруськи-красючки, неслась я по улицам предрассветного, подернутого сизым туманом окоченевшего Магадана, стремясь поскорее добраться до своей гостиницы. Ведь в этом ковчеге, где наливались спиртом, крали, блудили и сквернословили урки, экспедиторы, девки и мелкие колымские «начальнички», меня ждали добрые взгляды товарищей, которым повезло вырваться из пасти терзавшего меня дракона. Благодаря их бескорыстным заботам я была теперь не только бескорыстно сыта, но и согрета душой.

Я гнала от себя подспудную мысль о возможном скором конце этого лагерного счастья. И настоящим ударом для меня явился тот колкий декабрьский рассвет, когда, проходя в своей пятерке мимо выводака вохровцев, я услышала обращенный к себе возглас Верки-нарядчицы:

— Отставить! Налево!

Все. Ну и то сказать: месяц работы в гостинице — неплохая цена за шерстяную кофточку с яркими пуговицами.

— Пока в барак! Завтра на общие пойдешь . . .

До самого вечера я неподвижно лежала в пустом бараке. Острая сверлящая боль в сердце относилась не столько даже к мысли о ржавом кайле и удушливой стуже «общих». Страшнее была мысль, что не увижу больше моих новых друзей-реабилитированных из гостиничного коридора, не услышу прерываемых кашлем шуток Цехановского, не буду больше пришивать аккуратно отрезанные перочинным ножиком пуговицы с кожаного пальто Рудольфа.

Вечером, перед самым возвращением наших тюрзаковок, дверь барака открылась, и в клубах белого плотного воздуха, ворвавшегося в барак, я сразу различила франтоватые фетровые валеночки бригадирши уборщиц Аньки Полозовой.

— Т-ш-ш . . . — заговорщически оглядываясь, сказала Анька. — Само главное — не тушуйся. Они тебя не бросили, фрайерато твои . . . Первое дело — вот тебе передача от того, что в кожаном. Все честь по чести — сахар-масло-белый хлеб . . . Потом деньги, держи . . . Это главное — вот . . .

Анька вытащила из кармана своей новенькой кокетливой телогрейки кучку смятых бумажек.

— Верке-нарядчице . . . Чтобы не на общие тебя . . . В гостиницу-то, конечно, обратно не попадешь. Ей нагоняй от УРЧа был,

что контрика на работу к вольняшкам послала. Но она что-нибудь придумает, чтобы не на общие все же . . .

— Откуда деньги?

— От твоих фрайеров . . . Сначала спорили часа два, как спасти тебя, что, мол, этично, а что неэтично . . . Потом собрали вот . . . И тебе велели не отказываться. В таком, мол, положении все средства хороши. А то запросто загнешься.

Верка-нарядчица — настоящий гений лагерной стратегии и тактики — на этот раз «отставила» меня на разводе, чтобы отправить на работу в мужской ОЛП, носивший название «командировка горкомхоза». Получив от УРЧа взбучку за то, что я — страшный зверь «тюрзак» — целый месяц пробыла вопреки всем правилам на бесконвойной работе, она устроила теперь так, что я из одной зоны попадала в другую. Но работа все-таки была «блатная». Мне предстояло стать судомойкой в лагерной столовой мужской зоны. Сытость. Крыша над головой. Сомнениям насчет этичности или неэтичности взятки — даже в лагере — мне предаваться не пришлось. Анька сама передала нарядчице деньги.

Горкомхозовской эта мужская командировка называлась потому, что на ней содержались «доходяги», отставшие от этапов по болезни. Эти живые скелеты работали на предприятиях горкомхоза, то разгребая снег на улицах Магадана, то очищая по мойки.

. . . Столовой этой зоны заведовал крымский татарин по имени Ахмет. Его смазливая физиономия с глазами-маслинами искрилась веселой хитростью и лукавством. Повадками, движениями, манерой говорить он напоминал ловкого слугу из классической плутовской комедии. На воле он был тоже поваром или, как говорил, «чиф-поваром». Весь день он мелким бесом вился по своей кухне, напевая и аккомпанируя себе стуком ножей. Из лагерного пайка этот ловкач умудрялся обеспечить себе и ближайшему своему окружению довольно неплохое питание, обкрадывая доходяг самым бесстыдным образом.

Проблема женщин на этой мужской лагерной точке стояла очень остро для хорошо упитанных, сытых и наглых «придурков» из бытовиков. Две-три блатнячки-поломойки были нарасхват, не справляясь со своими задачами, хоть и пожирали огромными кусками краденое мясо.

Сочетание зоологических хищных «придурков» с окружающими их со всех сторон еле бродящими призрачными фигурами «доходяг» придавало всей этой командировке зловещий оттенок, и в первый день моего прихода я еле сдерживала слезы, видя, что я окружена здесь, как зверь в загоне, не вряд ли мне удастся продержаться на поверхности хотя бы несколько дней.

Мое появление (женщина политическая!) явилось там сен-

сацией. Придя с первым разводом, в шесть часов утра, я сидела подавленная, убитая, в ожидании, когда выйдет из своей привилегированной кабинки самодержец Ахмет, его величество хозяин еды. Барак-столовая и кухня были пропитаны насквозь едким запахом баланды из овса и зеленых капустных листьев. Я сидела как приговоренная, а вокруг меня свора нарядчиков, старост и дневальных с гнусными усмешками спорили прямо в моем присутствии о том, кому я достанусь.

Нет, из этого волчьего логова придется бежать хотя бы на общие. Я оглядываюсь с тоской в надежде, не найдется ли здесь заступник вроде Рудольфа. Но здесь весь привилегированный слой заключенных, все «придурки» — бандиты, воры, отпетые уголовники.

— А ну, катитесь подальше! — раздается тонкий, но оглушительно громкий голос Ахмета. — Куда бабу прислали? В столовую . . . А в столовой заведующий есть или как? Чего набежали!

Ахмет возмущен. Он рассматривает меня как свою законную собственность. Окидывает меня оценивающим взглядом. Затем, приплясывая и напевая на ходу какую-то блатную мелодию, он несет к моим ногам сказочные дары — миску, наполненную пончиками. Их выпекают официально для поощрения лучших ударников из доходяг. Фактически — для насыщения своры «придулков».

Надо быть хитрой в борьбе с волками. Попробую вот что . . . Совершенно неожиданно для Ахмета я пускаю в ход неподвижное им оружие самозащиты. Мобилизую все внутренние ресурсы памяти и слеплю довольно сносную фразу по-татарски. Я из Казани. Я почти татарка. Он должен относиться ко мне, как к сестре, не давать в обиду. Я тюрзаковка. Очень измучена, истощена. Я уверена, что Ахмет-ага прогонит всех этих . . .

Ахмет давно не слышал звуков родной речи. Что-то человеческое тенью пробегает в его глазах-маслинах. Мусульманхатын? Черт возьми! Вот это так удача. Отощала, говоришь? Откормим лучше быть нельзя. Ладно, пожалуйста! Ахмет-ага будет ждать целую неделю. Работай спокойно, отъедайся, никто не тронет. Налегай на пончики! Ахмет-ага сам не любит сухопарых . . .

Неделя . . . Ну что ж, это тоже отсрочка. За неделю, может быть, пройдет постоянная режущая боль в сердце. А тогда вернусь на общие.

— Ешь, поправляйся. — Ахмет сует мне большой кусок вареного мяса. — От пуза ешь, а на работу не жми сильно-то. Не медведь — в лес не убежит. Вон напарник твой пусть вкальвает. Бык хороший . . .

Я поворачиваю голову. Жестяная мойка разделена надвое.

Около нее быстро и точно, как автомат, работает мужчина средних лет с интеллигентным заросшим темной щетиной лицом, с плотно сжатыми губами, в низко надвинутом на лоб малахае. Миски, жестяные миски, легкие и звонкие, дождем летят в мойку из проделанного в стене окошка. Сначала в грязное отделение мойки, где смываются остатки баланды, потом в чистое, где споласкивают. Потом миски снова высоченными грудями подаются в стенное окошко и летят на раздаточный стол, где их наполняют баландой. Водопровода, конечно, нет. Судомой каждые десять-пятнадцать минут бросает работу, берет два ведра и выходит во двор, чтобы принести из кубовой чистой кипятком.

Сразу бросается в глаза, как старательно, не по-лагерному делает свою работу этот сумрачный человек. Заученными, быстрыми, точно на конвейере, движениями крутит он бесчисленные миски. Странно, что судомой не доходяга. Он нормально упитан. Каким путем он избежал прииска и стоит тут на типично женской работе?

— Глухарь! — заметив мой взгляд, объясняет Ахмет. — Глух как стена. Хотя из пушки пали... Активирован. Все комиссовки прошел. Немец из Поволжья. Вот пусть и вкалывает за двоих. А ты вставай вон к чистой мойке, споласкивай! Не вздумай воду таскать, пусть сам носит. А ты ешь, поправляйся, потом поговорим с тобой... Никого не бойся!

И он многозначительно подмигивает мне.

— Глухонемой?

— Да нет, глухой только. А языком-то чего-то бормочет по-своему...

Прислушиваюсь к бормотанию глухого и явственно различаю слово «ферфлюхте», адресованное Ахмету. Занимаю место у второй мойки и включаюсь в работу. Она не так легка, как кажется. Миски, как живые, летят в воду без малейшей паузы, и я все повторяю и повторяю однообразное круговое движение рукой. Через два часа деревенеют шея и плечи. Я, конечно, не хочу пользоваться льготами, предоставленными мне Ахметом, и пытаюсь сбегать за водой. Но мой напарник настойчивыми сильными движениями отнимает у меня ведра, бормоча себе под нос немецкие слова.

— Проклятый индюк... Еще женщин будет мучить... — Он бросает на нашего «чиф-повара» гневные взгляды.

Потянулись судомоечные дни. Я даже во сне все время видела летящие на меня грязные миски. Горкомхозовские доходяги работали, а значит, и ели в различное время. Столовая работала почти непрерывно. Но в часы пик напряжение доходило до крайности. Нельзя было не то что разогнуться, но хоть на секунду оторвать глаза от мойки. Тошнотворный въедливый запах баланды

исходил теперь от меня, от моих рук, от моего платья и телогрейки. От горячей воды я была все время потная, а в двери за моей спиной, то и дело открывающиеся, рвался морозный воздух. Кашель мучил меня, не давая заснуть по ночам.

Но если иногда Ахмет, сжалившись надо мной, давал мне подмену, а меня направлял в столовую собирать миски, я страдала еще больше. Вид этой столовой и ее клиентов был непереносим. Ели в бушлатах, вытаскивая ложки из-за голенищ лагерных чуней. Мест не хватало, и многие ели стоя, окружив большую круглую железную печку. Руки их, державшие миску на весу, дрожали. Вонь от дымящихся, просыхающих от жаркого тепла чуней забивала даже запах баланды.

Ах, как они тряслись, эти костлявые, черные, отмороженные пальцы, вцепившиеся в миски. . . Большой барак гудел. Густой мат перемежался надсадным кашлем, харканьем, стуком ложек. Страшнее всего было слушать, как доходяги шутили.

— За ваше здоровье! Дай бог не последняя! — обычно острили они, перед тем как опрокинуть рюмку экстракта стланика, который раздавался в углу столовой для предупреждения цинги.

Ахмет-ага горой стоял за санитарию, гигиену и благоустройство. Поэтому над кривыми промерзшими насквозь окнами столовой красовались бумажные занавески с вырезанным рисунком, а одно время Ахмет, в содружестве с санчастью, выдумал даже завести умывальник и полотенце, над которыми висел художественно выполненный плакат «Мойте руки перед едой — не будете болеть цингой». В умывальник вскоре перестали наливать воду, так как уж очень безнадежными оказались попытки отмыть руки доходяг. Но плакат остался.

Придурки обедали на кухне в специально отгороженном для них закутке, откуда тонкой струей тянулись в наш судомойный угол волшебные ароматы настоящего мясного супа и знаменитых пончиков, варенных в подсолнечном масле. В первый день моей работы Ахмет пытался усадить меня вместе с ними, но я со слезами на глазах умоляла его оставить меня с «глухарем».

— Я боюсь их, — очень искренне говорила я, так как действительно ощущала страх в этом мире, населенном питекантропами.

Ахмет отнес такое мое поведение за счет чисто мусульманской застенчивости и даже популярно объяснил старосте и нарядчику, что казанская баба никогда не может быть такой шлюхой, как, скажем, московская.

Конечно, если быть по-настоящему принципиальной и честной, то не надо было бы есть этих пончиков, испеченных на краденой муке, выдаваемой на «подливку» баланды. Но до таких вершин в умении побеждать голод я не поднялась. Утешая

себя довольно гнусными софизмами насчет того, что доходягам, дескать, не попадет это все равно никогда из рук Ахмета, я несла еду в нашу мочную, ставила на перевернутый ящик, покрытый газетой, на котором уже лежали большие куски хлеба, нарезанные моим напарником.

Потом мы сядили друг против друга на перевернутые боком табуретки и ели суп из одной миски, строго соблюдая очередность в вылавливании кусочков оленины. Именно из-за этих кусочков мы и не считали возможным разлить суп по отдельным мискам. О брезгливости или даже о разумном опасении — не заразиться бы чем-нибудь от незнакомого человека — все мы начисто забыли.

Впрочем, я чувствовала, что это человек чистый во всех отношениях. Между нами уже со второго дня установилось молчаливое понимание. Мне казалась смешной и трогательной его манера обращаться со мной в этом мире, как с дамой. Он подавал мне бушлат, точно это было котиковое манто. Он вставал, если я стояла, пропускал меня вперед в дверях.

«Глухарь» много говорил вполголоса сам с собой. Говорил, конечно, по-немецки. Привыкнув, что к его речам все кругом относилось, как к бессмысленному и непонятному бормотанию, он не стеснялся высказывать свои мысли вслух. Вслушиваясь в его речи, я быстро поняла, что передо мной ортодоксальный католик из патриархальной фермерской семьи. Со мной он объяснялся жестами и мимикой, не догадываясь, что я понимаю по-немецки.

Я чувствовала себя из-за этого как-то неловко. Точно подслушиваю чужие тайны. Ведь знай он, что я понимаю, наверное, воздержался бы от многих высказываний. И однажды я, оторвав кусок газетного листа, написала на полях по-немецки: «Я понимаю все, что вы говорите, учтите это».

Гельмут (в этот день он назвал мне свое имя) страшно взволновался. Он долго смотрел на меня в упор влажными глазами, потом поцеловал мою разбухшую в мойке руку, насквозь провонявшую баландой, и выразил уверенность, что «гнедиге фрау» не использует во зло его речи. Он видит это по моему лицу.

Вскоре произошел эпизод, еще больше расположивший Гельмута ко мне. Это был драматический для меня эпизод, вернувший мне на время былую остроту восприятия жизни и великого Ужаса, остроту, притупленную лагерной ежеминутной борьбой за существование.

Однажды утром на нашу «горкомхозовскую командировку» пришел этап из тайги. Это были люди, отработанные на приисках, живой человеческий шлак, негодный больше для работы в забое.



Во время этапирования они умирали, как . . . Чуть не написала «как мухи», но остановилась. Ведь гораздо правильнее сказать, что мухи падают, как колымские доходяги. Уцелевших сортировали в Магадане, частично оставляя здесь, но главным образом направляя в такие места, как, например, Тасканский пищекомбинат, где они еще успевали до ухода в лучший мир послужить благодарному делу освоения Крайнего Севера на «легких работах». Позднее я узнала, что эти легкие работы заключались в 12-часовом ежедневном пребывании на пятидесятиградусном морозе в тайге, где доходяги рубили ветки стланика — сырья для пищекомбината.

Итак, пришел один из таких обратных этапов. Как всегда в таких случаях, в нашей кухне и столовой начался аврал. Надо было срочно накормить этапников баландой, выдать им хлеб, перемыть груды внеплановых мисок. Я не разгибая спины орудовала у своей мойки в тот момент, когда в окошечко просунулась голова, повязанная поверх шапки грязным вафельным полотенцем.

— Кто тут из Казани? — прохрипела голова.

Я вздрогнула. В сознании понеслись десятки жгучих догадок. Может, в этом этапе умирает мой муж? А может, этого человека прислал кто-то из друзей? Кто же именно?

— У нас там доходяга один ваш, казанский . . . Совсем доходит. К ночи наверняка дубаря даст. Вот он услышал, что тут женщина казанская в столовой работает, да и послал меня. Хлеба просит. Хоть перед смертью наестся ему охота. Можете одну паечку земляку отдать? Вы ведь тут около еды . . .

Голос его дрогнул от смешанного чувства острой зависти и в то же время какого-то униженного преклонения перед теми, кто сумел занять такую позицию в жизни. Около еды!

— Обещал мне за труды полпаечки, — сказал он, утирая задубевшим от вековой грязи рукавом бушлата со лба и щек капли пота, идущего от моей мойки.

— Вот возьмите, — сказала я, протягивая свою пайку. — Привет передайте. Погодите, а кто же он? Фамилия как?

— Фамилия-то? Майор Ельшин. В НКВД там в Казани работал.

Пайка дрогнула в моей руке и упала на пол. Майор Ельшин! Передо мной крупным планом, как на экране, поплыл уютный кабинет с большим окном на бульвар Черное озеро. В ушах зазвучали бархатистые баритональные звуки майорского голоса. «Разоружитесь перед партией! . . . Вы романтическая натура . . . Вас увлекло это гнилое подполье . . .» Он! Это он квалифицировал мои «преступления» по смертному восьмому террористическому пункту. Это он сделал меня «страшным зверем тюрзаком». Хо-

рошо, пусть он не мог отпустить меня на волю, чтобы самому не угодить под зубцы этого «колеса истории», но ведь мог же он вполне — это было в его власти — дать не десять лет, а пять . . . Мог не ставить на мне тавро «террор», а ограничиться хотя бы «антисоветской агитацией», которая еще оставляла какие-то шансы на жизнь. А бутерброды? Разве можно забыть эти кусочки французской булки, прикрытые ломтиками нежно-розовой, благоухающей ветчины? Он ставил тарелку с этими бутербродами передо мной — голодной узницей подвала — и искушал: «Подпишите протоколы и кушайте на здоровье!»

— Вы что, знали его? Он, говорят, невредный был. Других-то энкавэдэшников пришили многих на приисках. А этому никто не мстил. Все говорят — невредный. Ну да уж теперь все равно: нынче к ночи обязательно дубаря врежет. Я уж знаю, нагляделся. Как зубы обтянутся да вперед вылезут изо рта, так — все . . .

В глубине запавших орбит посланца мелькнула темная тень опасения — неужели уплывет из рук эта пайка, такая близкая, из которой ему обещана половина?

Обтянувшиеся зубы . . . Это была как раз та деталь, которой недоставало, чтобы прекратить мои колебания. Вылезшие из лунок цинготные зубы, обтянутые сухой кожей, и вылезшие вперед . . . Я видела их у умиравшей на транзитке Тани, друга моего этапного.

— Вот хлеб. Передайте . . . Пойдите! Только скажите ему, что это от меня. Запомните мою фамилию и скажите ему ее . . .

Ноги вдруг отказались меня держать. Я села на перевернутый ящик, служивший нам обеденным столом.

— Вас ист лоз? — тревожно спрашивает Гельмут-«глухарь», подсовывая мне бумагу и карандаш для ответа.

— Тот, кто прислал за хлебом, это мой следователь.

— О-о-о . . .

Последовавшие затем дни были для меня страшной мукой. Этап ушел, я не узнала, умер ли Ельшин, бывший блистательный майор, чьей функцией было соблазнять свои жертвы пряником, пока другие хлестали их кнутом. Но меня терзало мое собственное поведение. Как могла я унизиться до такой мелкой мстительности! Зачем потребовала, чтобы ему сообщили мою фамилию, зачем постаралась отравить горечью этот последний в его жизни кусок хлеба? Гнусность какая! Разве в этом аду мы уже не квиты, не заплатили друг другу за все? Счет закрыт. Закрыт самым фактом его смерти, ТАКОЙ смерти.

Но в то время, как я терзалась такими мыслями, «глухарь», наоборот, страшно поэтизировал эту пайку хлеба.

— Вы останетесь живы, слышите? — шептал он мне во время работы по-немецки. — Вы выйдете на свободу. Потому что вы

дали хлеб своему врагу . . . Я ваш друг навсегда. Я готов за вас отдать жизнь.

К несчастью, в самое ближайшее время Гельмуту пришлось делом доказать серьезность этого заверения.

Дело в том, что пришла к концу неделя, которую Ахмет-ага дал мне на то, чтобы отгесться. Все чаще я ловила на себе его плотоядные взгляды. А когда однажды утром он, распустив всю свою павлиний хвост, преподнес мне большой пуховый платок (придурки легко добывали такие вещи из дезкамеры, где грабили новеньких под предлогом дезинфекции), я поняла, что передышке пришел конец. Придется снова отправляться на «общие».

— Нет, нет, спасибо, мне на надо этого платка . . . У меня есть лагерный, он теплый . . .

Ахмет плотно сжал губы, и рот его стал похож на захлопнувшийся капкан.

— Знаю, что ты культурный . . . Сказали мне, что раз культурный, нельзя сразу. Ахмет ждал. Кормил. Сегодня — культурный, завтра — культурный . . . Сколько можно быть культурный?

Он раздраженно отошел от меня. Но через час потребовал, чтобы я зашла к нему в каптерку.

— Возьмешь тряпки для пол мыть . . .

Я давно просила у Ахмета новую половую тряпку. Предлог был удачный. Но мне все же было страшно идти в темную каптерку. Да нет, не посмеет. Здесь все рядом, все слышно, я закричу, если он . . . Но на всякий случай торопливо нацарапала Гельмуту записочку: «Ахмет вызвал в каптерку. Следите». Он успокоительно кивнул головой, и его глубоко сидевшие глаза зажглись фанатическим огоньком.

Под потолком каптерки тлела красноватым светом маленькая лампочка. Ахмет в позе пресытившегося падишаха развалился на мешках с тряпьем.

— Не хочешь платок, на вот это!

Длинное ожерелье из каких-то нестерпимо сверкавших стекляшек победно позвякивало в его руках. Видимо, его великолепие полностью отражало цветение его шеф-поварского сердца, и теперь он считал свое дельце вполне слаженным. Мой отказ принять подарок пробудил в нем неандертальца. Дверь, к которой я бросилась, оказалась запертой на ключ. Я закричала. На меня надвигался рот-капкан, сверкающие угли крымских глаз.

Вдруг хлипкая дверь каптерки дрогнула, заскрипела, подалась вперед. Рывок — и . . . Я увидела Гельмута, лежащего на полу с оторванной дверью в руках. Казалось, что он отброшен волной гнева, которым пылало его лицо. Не то раненый гладиат-

тор, не то средневековый охотник, одержавший победу над диким кабаном . . .

Секунда молчания. Затем — взрыв обоюдных немецко-татарских проклятий. Впрочем, Ахмет быстро перешел на русский.

— Я вам покажу, сукины дети! Стакнулись, значит? Глухарь, значит, лучше Ахмета? Сейчас к нарядчику пойду . . . Обоих выгоняю! На трассу оба! В такой этапчик у меня загремите оба, что костей не соберете!

Но шеф-повару пришлось отложить на несколько часов свою «кровавую месть». Прибежавший староста возвестил появление на нашей территории еще одного огромного «обратного этапа» с приисков.

— Быстро! Срочно организовать кормежку! А то мрут на ходу, а ты отвечай за них! Что-о? Снимать с работы! Нашел время! Командуй давай! Всех за полчаса накормить!

Ахмет заметался.

— Глухарь пусть один моет! — скомандовал он. — Нечего им там рядышком колдовать! А ты — марш на раздачу! Покантуйся напоследок!

Я стою у раздаточного окошка, методически опуская черпак в бачок с баландой, вручаю полные миски каждому из проходящей передо мной очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов в мешки, обмотанных тряпками, с черными отмороженными, гноящимися щеками и носами, с беззубыми кровавистыми деснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гойи?

Какой-то апокалиптический ужас сковывает все мое существо. Но я продолжаю яростно мешать баланду в бачке, чтобы налить им погуще, посытнее.

Идут и идут. Нет конца их черной очереди. Берут негнуцимися пальцами миску: ставят ее на край длинного сколоченного из досок стола и едят . . . Вкушают баланду, как причастие. Как будто в ней вся тайна сохранения жизни.

Вдруг один из них наклоняется ко мне в окошко и просит:

— Погорячей там нельзя ли? Кишки прогреть . . .

— Очень горячая! Ешьте на здоровье, товарищ, — говорю я, плача. И вдруг слышу его громкий крик:

— Братцы! Да тут баба! Митька! Подь сюда, баба здесь, право! Господи! Три года из бабьих рук щей не хлебал . . .

Нет, это не Ахмет, не крымский шеф-повар . . . Это мужик, простой русский мужик, отец семьи, уже три года живущий на страшном колымском прииске жизнью бесполого выючного животного. На приисках они не видят женщин годами. И эта миска из моих рук пробудила в этом человеке совсем было угасшее человеческое.

— Плесни еще добавочку, голубка! — просит он через несколько минут, подходя с другой стороны окошка. — Мила ты моя бабонька! Скажи что-нибудь своим бабьим ласковым голосом, хоть послушать, как оно было раньше-то . . .

Он протягивает миску своей огромной, когда-то сильной рукой. Рука земледельца, рука каменотеса с большим черным ногтем.

— Спасибо, родная, дай тебе бог детишек своих повидать.

Я вдруг наклоняюсь в окошко, притягиваю к себе его голову и целую его в беззубый, обросший колючей щетиной рот.

. . . На следующее утро Верка-нарядчица очень часто повторяла тревожную формулу: «Налево! Отставить!» Формировался большой этап в тайгу из наших «тюрзаков». Я была «отставлена» одной из первых. Не знаю, приложил ли к этому свою мстительную руку Ахмет-ага. Вернее, просто я попала в общий список отправляемых в знаменитый таежный совхоз Эльген, куда все наши больше всего боялись попасть и куда почти все все-таки рано или поздно попадали.

Я успела нацарапать записочку Гельмуту и сунуть ее с тем, кто шел на «горкомхозовскую командировку». Но получил ли он ее и как сложилась судьба этого судомоя-рыцаря, пожертвовавшего из-за меня спасительной крышей, я так и не узнала.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ЭЛЬГЕН — ПО-ЯКУТСКИ «МЕРТВЫЙ»

Я упорно писала маме жизнерадостные письма. «Ты ведь знаешь, как я люблю путешествовать. Вот и сейчас я рада, что из Владивостока мы поедем дальше . . .» Так началось мое письмо, отправленное с транзитки «через волю». Из Магадана я тоже посылала ей через своих гостиничных друзей довольно складные описания северной природы, заканчивавшиеся неизменно предположениями, что, мол, наверно скоро поедем дальше.

А она, бедная, писала в ответ:

«Все смотрю на карту и удивляюсь: куда же еще можно ехать дальше . . .»

Эти ее слова я все время вспоминала во время этапа из Магадана в Эльген. Действительно, вроде дальше было уже некуда, а мы все ехали и ехали, вернее, нас, очоленевших, сгрудившихся, как овцы по дороге на бойню, все волокли и волокли в открытых грузовиках. И казалось, не будет конца этим снежным пустыням, этим обступившим нас сахарным головам сопок.

Как всегда, в начале пути кое-кто еще делился литератур-

ными ассоциациями. Слышались чьи-то возгласы о Джеке Лондоне и Белом Клыке, об Аляске. Но очень скоро все замолкли, всех охватило оцепенение и от стужи, и от сознания, что случилось, случилось-таки то, чего все боялись, что везут, везут-таки нас в тот самый Эльген, что висел над нами дамкловым мечом все магаданские восемь месяцев.

Было четвертое апреля, но мороз стоял сорокаградусный, с ветерком. Приближение весны сказывалось только совершенно ослепительным великолепием чистого снега и разноцветного сверкания на нем солнечных лучей. От этого зрелища нельзя было оторвать глаз. Увы, мы тогда еще не знали, что слово «ослепительный» в этом случае надо понимать буквально, что сказочная эта красота коварна, а пресечение ультрафиолетовых лучей на этом снегу слепит по-настоящему. Страшные острые конъюнктивиты и ожоги глаз ждали еще нас впереди.

Ощущение «края света» и удаления от человеческой цивилизации не покидало нас всю дорогу, вызывая страшную тоску.

— Честное слово, я не удивлюсь, если сейчас вон из-за той сопки выйдет мамонт, — шепчет мне, стуча зубами и пытаюсь еще больше сжаться в комок, моя соседка по машине.

И я не переспрашиваю. Вот именно, мамонт! Мне тоже кажется, что мы едем не только далеко от наших городов, но и далеко назад от нашей эпохи, напрямик в пещерный век.

Густой слоистый туман стоял над Эльгеном, когда наши машины въехали на его главную магистраль, где разместилось низкое деревянное здание управления совхоза. Был час обеденного перерыва, и мимо нас по направлению к лагерю шли длинные вереницы «работяг», окруженных конвоирами. Белые дубленые полушубки конвоиров мелькали как светлые блики на сплошном сером фоне. Все работяги, как по команде, поворачивали головы в сторону нашего обоза. И мы тоже, стряхивая с себя этапное оцепенение, напряженно вглядывались в лица своих новых товарищей.

— Говорили, что в Эльгене одни женщины. Но вот эти... Как ты думаешь, не мужчины ли это?

— Гм... Похоже... Впрочем...

Сначала мы подшучиваем друг над другом. Вот дожили: мужчин от женщин отличить не умеем... Ой баба! Ой нет! Как Чичиков о Плюшкине... Но чем пристальнее всматриваемся в проходящие шеренги работяг, тем больше становится не до шуток. Да, они бесполы, эти роботы в ватных брюках, тряпичных чунях, в нахлобученных на глаза малахаях, с лицами кирпичными, в черных подпалинах мороза, закутанными почти до глаз какими-то отрепьями.

Это открытие сражает нас. На многих, вроде давно и оконча-

тельно высохших глазах — снова слезы. Вот что ждет нас здесь. В этом Эльгене мы, уже потерявшие профессию, партийность, гражданство, семью, потеряем еще и пол. Завтра мы вольемся в призрачный марш этих странных существ, что проходят сейчас мимо наших машин, хрустя окаменелым снегом.

— Эльген — по-якутски «мертвый», — разъясняет одна из присоединенных к нашему этапу штрафниц. Она уже была здесь, чудом вырвалась назад в Магадан, а теперь вот снова «погорела» на связи с вольным. Она показывает нам агробазу, конбазу, маячащую в отдалении молферму. Но эти веселые энергичные слова так не вяжутся с общим пейзажем, что мы пропускаем их мимо ушей. А вот «Эльген — по-якутски «мертвый» — это напрочно оседает в сознании. Правильно назвали якуты.

Вот она — зона. Колючая проволока, симметричные вышки, скрипучие ворота, алчно разинувшие зев навстречу нам. Ряды приземистых, крытых рваным толем барakov. Длинная дощатая общая уборная, поросшая торосами окаменелых нечистот.

И все-таки мы рады, что приехали. Как-никак становище. От недвижимого дыма над отведенным нам баракom тянет жилым, обитаемым. И приходит мало-помалу чувство нестерпимой безоружности и обнаженности, какое охватило всех в этом ледяном этапе, в тисках ослепительной доисторической тайги.

И вот мы уже стоим, сгрудившись, около раскаленной железной «бочки», на которой успокоительно булькает кипящая в огромном баке вода. Пахнет сохнувшими портянками и поджариваемыми на печке ломтями хлеба. Жилье . . . Понемногу размазываем свои тряпки и скрюченными, как бы стеклянными пальцами вцепляемся в полученные пайки хлеба.

В этот тяжелый момент судьба послала нам одного из тех людей, которые для того, наверно, и рождаются на свет, чтобы быть утешением окружающих. Это была дневальная барака. Марья Сергеевна Догадкина. Простая, поворотливая, чернявая пятидесятилетняя женщина, с теми самыми интонациями московской просвирни, которые умиляли еще Пушкина. Нет, она и не думала говорить нам ласковые слова. Наоборот, она все время кого-нибудь поругивала.

— Дверь-то разве так закрывают? — шумела она, ныряя в густое облако морозного тумана, клубящееся у входа в барак. И после ее вмешательства перекошенная обледенелая дверь как-то становилась на свое место, сберегая тепло.

— Да разве так просушишь! Комком сунула . . . Плохо тебя маманя учила . . . — упрекала она кого-то и, отняв тряпку, ловким движением расправляла ее и развешивала около печки на веревке, где, казалось, уже невозможно было пристроить что-нибудь.

— Ты чего это хлеб-то такими кусищами глотаешь, как чайка? Разве так будешь сыта? Ишь набросилась, точно нападает на пайку! Дай-ка сюда, я поджарю . . .

И Марья Сергеевна ловко натыкала кусок чьей-то пайки на специально приспособленный железный вертел, мгновенно опалила его на раскаленной железной «бочке» и отдавала владелице горячий кусок, благоухающий священным запахом печеного хлеба.

— Вот так-то сытнее будет . . .

Как вьюн скользила она по бараку, каждого оделяла своим опытом, своим трудом, своим требовательным и доброжелательным материнским словом. И вот уже кажется, что мы все — гости Марьи Сергеевны. Плохое, конечно, жилье у нашей дорогой хозяйки, да и стол небогат. Но зато нам всем ясно, что «чем богаты, тем и рады». И как-то сама она вроде и не заключенная (хоть и статью имеет — антисоветская агитация), настолько хозяйские у нее взгляды и движения, каждое из которых направлено на то, чтобы кому-то сделать легче, переносимее.

— С утра вас ждала, снега-то побольше натаяла. Вкусный кипяточек. Пейте от души, согревайтесь. Кружек у кого нет, баночки вон там на полочке берите. И про уборную не томитесь, на улицу ночью не бегайте. Хватит, намерзлись. Вон я в уголку ведро большое приспособила. Вынесу тихонько утречком, надзор и не заметит. Да не сокрушайтесь сильно-то . . . Эльген да Эльген . . . Не так страшен черт, как его малюют. Я вон уж третий год здесь, а жива. Спите себе. Утро вечера мудренее. Поздно уж. Ходит сон по лавочке, а Дрема-то по избе . . .

Я даже вздрагиваю от радости. Это слова из песенки, которой наша няня Фима баюкала маленького Ваську. И я засыпаю на верхних нарах с каким-то странным чувством покоя и прочности очага. Сквозь сон слышу, как Марья Сергеевна подметает пол, звякает ведрами, чудодейственно превращая барак эльгенской зоны в деревенскую избу. Хоть в грязную, нищую избу, где шуршат черные тараканы, но где все же пахнет домовитостью и печеным хлебом, где близко к вечеру по избе ходит Дрема. Сон сладко наваливается на меня. Я слышу голос няни Фимы, качающей моего младшего сыночка.

*Где она его найдет,  
Туга спа-а-ть укладет . . .*

Только наутро грозная реальность снова ощеривается на нас. Опять возникает слово «этап». Как? Значит, и отсюда еще есть куда ехать? А как же! А Мылга? Она считается штрафная для Эльгена. А то есть еще Известковая. Так та штрафная для Мылги. А лесоповал? Сколько точек в тайге, по сравнению с которыми



этот барак дворцом покажется! А лето придет — сенокос. По кочкам . . . Ну, то еще дожить надо . . .

Марья Сергеевна не из тех, кто любит сказки сказывать. Что есть, то есть. Глаза закрывать нечего, надо правду знать. А пугаться-то все равно нечего. Везде люди. И на лесоповале живут . . . Не все бригадиры звери. Есть и ничего . . .

— Статьи-то у вас больно аховые. Тюрзаки ведь вы . . . Хуже каэртедешников, говорят. Ничего, обомнется . . . Привыкнет начальство. Сначала-то и каэртедешникам пикнуть не давали, а теперь вон одну даже завбаней поставили.

Да, мы попали на Эльген, на штрафную командировку, но не за провинности, а просто «по статье», как тюрзаки. А другие здесь почти все за что-нибудь, чаще здесь самые отъявленные рецидивисты — «оторвы». А еще — мамки.

— Чего-то начальству так подумалось, что здесь самое что ни на есть место подходящее для младенчиков. Право . . . Деткомбинат построили . . . Зона для заключенных деточек. Ну, и мамок тут полно. Которые младенцы выживут, тех уж из ружья не убьешь . . .

Мамки — этим собирательным именем обозначались все заключенные женщины, пойманные на запретных любовных связях или «уличенные» в беременности. По отношению к ним строгие меры пресечения сочетались с некоторым даже гуманизмом что ли.

Несколько раз в день раздается специальный сигнал с вахты.

— На кормежку!

И те же закутанные в тряпье бесполое фигуры, «разобравшись» по пяти, торопливо топают под охраной тех же дубленых полушубков в деткомбинат, где каждой выдается на руки ее младенец. Перед младенцем стоит замысловатая задача — вытянуть несколько капель молочка из груди той, которая питается эльгенской паечкой, а работает на мелиорации. Обычно уже через несколько недель лагерные врачи констатируют «прекращение лактации», и мамка отправляется в этап на лесоповал или сенокос, а младенцу предлагается отстаивать свое право на жизнь при помощи бутылочек «Бе-риса» и «Це-риса». Так что состав мамок страшно текуч, все время обновляется свозимыми со всей Колымы грешницами.

— Вот это так охрана материнства и младенчества! — восклицает Нина Гвиниашвили, увидав впервые развод мамок в окружении солдат с винтовками наперевес . . .

Но все подробности насчет детского городка и материнских радостей на Эльгене мы узнаем позднее. А сейчас мы снова, после короткой передышки в бараке Марьи Сергеевны, наэлектризованы до предела слухами об этапах, ползущими из УРЧа

(учетно-распределительная часть). Там, говорят, уже полным ходом составляются этапные списки на лесоповал. Слухи о том, где всего страшнее, разноречивы. По одним сведениям, на Седьмом километре можно продержаться дольше, чем, скажем, на Четырнадцатом или на Змейке, поскольку конвой не очень сволочной. По другим, наоборот, на Седьмом можно скорее «дать дубаря», там только слава что бараки, а холодина в них, как в лесу...

Галя Стадникова отваживается обратиться с вопросом к начальнику режима.

— Скажите, пожалуйста, а не могу я рассчитывать на работу по специальности? Я фельдшер-акушерка...

Режимник криво усмехается и отчеканивает:

— Для ваших статей у нас две специальности: лесоповал и мелиорация.

... Мне достался Седьмой километр. Список смешанный. Группа наших, тюрзаковок, но есть и эльгенские старожилы. Среди них и те, «кто пляшет и поет», то есть блатные, и несколько человек «православных христианок» — религиозных колхозниц из Воронежской области. Этих везут на Седьмой как штрафниц, за отказ от работы по воскресеньям.

Целый час стоим у вахты, пока начальство о чем-то тихонько препирается. На вахте сидит начальник санчасти Кучеренко, меднолицый, коренастый человек с наружностью пожарника Кузьмы. Его почтительно именуют доктором, хотя он, как выяснилось в дальнейшем, ротный фельдшер.

— А если падеж в пути? — говорит он громко, так, что нам слышно. — Посмотрите, тюрзаки-то как одеты...

Да, мы снова хуже всех. На колхозницах какие-то чудом уцелевшие собственные грубошерстные шали. У некоторых блатнячек даже полшубки. А мы полностью казенные, без единой своей тряпочки, и чуни наши разлезаются, а в дыры набивается снег.

Позднее мы узнали, что есть-таки такая формула официального гуманизма: «Одет и обут по сезону»... И в какие-то периоды, когда «падеж» ээка превышал установленные нормы, работников санчасти начинали «тягать» по этому поводу. В данном случае представитель гуманного ведомства, оказывается, переносил неприятности как раз такого типа, почему и возражал против нашего пешего этапирования.

Больше часа стояли мы у вахты возле ворот, коченяя, ожидая исхода начальственной дискуссии и слушая пение блатных. Пританцовывая, они вопили:

*Сам ты знаешь, что в субботу  
Мы не ходим на работу,  
А у нас суббота каждый день...  
Ха-ха!*

Наконец, ура! Гуманное начало одержало верх. Кучеренко удалось доказать очевидное: мы действительно одеты-обуты не по сезону. И вот нас везут, тащат на прицепах к тракторам, поскольку никакой другой транспорт не может пробраться к Седьмому, лежащему в стороне от трассы, в глубине почти нехоженой тайги.

Едем . . . Через буераки и лесные протоки, через проклятия конвоя и матерщину блатнячек. А Седьмой-то, видно, довольно условно назван. С гаком . . . Безусловно с гаком, да еще с большим. Навстречу ни человека, ни зверя. И зима, зима . . . Хоть это и апрель. Апрель сорокового года.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ НА ЛЕСОПОВАЛЕ

Наш бригадир — блатарь Костик по прозвищу Артист — существо довольно просвещенное. В какой-то период своей бурной жизни он подвизался во вспомогательном составе провинциального театра. Поэтому он знает такие замысловатые словечки, как «буффонада», «кульминация», «травести». Это придает его матерщине неповторимо-своеобразный оттенок.

На наш этап смотрит абсолютно безнадежно. Он ходит вдоль нашего строя, как полководец перед боем, и с глубоким огорчением рассматривает этих вооруженных пилами и топорами обрванцев. Н-да. Видно, придется ему по личным делам в Эльген таскаться. Из кого тут выбрать! Блатнячек он не выносит. Человек он чистоплотный, боится Венеры. Монашки — ну, те, известно, тронутые. А тюрзачки эти . . . Может, когда-то и были они бабами. А нынче никакой от них серьезности, доходяги натуральные . . . Просто говоря, травести . . .

Костик поправляет челочку на лбу и напевает:

*Травести да травести,  
Не с кем время провести . . .*

Но завидя приближающегося заведующего всеми лесозаготовками по совхозу, переключается в производственный план.

— С такими доходягами разве такую норму вытянешь? Сплошной архив «А».

Павел Васильевич Кейзин, завлесозаготовками, с одинаковым сокрушением рассматривает и наши пилы — плохие, ржавые, без «развода», и нас самих. То еще пополнение! Садистских навыков этот человек на своей нелегкой работе не приобрел, но искусством смотреть на людей как на придаток к пилам и топорам овладел в совершенстве.

От наших хибарок до места работы около четырех километров. Гуськом бредем по целине, по проваливающемуся, с каждым днем все более волглому апрельскому снегу. С первых же шагов ноги промокают насквозь, а когда после обеда начинает снова жать мороз, леденеют чуни, острые боли в отмороженных ногах не дают ступить.

Костик, как только остается наедине с нами, без приехавшего на денек Кейзина, без конвойных, частенько курящих группкой у костра, так и начинает negliжировать своими обязанностями. Инструктаж по лесоповальному делу он проводит примерно так:

— Дерево видали? Не видали? Эх вы, Марь Иванов! В сугробе стоит, видала? Ну, стало быть, перед пилкой обтоптать его надо... Вот так...

Ему-то хорошо обтаптывать снег, в его высоких фетровых бурках с франтовски загнутыми голенищами, со свисающими на бурки по блатной моде брюками. А мы с Галей Стадниковой, моей напарницей, пытаемся повторить его движения и сразу набираем полные чуни снега.

— Теперь топором подрубай спереди. А сейчас с двух сторон берись за пилу и тяни. Да вы что, Марь Ивановны, пилы, что ли, отродясь в руках не держали? Вот это так буффонада!

— Неужели вы всерьез думаете, что мы с Галей сможем свалить такое дерево?

— Не одно такое дерево, а восемь кубометров на двоих — вот ваша норма, — слышим мы сухой деловой ответ. Не Костик, понятно, отвечает так, а подошедший завлесозаготовками Кейзин. А Костик, которому только что было глубоко наплевать и на нас, и на деревья, гнусным подхалимским голоском добавляет:

— Три дня вам на освоение нормы. Три дня пайка идет независимо. А с четвертого дня — извини подвинься... По категориям, от выполнения нормы... Как потопашешь, так и полопашешь...

Три дня мы с Галей пытались сделать невозможное. Бедные деревья! Как они, наверно, страдали, погибая от наших неумелых рук. Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого. Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично, мысленно обвиняя друг друга в неловкости, хотя вслух никаких упреков не делали, сознавая, что ссориться — это было бы роскошью, которой мы не могли себе позволить. Пилу то и дело заносило. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось наконец упасть, а мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнуло по голове, но фельдшер нашей командировки оказался даже йодом прижечь ссадину, заявив:

— Старый номер! Освобождения с первого дня захотела!

Мы внимательно наблюдали работу воронежских религиозниц. То, что они делали, казалось нам черной магией. Как аккуратно и быстро получается у них подруб. Какие размашистые, согласованные движения приводили в действие их пилу! Как покорно падало в нужную сторону дерево к ногам тех, кто с детства знал физический труд!

Если бы нам дали немного опомниться и накормили досыта, кто знает, может быть, и мы «схватили» бы когда-нибудь эту неуловимую «норму». Но в это время командира нашей ВОХРы, по общим отзывам не очень сволочного, перебросили на Четырнадцатый, а сюда был прислан тамошний. Этот злодей прибыл сюда с несколькими своими злодоями. И начался режим на уничтожение.

— Не курорт! — этой уже хорошо знакомой нам формулой он начал свое княжение. — Норму! Питание по выработке! За саботаж карцер! . . .

В нем было что-то общее с ярославским Коршунидзе. Правда, ничего кавказского не было в его белобрысом, порченном оспой лице. Но привычная «та» гримаса, в которую он, говоря с нами, складывал губы, придавала ему это фамильное сходство. Все заметили.

— Просто брат Коршунидзе. Ну хоть не родной брат, так двоюродный. Кузен . . .

Так Кузеном и звали его между собой.

. . . Ранним утром, часов так с пяти, мы поднимались ото сна. Бока нестерпимо ныли. Никаких вагонок здесь не было, а сплошные нары были сколочены не из досок, а из так называемых «кругляшей». Необрубленные сучки впивались в тело. Каждое утро начиналось с ощущения томящей пустоты внутри. Его надо было колоссальным усилием преодолеть, чтобы встать и сделать первое жизненное движение — подойти к железной печке и оторвать в куче наваленных вокруг печки вонючих тряпок свои портянки и рукавицы. Это было не так-то просто. Ведь впервые после «Джурмы» мы находились в одном помещении с уголовными, а это осложняло каждый шаг. Девкам ничего не стоило схватить чужие, более крепкие, портянки или чуни, оттолкнуть от печки, вырвать из рук более острую пилу. А никаких жалоб наш Кузен не принимал.

Он был полностью повернут, так сказать, лицом к производству и очень доходчиво объяснял нам на разводах и поверках, что никакой уравниловки быть не может и бросать народный хлеб на контриков и саботажников, не выполняющих норму, он не намерен. На все же вопросы, связанные с поддержанием нашего существования, у него была в запасе какая-то особо выразительная гримаса и все та же короткая формула: «Не курорт!»

Так вошел в нашу лесную жизнь Великий Голод. Кто его знает Костика-артиста, может он и смилостивился бы над нами и стал хоть понемногу приписывать нам проценты. Но Кузен поставил дело научно. Он сам контролировал своих злодеят, чтобы они гоняли нас от костров и проверяли работу бригады. И когда Костик приходил с длинным метром замерять наши дневные достижения, за спиной у него стоял стрелок, так что даже при желании Костик не мог ничего для нас сделать.

— Восемнадцать процентов на сегодняшний день, вот и вся ваша кульминация, — мрачно говорил Костик и, косясь на стрелка, выводил эту цифру против моей и Галиной фамилий.

Получив «по выработке» крошечный ломтик хлеба, мы шли в лес и, еще не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости. Все-таки этот кусочек мы делили на две части. Первую съедали утром, с кипятком, вторую — в лесу, посыпая его сверху снегом.

— Правда, Галя, бутерброд со снегом все-таки больше насыщает, чем пустой хлеб?

— Ну еще бы...

Первую неделю голодного режима мы все еще шутили иногда. Например, практиковалась такая игра. Вот, еле волоча ноги, мы бредем с работы. Сгорбленные, с шелушащимися коричневыми лицами, в немыслимых лохмотьях. Вот тут и начинается сочинение «великосветской хроники». Вроде некий бульварный листок капиталистического мира живописует светские развлечения какой-то группы фешенебельного общества.

— Веселой кавалькадой возвращались дамы со своего увлекательного лесного пикника, куда они отправились минувшим утром из замка Эльген в долине Таскана. (Эльген считался Тасканского района.) ... Звонкие голоса дам оглашали тенистые уголки парка. Особой элегантностью отличался костюм амазонки, которым поразила всех русская княжна Затмилова (заплаты на ватных брюках Гали Затмиловой действительно превосходили все возможные своим причудливым видом) ... Головной убор баронессы фон-Аксенбург (это сплав двух моих фамилий), скопированный с лучших моделей Пакэна, по-видимому, явится эталоном моды предстоящего весеннего сезона ... В замке дам ждал великолепный обед со свежими омарами, сервированный внимательным и опытным мажордомом Кузеном де Коршунидзе ...

Как ни странно, но такая болтовня в первые дни нашего голодного режима еще как-то поддерживала, утешала, укрепляла в сознании, что мы — люди.

Но скоро стало не до шуток. Кузен пустил в ход свое второе оружие. Теперь невыполнение нормы расценивалось как саботаж

и каралось не только голодом, но и карцером. Прямо из леса нас, не выполнивших норму (а не выполнили, физически не могли выполнить ее почти все наши тюрзаки), вели не в барак, а в карцер.

Трудно описать это учреждение. Неотапливаемая хижина, скорее всего похожая на общую уборную, поскольку для отправления естественных потребностей никого не выпускали и параша тоже не было. Почти всю ночь приходилось так простаивать на ногах, так как для сидения на трех сколоченных кругляшах, заменявших нары, выстраивалась очередь. Нас загоняли туда прямо из леса, мокрых, голодных, часов в восемь вечера, а выпускали в пять утра — прямо на развод и опять в лес.

На этот раз, казалось, уже не уйти от нее, от постоянно наступающей нас Смерти. Еще капельку — и догонит . . . А мы уже так задыхаемся, убегая от нее. По крайней мере я, увидя свое туманное отражение в куске разбитого стекла, найденного Галей, сказала ей словами Марины Цветаевой:

*Я такую себя не могу любить,  
Я с такою собой не могу жить . . . Это — не я . . .*

И Галя не стала возражать, что, мол, — ты . . . Только посмотрела сухими глазами и сказала:

— Хоть бы он малыша не бросил!

Это она о своем муже. Он у нее как-то не попал, уцелел на воле.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ!

Сначала мы пытались спастись сами. То есть, собственно, идею подал Костик-артист, у которого, видимо, было все же незлое сердце.

— Доходите? — осведомился он как-то у нас с Галей, воспользовавшись отсутствием конвоира. — Тихонько доплываете, стало быть, и лапки кверху? И вся ваша мизансцена, да?

— А что же можно делать еще, бригадир? Проинструктируйте . . .

— Соображать надо. Колыма-то она на трех китах держится: мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе более подходящий, — загадочно сказал Костик.

Но это была только теоретическая подготовка. Практический урок мы получили от нашей же тюрзачки Полины Мельниковой. Она была в числе немногих, каким-то чудом выполнявших норму. Работала она одна, без напарницы, пилой-одноручкой. Однажды наши участки оказались рядом.

— Смотри, — сказала мне Галя, показывая на Полину, — настоящий памятник Гоголю.

Да, очень похоже. Сгорбившись и закутавшись в свои тряпки, она уже больше часа неподвижно сидела на промерзшем пне, отбросив пилу и топор.

— Когда же это она норму выполняет, если так сидит?

Оказывается, норма у Полины была уже «схвачена». Припертая нами к стене, она, быстренько озираясь, нет ли поблизости конвоя, объяснила нам технику дела.

— Кругом-то ведь штабеля. Ну, старые штабеля, напиленные прежними этапами. Полно ведь их тут и никто не считал, сколько . . .

— Ну и что же? Ведь сразу видно, что это старые, а не свежеспиленные . . .

— А что их, собственно, отличает? Только то, что срезы у них потемневшие. А если от каждого бревна отпилить маленький ломтик, то срез будет самый что ни на есть свеженький. А потом — переложить штабель на это же место, только комляками в другую сторону . . . Вот и норма . . .

Эта операция получила у нас в дальнейшем название «освежить бутерброды». Она дала нам передышку. Мы немного видоизменили методику Полины: основание штабеля мы делали из «своих», нами спиленных деревьев, затем оставляли пару сваленных, но еще нераспиленных деревьев, чтобы была видимость разгара работы. А потом принимались таскать бревна со старых штабелей, спиливая с них ломтики и укладывая в свой штабель. Таким образом, из трех китов Колымы избрали пока третий — туфту! И чтобы не отступать от принципа полной правдивости, добавлю, что совесть нас несколько не мучила. Трудно сказать, догадывался ли Костик об источниках нашего трудового подъема, но молчать он молчал.

Передышка кончилась неожиданно. Мы еще не успели хоть немножко окрепнуть от целой стопроцентной пайки, отдохнуть от карцера, как на наш Седьмой нагрянули тракторы для вывоза заготовленных дров. В течение трех дней наши «резервы» для выполнения нормы оказались исчерпанными.

Кузен пришел в бешенство, узнав, что мы опять перешли на 18—20 процентов. Туфта теперь обратилась против нас.

— Ведь могли же, когда хотели, сто процентов вырабатывать! А теперь опять за саботаж! Сгною в карцере . . .

Много раз за восемнадцать долгих лет наших «страстей» мне приходилось бывать наедине с подошедшей совсем вплотную Смертью. Но привычка все равно не выработалась. Каждый раз — все тот же леденящий ужас и судорожные поиски выхода. И каждый раз мой неистребимый здоровый организм находил какие-то



лазейки для поддержания еле теплящейся жизни. И, что важнее, каждый раз возникало какое-то спасительное стечение обстоятельств, на первый взгляд абсолютно случайное, а по сути — закономерное проявление того Великого Добра, которое, невзирая ни на что, правит миром.

На этот раз спасение от неминуемой эльгенской лесоповальной смерти первой начала приносить . . . брусника. Да, именно она, кислая, терпкая северная ягода. Да не та брусника, что появляется, как ей и положено здесь, в конце лета, а брусника подснежная, оставшаяся от урожая прошлого года, отоспавшаяся в сугробах таежной десятимесячной зимы и теперь выведенная из тайников осторожной бледной рукой колымской весны.

Шел уже май, когда я, обрубая сучья на сваленной лиственнице и низко склонившись к земле, впервые заметила на исходящей паром проталинке, возле свежего пня, это чудо красоты, это совершеннейшее творение природы — уцелевшую под снегом веточку брусники. Пять-шесть ягодин, до того красных, что даже черных, да того нежных, что сердце разрывалось от боли, глядя на них. Как и всякая перезревшая красота, они рушились при малейшем, даже самом осторожном прикосновении. Их нельзя было рвать, они растекались под пальцами коралловым соком. Но можно было лечь на живот и брать их прямо с веточки пересохшими, обветренными губами, осторожно раздавливая языком на небе, наслаждаясь каждой в отдельности. Вкус их был непередаваемым. Настоящее старое вино, которое «чем старе, тем сильнее». Разве можно было сравнить этот вкус с кислятиной обычной брусники? Здесь была сладость и аромат перенесенных страданий, преодоленной зимы. Какое открытие! Первые несколько веточек я обела одна и только после обнаружения третьей во мне проявился человек:

— Галя, Галя, — закричала я потрясенным голосом, — брось топор, скорее сюда! Смотри . . . Тут «златистогрезный черный виноград» . . .

Да, отлично помню. Именно этими северянинскими «изысками» я обозначила свою находку.

Теперь мы шли утром в лес не с отчаянием, а с надеждой. Мы уже установили, что растет брусника больше вокруг пеньков, на кочках. И мы находили ее почти ежедневно. Мы всерьез считали и с горячностью убеждали друг друга, что эта ежедневная горсть «живого витамина» здорово укрепила наше здоровье. И голова вроде меньше стала кружиться от голода, и разрыхленные цинготные десны стали меньше кровоточить.

Очень поддерживали нас в ту смертельно опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того

года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьез, без «туфты», выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего Седьмого километра, Кузен и слушать не стал, когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника.

— Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только уважьте . . .

— Никаких религиозных праздников мы не признаем, и агитацию вы мне тут не ведите! С разводом в лес! И попробуйте только не работать . . . Это с вами там, в зоне, чикаются, акты составляют да опера тревожат. А я с вами и сам управлюсь . . . По-рабочему . . .

И этот злодей дал своим злодеям конкретное указание. Мы увидели все это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя: «Нынче Пасха, Пасха, грех работать», их выгнали прикладами. Но придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, степенно расселись на все еще мерзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры, очевидно выполняя инструкцию Кузена, приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду, выступившую на поверхность лесного озера, еще скованного льдом.

Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино.

— Что вы делаете, — кричала она на стрелков, и голос ее срывался от гнева, — ведь это крестьяне. Как смеете вы восстанавливать их против Советской власти! Жаловаться будем! И на вас управу найдем . . .

В ответ — угрозы и даже выстрелы в воздух. Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц — физическая, для нас — моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича.

Карцер в ту ночь был забит так, что даже стоять было трудно. И тем не менее ночь прошла незаметно. Все время шел спор между нашими. Как расценивать поведение воронежских? Фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести? Называть их безумными или восхищаться ими? И самое главное, волнующее: смогли бы мы так? . .

Спорили так жарко, что почти полностью отвлеклись от голода, изнурения, вонючей сырости карцера.

Интереснее всего, что ни одна из часов стоявших на льду воронежских не заболела. И норму уже на следующий день они выполнили на сто двадцать.

. . . Иногда в попытках спастись от настигающей нас гибели

некоторые наши пытались найти защиту у местного лекаря. Его отношение к медицине отлично укладывалось в слово «коновал», причем не в переносном, а в самом буквальном смысле: на воле он работал санитаром на ветеринарном пункте какого-то совхоза. Такие явления в лагерной медицине были нередки.

Жил наш лекпом в «уютной хавирке», примостившейся к одной из стен рубленой избы, в которой обитали вохровцы. Хавирка именовалась «амбулаторией», но вход в нее нашему брату не разрешался. Услышав стук в дверь, лекарь выходил на крыльцо и совал больному в руки градусник. Так и мерили температуру, сидя на лавке возле «амбулатории». Лекарь был абсолютным единомышленником Кузена в отношении к «контрикам». Он тоже «не чикался», относился «по-рабочему». Освобождение от работы давал, начиная с тридцати восьми градусов и выше. Все остальные заболевания мужественно именовал «туфтой» и «замостыркой». Положенный же ему лимит на освобождение расходовал исключительно на блатнячек, которые расплачивались с ним то продуктами, заработанными у вохровцев, а то и натурой, так как лекпом хоть и был уже лет пятидесяти, но еще вполне бравый мужчина.

И все-таки настоящее спасение пришло ко мне от медицины. Точнее, меня спас заключенный хирург, ленинградец Василий Ионович Петухов, приехавший к нам на Седьмой вместе с начальником эльгенской санчасти Кучеренко уже в июне.

— Комиссовка! Комиссовка! — радостным благовестом вторялось кругом в этот день.

Комиссовка — это значит для некоторых перевод на вожделенную «работу в помещении», для других — перевод в ОПЭ, то есть оздоровительный пункт, а это значит вернуться в эльгенскую зону, которая по сравнению с лесоповалом кажется землей обетованной, и недели две, а то и три получать, не работая, пайку и «усиленную» баланду. Но даже и для тех, кто остается здесь, после комиссовки будет облегчение. Ведь комиссовки бывают неспроста, а именно тогда, когда «падеж» зэка превысил установленные нормы, когда в интересах производства рабочую скотину надо немного подкормить.

И опять мне повезло: Кучеренко, начальник санчасти, с ученым видом знатока ощупав мои «мослы», вдруг вышел из «амбулатории», и я осталась наедине с заключенным доктором Петуховым. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. На фоне лекпомовской «хавирки», с топчаном, заваленным взбитыми вышитыми подушечками, с веерками «художественных открыток» на стенах, я видела умное интеллигентное лицо настоящего врача. Оно воспринималось как сигнал из навеки оставленного разумного мира.

— Не ленинградка? — пользуясь моментом, тихонько спрашивает он.

— Нет. Но там, в Ленинграде, сейчас мой старший сын. У родных.

Через минуту выясняется, что мой ленинградский родственник доктор Федоров, тоже хирург, отлично знаком Петухову.

— Позвольте . . . Мальчик? Лет 12—13? Алеша, да? Так я же видел его с Федоровым. В начале 38-го . . . Перед самым моим арестом. Да, действительно, у него ваши глаза . . .

Я смеюсь и плачу и хватаю этого незнакомого человека за руки. Он мне сейчас ближе всех на свете. Он видел моего Алешу. Всего два года назад. А я не видела своих детей уже больше трех лет . . .

— Я спасу вас, — решительно говорит доктор. — Что за чушь! Конечно, честно. Сравните себя хотя бы с местным медиком. А вы будете людям добро делать. Своим людям. По-латыни читаете, конечно? Ну и все. На Кучеренко это производит неотрапимое впечатление. Ждите вызова в зону.

Он выписал мне освобождение от работы на три дня с диагнозом «алиментарная дистрофия». Я испытала волшебное счастье — лежать в пустом бараке на нарах с книжкой в руках. Да, с книжкой! Ее дала мне блатнячка Лелька. Достала у вохровцев. Она симпатизировала мне и знала, чем потешить. Это был школьный учебник истории для пятого класса. Видно, они учились в заочной школе, наши злодеята.

«Боги жили на Олимпе, — читала и перечитывала я. — Они пили нектар и ели амброзию» . . . Какое счастье лежать! Не пить! Видеть, что из букв по-прежнему складываются слова. Пили нектар. Он, конечно, напоминал подснежную бруснику. А вот амброзия? Какова она была на вкус? Наверно, вроде жареной картошки . . .

К концу второго дня моего блаженства я услышала треск прибывшего из зоны трактора.

— С вещами!

На этот раз эти зловещие слова прозвучали благовестом. Ведь мы, вызванные, знали, что уезжаем с Седьмого, с лесоповала, от Кузена . . .

— Ты в деткомбинат едешь. Медсестрой к детишкам . . . — добродушно сказал мне молоденький конвоир, приехавший за нами. Я готова была поцеловать его.

По дороге наш прицеп отцепился от трактора и перевернул нас в ледяную, несмотря на июнь, протоку. Но разве это могло иметь значение? Ведь я опять удачно убежала от Смерти.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ЗДЕСЬ ЖИЛИ ДЕТИ

Деткомбинат — это тоже зона. С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой. Но на дверях обычных лагерных барачков неожиданные надписи. «Грудниковая группа». «Ползуновская». «Старшая» . . .

В первые дни я попадаю в старшую. Это вдруг возвращает мне давно утраченную способность плакать. Уже больше трех лет сухое отчаяние выжигало глаза. А вот теперь (в июле сорокового) я сижу на низенькой скамейке в углу этого странного помещения и плачу. Плачу без остановки, вздыхая, как наша няня Фима, всхлипывая и сморкаясь по-деревенски. Это шок. Он-то и выводит меня из оцепенения последних месяцев. Да, это несомненно тюремно-лагерный барачок. Но в нем пахнет теплой манной кашей и мокрыми штанишками. Чья-то дикая фантазия соединила все атрибуты тюремного мира с тем простым, человеческим и трогательно-повседневным, что осталось за чертой досягаемости, что казалось уже просто сновидением.

По барачку сновали, ковыляли, визжа, хохоча и заливаясь слезами, душ тридцать ребят в том возрасте, в каком был мой Вася, когда нас разлучили. Каждый отстаивал свое место под колымским солнцем в неустанной борьбе с другими. Они нещадно лупили друг друга по головам, вцеплялись один другому в волосы, кусались . . .

Они пробудили во мне атавистические инстинкты. Хотелось собрать их всех вокруг себя, стиснуть покрепче, чтобы ни один не попал под удары молнии. И причитать над ними хотелось . . . Опять же по-нянькиному. Да вы ж мои касатики . . . Да вы ж мои головушки болезные . . .

Выводит меня из этого состояния Аня Шолохова, моя напарница по новой работе. Аня — воплощение здравого смысла и деловитости. Шолохова она только по мужу. А так-то немка, менонитка, с детства привыкшая к пунктуальности. Таких в лагерях зовут «аккуратистками».

— Послушайте, Женя, — сказала она, ставя на стол котел, благоухающий неземным ароматом мясной пищи, — если вас в таком виде заметит кто-нибудь из начальства, завтра же отошлют обратно на лесоповал. Скажут — нервная . . . А здесь нужны не нервы, а канаты. Возьмите себя в руки. К тому же пора кормить детей. Я одна не справлюсь.

Нет, грех сказать, чтобы их морили голодом. Кормили досыта и, по тогдашним моим понятиям, кажется, даже вкусно. Но почему-то все они ели, как маленькие лагерники: сосредоточенно, торопливо, старательно вытирая свои жестяные миски

куском хлеба, а то и просто языком. Бросались в глаза их не по возрасту координированные движения. Но когда я сказала об этом Ане, она горько махнула рукой.

— Что вы! Это только за едой! Борьба за существование. А вот на горшок мало кто просится. Не приучены. Да и вообще их уровень развития... Ну, сами увидите...

Это я поняла на другой день. Да, внешне они все мучительно напоминали мне Ваську в том возрасте, когда его разлучили со мной. Но только внешне. Васька в свои четыре года шпарил наизусть огромные куски из Чуковского и Маршака, разбирался в марках машин, рисовал отличные дредноуты и кремлевскую башню со звездами. А эти!

— Что это, Аня? Они еще не говорят?

Да, только некоторые четырехлетки произносили отдельные несвязные слова. Преобладали нечленораздельные вопли, мимика, драки.

— Откуда же им говорить? Кто их учил? Кого они слышали? — с бесстрастной интонацией объясняла мне Аня. — В грудниковой группе они ведь все время просто лежат на своих койках. Никто их на руки не берет, хоть лопни от крика. Запрещено на руки брать. Только менять мокрые пеленки. Если их, конечно, хватает. В ползунковой группе они все толпятся в манежах, ползают, смотри только, не убили бы друг друга или глаза не выкололи. А сейчас — сами видите. Дай бог успеть всех накормить да на горшки высадить.

— Надо с ними занятия проводить. Песни... Стихи... Сказки им рассказывать...

— Попробуйте! У меня так к концу дня еле сил хватает до нар доползти. Не до сказок...

Работы, действительно, было невпроворот. Таскать воду четырежды в день из кухни — а она в противоположном конце зоны, — оттуда же переносить тяжелые котлы с едой. Ну и, конечно, кормить, сажать на горшки, менять штаны, спасать от огромных белесых комаров... А главное — полы. Чистота полов в лагерях вообще составляла предмет помешательства начальства. Так называемое «санитарное состояние» определялось только белизной полов. Любая удушливая гарь и вонь в бараках, любые окаменевшие от грязи лохмотья проходили мимо взоров хранителей чистоты и гигиены. Но не дай бог, если недостаточно блестят полы. Так же неусыпно блюли «половой вопрос» и в деткомбинате. А полы были некрашенные, и их надо было скоблить ножом до блеска.

Однажды я все-таки попробовала осуществить свой план занятий по развитию речи. Раздобыв огрызок карандаша и кусок

бумаги, я нарисовала ребятам классический домик с двумя окошками и трубой, из которой валил дым.

Первыми отреагировали на мое начинание Стасик и Верочка, четырехлетние близнецы, больше всех остальных напоминавшие «материковых» детей. Аня говорила мне, что их мать Соня — чистая бытовичка, не блатная, а какая-то просчитавшаяся бухгалтерша, спокойная хорошая женщина средних лет — работала в нашей лагерной прачечной, то есть на одной из самых привилегированных лагерных работ. Раза два-три в месяц она, пользуясь знакомством с вохровцами, которых она по блату обстирывала, пробиралась в деткомбинат. Здесь она, тихо всхлипывая, расчесывала осколком гребешка Стасику и Верочке волосики и совала им в рот, вынимая из кармана, ядовито-розовые леденцы. На воле Соня была бездетна, а тут, от случайной связи, сразу пара.

— Так что детей своих она обожает. Да вот перед самым вашим приходом погорела, бедняжка. На связи с вольнягой попалась. Так что сейчас она загремела на самый дальний сенокосный этап. С детьми разлучили, — рассказывает Аня своим бесстрастным менонитским голосом.

А я сразу вспоминаю, что Стасик и Верочка — единственные из всей группы знают загадочное слово «ма-ма». А сейчас, когда маму отправили, они иногда повторяют это слово с грустно-вопросительной интонацией и при этом недоуменно оглядываются вокруг.

— Посмотри, — сказала я Стасику, показывая ему нарисованный мною домик, — что это такое?

— Барак, — довольно четко ответил мальчик.

Несколькими движениями карандаша я усадила у домика кошку. Но ее не узнал никто, даже Стасик. Не видели они никогда такого редкостного зверя. Тогда я обвела домик идилическим традиционным забором.

— А это что?

— Зона! Зона! — радостно закричала Верочка и захлопала в ладоши.

Однажды я заметила, что вахтер на деткомбинатовской вахте играет с двумя маленькими щенятами. Они копошились на какой-то подстилке прямо на вахтерском столе, рядом с телефоном. Наш страж почесывал щенят то за ушами, то под шейкой, и на деревенском лице его выражалась такая умиленность, такой добрый юмор, что я решила:

— Гражданин дежурный! Дайте их мне! Для детей... Никогда ведь ничего, ну как есть ничего не видали... Кормить будем... В группе остается иногда...

Растерянный неожиданностью просьбы, он не успел стереть

с лица человечность и натянуть свою обычную маску бдительности. Я застала его врасплох. И он, приоткрыв дверь вахты, протянул мне щенят вместе с подстилкой.

— Недельки на две . . . Пока подрастут . . . А там — вернете. Собаки-то деловые!

В сенях, при входе в барак старшей группы, мы создали этот «живой уголок». Дети дрожали от восторга. Теперь самым страшным наказанием была угроза: «Не пойдешь к собачкам!» А самым большим поощрением — «Пойдешь со мной собачек кормить!» Самые агрессивные и прожорливые ребята с радостью отламывали кусочки своей порции белого хлеба для Бачка и Черпачка. Так называли щенят именно теми словами, которые были хорошо понятны детям, повторялись в их быту. И дети поняли шутливый характер этих кличек и весело смеялись.

Кончилось все это дней через пять. И большой неприятностью. Главный врач деткомбината, вольный главврач Евдокия Ивановна, обнаружив наш «живой уголок», страшно разволновалась.

Очаг инфекции! Нет, недаром ее предупреждали, что эта пятьдесят восьмая на все способна!

Щенят она приказала немедленно сдать охране, а мы несколько дней ходили как в воду опущенные, ожидая репрессий: снятия с этой легкой работы и отправки на сенокос или лесоповал.

Но в это время началась эпидемия поноса в грудниковых группах, и в больших хлопотах, очевидно, главврач забыла про нас.

— Ладно, — сказала Аня Шолохова, — обошлось! Не будем горевать. Тем более, собачки-то действительно были «деловые». Те самые овчарки, которые вырастут и пойдут с нами на развод. А при случае и схватят любого зэка за горло . . .

Да, но ведь это еще когда вырастут! А пока . . . Как «по-материковски» улыбались им наши дети! Как оставляли им еды, приговаривая: «Это — Бачку! Это — Черпачку!»

Впервые догадались, что можно думать не только о себе самом . . .

. . . Эпидемия поноса упорно не шла на убыль. Грудники умирали пачками, хоть их старательно лечили и вольные и заключенные врачи. Но условия, в каких вынашивались эти дети тюрьмы, горечь материнского молока, да и климат Эльгена — все это делало свое дело. Главная беда в том, что и этого, прогоркшего от горя материнского молока было мало и с каждым днем становилось меньше. Редкие счастливицы пользовались материнской грудью два-три месяца. Остальные все были искусственниками. А для борьбы с токсической диспепсией не



было ничего более важного, чем хоть несколько капель женского молока.

Пришлось мне расстаться с моими старшими. Приглашенный на консилиум заключенный врач Петухов посоветовал перевести меня как «культурную сестру» к больным грудникам. Взялся сам меня проинструктировать. Несколько дней я ходила в больницу заключенных, где работал Петухов, и он в спешном порядке обучал меня всему. Я добросовестно проштудировала «Справочник фельдшера». Научилась ставить банки и делать инъекции. Даже внутривенные вливания. Вернулась в деткомбинат законченной «медперсоной», ободряемая похвалами Петухова.

(За доброту, ум и честность выпало доктору Петухову великое, поистине уникальное в те годы счастье: в том же сороковом его вдруг неожиданно реабилитировали, и он уехал в Ленинград. Говорили, что известный летчик Молоков — брат его жены — лично вымолил у Сталина своего родственника.)

... Кроватки младенцев стоят впритирку. Их так много, что если непрерывно перепеленывать всех подряд, то к первому вернешься не раньше чем часа через полтора. А все подопрели, исхудали, извелись криком. Одни пищат жалобно и тоненько, уже не рассчитывая на результат. Другие орут отчаянно и дерзко, активно отстаивают себя. А некоторые уже не кричат. Только стонут, как взрослые.

Мы как заводные. Кормим из бутылочек, вливаем лекарства, делаем уколы и, главное, — перепеленываем. Крутим без конца бязевые, плохо просушенные пеленки. От этого четырнадцатичасового кружения на ногах, от тяжелого смрада, идущего от огромной кучи измаранных пеленок, — перед глазами туман. Даже есть нам — всегда голодным — уже не хочется. Жидкую манную кашу, остающуюся от детей, мы глотаем с отвращением, чтобы только поддержать существование.

Но самое ужасное — это то, что каждые три часа, с очередным разводом, приходят «на кормежку» мамки. Среди них есть и наши, политические, рискнувшие произвести на свет эльгенское дитя. С тоскливо-вопросительным выражением лиц они заглядывают в наши двери. И не поймешь, чего они больше боятся: того, что младенец, родившийся в Эльгене, выживет, или того, что он умрет.

Однако основная масса мамок — это блатные. Каждые три часа они устраивают погром против медперсонала. Материнские чувства — отличный повод для бесчинств. С непотребной бранью врываются они в группу, проклиная нас и грозя убить или изуродовать в тот самый день, как умрет Альфредик или Элеонорочка. (Они всегда давали детям роскошные заграничные имена.)

... Когда меня перевели на работу в изолятор, я сначала

даже довольна была. Там все-таки поменьше детей, только сложные или острозаразные больные. Там будет физическая возможность каждому уделить внимание. Но оставшись впервые на ночное дежурство, почувствовала почти непереносимый приступ тошноты душевной.

Вот они лежат — маленькие мученики, родившиеся для одних страданий. У того годовичка с приятным круглым личиком уже начался отек легких. Он хрипит и судорожно дергает руками с ярко-синими ногтями. Как скажу матери? Это Маруся Ушакова из нашего барака . . .

А вот этот — за грехи отцов. Порождение проклятого блатного мира. Врожденный люэс.

Те две крайние девочки умрут, наверно, сегодня, при мне. На камфаре держатся. Заключенный врач Полина Львовна, уходя в зону, долго просила меня не жалеть иглу.

— Пусть хоть до девяти утра протянут . . . Чтобы экзитус не в наше дежурство.

Полина Львовна из Польши. Только два года до ареста успела прожить у нас. Не то с непривычки к нашим порядкам, не то просто по натуре, но только боязлива она, бедняга, до крайности. Боязлива и рассеянна. Прикладывает фонендоскоп к груди двухмесячного и деловито приказывает ему: «Больной, дышите! Теперь задержите дыхание!» Невропатолог она. Непривычна к детской практике.

Особо запомнилась одна ночь в изоляторе. Не простая, а белая. Одна из последних в том году белых ночей. Нисколько она не была похожа на ленинградскую. Никаких золотых небес и никаких, естественно, спящих громад. Наоборот, нечто первобытное, нечто глубоко враждебное человеку ощущалось в этом студенистом белом разливе, в котором как-то колебались привычные формы: и сопки, и растительность, и строения. Звон ввинчивался не только в уши, но и в сердце. И никакой накомарник не спасал от ядовитых укусов этой летучей нечисти, похожей на обычных материковских комаров в такой степени, в какой разъяренный тигр — на домашнюю кошку.

Свет, как это часто бывало, вдруг погас. Только небольшой ночник слабо мигал на столе, и при его колеблющемся свете я каждый час делала уколы умирающей девочке. Эта пятимесячная дочка двадцатилетней матери-бытовички уже давно лежала здесь, в изоляторе, и каждая дежурная при передаче смены говорила: «Ну, эта, наверно, сегодня . . .»

А она все теплилась. Скелетик, обтянутый стариковской морщинистой кожей. А лицо . . . Лицо у этой девочки было такое, что ее прозвали Пиковой Дамой. Восьмидесятилетнее лицо, умное, насмешливое, ироническое. Как будто все-все было

понятно ей, на короткий миг брошенной в нашу зону. В зону злобы и смерти.

Я колола ее большим шприцем, а она не плакала. Только чуть покряхтывала и в упор смотрела на меня своими всеведущими старушечьими глазами. Умерла она перед самым рассветом, близко к тому рубежу, когда на безжизненном фоне белой ночи Эльгена начинают мелькать неясные розоватые блики.

Мертвая — она опять стала младенцем. Разгладились морщины, закрылись глаза, преждевременно постигшие все тайны. Лежал изможденный мертвый ребенок.

— Светочка скончалась, — сказала я своей сменщице, передавая дежурство.

— Какая Светочка? Ах, Пиковая . . . — Она осеклась, взглянув на вытянувшееся тельце. — Правда, на Пиковую больше не похожа. А матери нет . . . В этап, на Мылгу угнали . . .

Их нельзя забыть, эльгенских детей. Нет, нет, тут даже и сравнения быть не может с детьми, скажем, еврейскими, в империи Гитлера. Эльгенских детей не только не уничтожали в газовых камерах, но еще и лечили. Их кормили досыта. Я должна подчеркнуть это, чтобы не отступить ни в чем от правды.

И все-таки, когда вспоминаешь плоский, серый, подернутый тоской небытия пейзаж Эльгена, то самым невысказанным, сатанинским измышлением кажутся в нем именно эти бараки с надписями «Грудниковая группа», «Ползунковая», «Старшая» . . .

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### «ВЕТЕРОК В КУСТАХ ШИПОВНИКА . . .»

Откуда они взялись, эти дети? Почему их так много? Неужели в этом мире колючей проволоки, дозорных вышек, разводов, поверок, отбоев, карцеров, этапов — кто-то еще может испытывать чувство любви или хотя бы примитивного влечения?

Помню, в юности (которая, к счастью, прошла до эпохи сексуальной революции) меня волновало гамсуновское определение любви. «Что такое любовь? Ветерок ли, шелестящий в кустах шиповника, или вихрь, ломающий мачты кораблей? . . . Это золотое свечение крови . . .»

Этому противостоял циничный афоризм одного из ранних эренбургских персонажей: «Любовь — это когда спят вместе . . .»

Для Колымы сороковых годов даже и это определение было бы слишком идеализированным. Когда спят вместе . . . Но ведь

это значит, что у них есть крыша над головой, общая крыша. И какое-то ложе, на котором они могут спать, принадлежа во сне только самим себе и друг другу.

Любовь в колымских лагерях — это торопливые опаснейшие встречи в каких-нибудь закутках «на производстве», в тайге, за грязной занавеской в каком-нибудь «вольном бараке». И всегда под страхом быть пойманными и выставленными на публичный позор, а потом попасть на штрафную, на жизнеопасную «командировку», то есть поплатиться за это свидание не чем-нибудь — жизнью.

Многие наши товарищи решили этот вопрос не только для себя, но и, принципиально, для всех, с беспощадной логикой настоящих потомков Рахметова. На Колыме, говорили они, не может быть любви, потому что она проявляется здесь в формах, оскорбительных для человеческого достоинства. На Колыме не должно быть никаких личных связей, поскольку так легко здесь соскользнуть в прямую проституцию.

Принципиально возразить тут вроде бы и нечего. Наоборот, можно только проиллюстрировать эту мысль бытовыми колымскими сценами купли-продажи живого товара. Вот они, такие сцены.

(Оговариваюсь: я веду речь только об интеллигентных женщинах, сидящих по политическим обвинениям. Уголовные — за пределами человеческого. Их оргии не хочу я живописать, хоть и пришлось немало вынести, становясь их вынужденным свидетелем.)

Лесоповал на седьмом километре от Эльгена. Наш бригадир Костик-артист идет по тайге не один, а в сопровождении пары «корешей». Они деловито осматривают наших женщин, орудующих пилами и топорами.

— Доходяги! — машет рукой «кореш».

— Подкормишь! Были бы кости — мясо будет, — резонерствует Костик. — Вон к той молоденькой давай, к пацаночке!

Улучив минуту, когда конвоиры греются у костра, они подходят к двум самым молоденьким девушкам из нашей бригады.

— Эй, красючка! Тут вот кореш мой хочет с тобой обменяться мнением . . .

«Обменяться мнением» — это формула вежливости, так сказать, дань светским приличиям. Без нее не начинается переговоров даже самый отпетый урка. Но ею же и исчерпывается вся «черемуха». Дальше высокие договаривающиеся стороны переходят на язык, свободный от всяких условностей.

— Экспедитором я на Бурхале. (Один из самых страшных приисков.) Так что даю сахар-масло-белый хлеб. Сапоги дам, валенки, телогрейку первого срока . . . Знаю, что тюрзак . . .

Ничего, с вохрой договоримся. Дороже, конечно, станет. Хавира тоже есть. Километра три тут . . . Ничего, притопаешь . . .

Чаще всего такие купцы уходили несолоно хлебавши. Ну а иногда и слаживалось дельце. Как ни горько. Так вот и выходило. Постепенно. Сперва слезы, ужас, возмущение. Потом — апатия. Потом все громче голос желудка, да даже не желудка, а всего тела, всех мышц, потому что ведь это было трофическое голодание, вплоть до распада белка. А порой и голос пола, просыпавшийся несмотря ни на что. А чаще всего — пример соседки по нарам, поправившейся, приодевшейся, сменившей мокрые расплзающиеся чуни на валенки.

Трудно проследить, как человек, загнанный бесчеловечными формами жизни, понемногу лишается привычных понятий о добром и злом, о мыслимом и немыслимом. Иначе откуда же в деткомбинате такие младенцы, у которых мама — кандидат философских наук, а папа — известный ростовский домушник!

Некоторые из тех женщин, у кого были небольшие сроки и кто успел выйти из лагеря еще до начала войны, но без права выезда на материк (часто бывшие коммунистки со статьей КРТД, получавшие в тридцать пятом всего по пять лет!), перешагнув порог лагеря, стремительно вступали в колымские браки, абсолютно не стесняясь мезальянсов. Помню такую Надю, которая накануне своего освобождения вызывающе швыряла в лицо своим барачным оппоненткам:

— Ну и засыхайте на корню, чистоплюйки! А я все равно выйду за него, что бы вы ни говорили! Да, он играет в подкидного дурака, да, он говорит «моё фамилие» . . . А я кончила иняз по скандинавским языкам. Только кому они теперь нужны, мои скандинавские! Устала я. Хочу свою хату и свою печку. И своих детей. Новых . . . Ведь тех, материковских, больше никогда не увидим. Так рожать скорей, пока еще могу . . .

Иногда вместо трагического надрыва возникала чистая юмористика. Вот, например, новелла о том, как Соня Большц «вышла замуж не отходя от кассы».

Тихая непритязательная Соня, швейница из белорусского городка, умудрилась отхватить солидную статью — КРТД, чему сама она не переставала удивляться. Из восьми назначенных Соня отсидела уже пять, когда вдруг из Москвы прибыла бумага, в которой Сонины преступления переквалифицировались с «контрреволюции» на «халатность» и срок, соответственно, сокращался до трех лет.

Обезумевшая от радости Соня не обратила никакого внимания на то, что бумага шла ровно два года. Главное заключалось в том, что она должна была сейчас же, незамедлительно ехать в Ягодное, где освобождали. Там производилось священное

«оформление» так называемой «формы А», переводившей заключенного в разряд «бывших заключенных», вольноотпущенников.

В Ягодном, в управлении лагерей, открывалось по определенным дням окошечко, вроде кассового. Именно из-этого окошечка и принимал дрожжащими от счастья руками бывший (уже бывший!) эзка благословенную «форму А». На окрестных приисках всегда знали, когда предстоит освобождение группы женщин с Эльгена, и к этому времени съезжались женихи.

Когда Соня Больш, сложив «форму А» вчетверо, благоговейно увязывала ее в платок, к ней подошел рослый детина в лохматой меховой шапке и хриповато сказал:

— Я извиняюсь, гражданочка... Вы освободились? Ну и лады... Сам-то я с Джелгалы. Человек, хошь кого спросите, самостоятельный. Желая обменяться мнением...

Соня критически осмотрела претендента и задала несколько неожиданный вопрос:

— Скажите, а вы — не еврей?

— Нет, гражданочка, чего нет, того нет... Врать не стану... Сами-то мы сибирские, с-под Канску...

— И чего это я спрашиваю, — вздохнула Соня, — откуда взяться вольному еврею на этой проклятой земле! Еще хорошо, что вы не этот... каракалпак... Я знаю?

И после небольшой паузы исчерпывающе добавила:

— Я согласна.

Смешнее всего, что эта пара прожила потом долгие годы в добром согласии, а в пятьдесят шестом, после реабилитации, супруги вместе выехали в Канск.

Вот такое — и смешное, и трагическое — окружало нас в нашем странном первозданном быту.

Ну а любовь? Та самая, гамсуновская, которая «золотое свечение крови»? Я утверждаю, что и она порой появлялась среди нас. Сколько бы ни отрицали возможность чистой любви на Колыме наши ригористы (а их было особенно много среди меньшевиков и эсеров), а любовь была. Поселялась иногда в наших бараках, поруганная, оскверненная, захватанная грязными лапами, неузнанная окружающими, но по сути она, все равно ОНА, та самая, «ветерок в кустах шиповника».

Вот, например, одно из ее таинственных появлений.

... Проверка. После пересчета наличного состава нам читают приказ начальницы лагеря Циммерман о взысканиях. Сама Циммерман — особа просвещенная, но ведь она только подписывает приказы, а редактирует их начальник режима. Мелькают формулы: «Пять суток карцера с выводом на работу», «Пять суток карцера без вывода на работу»...

И наконец мы слышим пункт приказа, который вызывает смех

даже в наших рядах, среди людей, униженно слушающих с замиранием сердца, кому из них не дано на сегодняшнюю ночь блаженство барачных нар, для кого эта ночь обернется вонючими, мерзлыми досками карцера.

«За связь зэка с зэкою, — читает дежурный вохровец, — выразившуюся в простое лошади сроком два часа . . . пять суток без вывода» . . .

Позднее это выражение «связь зэка с зэкою, выразившаяся в простое лошади», станет ходовым словом в нашем лагере. Но сейчас смех быстро стихает, гаснет, сменяясь ужасом. Пропали ОНИ теперь . . .

ОН — в прошлом актер, мейерхольдoveц, ОНА — балерина. Их бывшие профессии создали им на какое-то время привилегированное положение в лагере. В Магадане они оба были включены в состав так называемой культбригады. Этот крепостной театр, поставлявший зрелища начальству, скучающему в глуши, и кормил своих заключенных актеров и под разными предлогами давал им относительную свободу бесконвойного хождения.

Им удастся встречаться вне лагеря. Счастье! Счастье особенно острое, может быть, от сознания его шаткости, ежеминутной уязвимости. Оно — счастье — длится ровно пять месяцев. Потом обнаруживается ЕЕ беременность. А для забеременевших в лагере — путь проторенный: этап в Эльген, поближе к «мамкам», к деткомбинату.

Разлука. Штрафница-мамка получает теперь чуни и бушлат третьего срока вместо «пачки» и балетных туфель. Маленький сын умирает в деткомбинате, не дожив до полугода.

Для того чтобы встретиться с НЕЙ, ОН симулирует потерю голоса. Играть на сцене ОН больше «не может», и знакомый нарядчик, обозвав ЕГО ослом, все-таки «устраивает» его в этап на Бурхалу, прииск, расположенный неподалеку от Эльгена.

Теперь, вместо привольной жизни актера крепостного театра, ОН добровольно переносит все ужасы смертоносной Бурхалы. «Вкалывает» в забое. Болеет, «доходит». Через некоторое время ему удастся попасть в таежную культбригаду Севлага, которая время от времени приезжает к нам в Эльген и тешит эстрадным репертуаром погибающее от зеленой скуки эльгенское начальство. В задние ряды допускаются в виде поощрения и зэки из придурков и ударников производства.

Встретились! Встретились! Задыхаясь от жгучего горя и от счастья, ОНА стоит рядом с НИМ за кулисами эльгенского лагерного клуба. Постаревшая в свои двадцать шесть, изможденная, некрасивая, единственная, наконец-то вновь обретенная.

Задыхаясь, она повторяет все одно и то же: как похож был на НЕГО маленький сынок, даже ноготки на пальчиках точь-

в-точь папины. И как маленького в три дня скрутила токсическая диспепсия, потому что у НЕЕ молоко совсем пропало и малыш был чистый искусственник. ОНА все говорит и говорит, а ОН все целует ЕЕ руки с неотмываемыми, обломанными ногтями и умоляет ЕЕ успокоиться, потому что у НИХ будут еще дети. И ОН сует ей в карманы бушлата куски сэкономленного хлеба и кусочки пиленого сахара, вываленного в махорке.

У НЕГО большие связи во влиятельных кругах придурков. ЕМУ удастся пристроить ЕЕ на «блатную», по эльгенским понятиям, работенку — возчиком на конбазу. Это почти счастье. Без конвоя ведь! ОНА стала поправляться. Опять похорошела. Записки от НЕГО получает регулярно. И на что надеются? У обоих по десятке и по пяти — поражения. А разве надо обязательно надеяться? Перечитает записку сто раз — и смеется от счастья.

Почему же вдруг «пять суток без вывода»? Оказывается, ОН при помощи каких-то знакомых лагерных чинов, покровительствующих искусству, сумел получить фиктивную командировку в Эльген и подстерег ЕЕ с ее лошаденкой около Волчка, в четырех километрах от зоны. И конечно же, они привязали к дереву эту лошаденку, кривоногую низкорослую якутку. А какая-то тварь засекла их и настучала по начальству. Вот и получилось происшествие, караемое карцером: «связь зэка с зэкою, вырвавшаяся в простое лошади сроком на два часа».

Проверка окончена. Сейчас явится конвоир, чтобы вести наказанных в карцер.

— Только бы ЕГО не тронули, — говорит ОНА, натягивая на себя лохмотья в предвидении промозглой сырости карцера, — только бы не ЕГО! Ведь у него после прииска хронический плеврит . . .

— Где ОНА? Вот записка!

Катя Румянцева, бесконвойная, возит воду на бычке. Молочина: сумела-таки пронести записку через вахту!

— Слава богу! Все в порядке! — радостно восклицает ОНА, пробегая записку. — Завтра и послезавтра у них выступление для ягоднинского начальства. Поэтому в карцер его не берут, только выговор объявили . . . Нужен он им! А я-то что . . . Я выдержу . . .

И ОНА первая изо всех карцерных идет к дверям барака, направляясь на пять суток в преисподнюю своей изящной походкой балерины.

Завидуйте им, люди!



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ  
МЕЖДУ УРЧЕМ И КАВЕЧЕ

Год работы в деткомбинате — это период лагерной передышки. Каждое утро я благословляю судьбу и доктора Петухова, сделавшего меня «медперсоной». На мне чистая телогрейка. По утрам я выхожу из центральной эльгенской зоны со вторым разводом. И не в колкий туман оконечней декабрьской или январской тайги, а в барак деткомбината, теплый и успокоительно пахнущий замаранными пеленками. Ежедневно я получаю солидную порцию манны небесной — жиденкой манной каши, остающейся от детей. Наконец, я живу в бараке, где дневальной милая Марья Сергеевна Догадкина, где по вечерам гудит железная бочка и булькает в большом чане кипяток. У меня всегда есть возможность укрыться от стужи, а перед сном я могу даже позволить себе роскошь — почитать стихи, всласть начитаться, забравшись на вторые нары в гости к Лене Якимец.

Вот сегодня, например, мы заговорщическим шепотом ВЫДАЕМ друг другу Гумилева. Как он утешает здесь! Как отратно вспомнить здесь, на Эльгене, что далеко-далеко, на озере Чад, изысканный бродит жираф. Так и бродит себе, милый, пятнистый, точно ничего не случилось. Потом, перебивая друг друга, вспоминаем от начала до конца стихи о том, как старый ворон с оборванным нищим о ВОСТОРГАХ вели разговоры. Это самое главное: уметь помнить о восторгах даже на верхних эльгенских нарах . . .

*Старый ворон в тревоге всегдашней  
Говорил, трепеща от волненья,  
Что ему на развалинах башни  
Небывалые снились виденья . . .*

Лена работает кровельщиком. Целый день кроет бараки финской стружкой. Она очень ценит свою работу. Не то что на обших. Главное — жилье всегда рядом. Всегда можно забежать в барак, когда уж очень сведет руки-ноги. Не в тайге. Но все-таки так намерзнется за день, бедняга, что уже почти сквозь сон доборматывает:

*Что в полете свободном и смелом  
Он не ведал тоски их жилища  
И был лебедем, нежным и белым . . .*

Лена засыпает, а я договариваю:

*Принцем был отвратительный нищий . . .*

. . . Мне-то хорошо: я со вторым разводом. А Лене — с первым. Это в половине шестого утра. Свинцового эльгенского утра. С первым идут кровельщики, работники агробазы, конбазы. А деткомбинат, больница, управление совхоза — это со вторым.

На целый час позднее. И какой же он сладкий, этот утренний час дремоты, когда уже все слышишь, но в то же время каждой клеточкой угревшегося под бушлатом тела смакуешь минуты зыбкого покоя.

— Первый развод! — провозглашает Марья Сергеевна. — Вставайте, девушки, кто с первым разводом!

Вот они уже, кряхтя, наворачивают портянки, вот звякают черпачками, наливая в кружки кипяток. А мы поворачиваемся на другой бок, и смутный стыд за эту привилегию не может пересилить великой радости — смежить веки и еще на целый час отсрочить начало нового дня.

Есть еще и третий развод. Но это уже для аристократии, живущей не у нас, а в бараке обслуги. Там придурки: нарядчики, старосты, работники столовой и хозчасти. У них в бараке вместо нар — отдельные топчаны и тумбочки у каждого спального места. Стол в середине барака покрыт промереженной скатертью из чисто вымытой мешковины, а лампочка над столом светит так ярко, что по вечерам вполне можно читать и вышивать.

Самое страшное — когда злодейство входит в повседневность, становится бытом. У нас уже выработалась привычка к этому, с позволения сказать, жизненному укладу, и мы говорим о деталях нашего существования как о чем-то нормальном. Все дальше в прошлое уходят картины прежней, дотюремной жизни, все чаще с искренней убежденностью повторяется остроумная поговорка блатарей: «Это было давно и неправда!»

Никто уже почти не вспоминает о том, кем была, например, на воле Елена Николаевна Сулимова, жена бывшего председателя Совнаркома РСФСР. Научный работник, врач, она воспринимается теперь всеми только как доходяга. Даже не доходяга, а настоящий ф и т и л ь. Она не расстается с задубевшим от грязи бушлатом, прячется от бани и ходит по столовой с большим ведерком, в которое она сливает изо всех мисок остатки баланды. Потом садится на ступеньки и жадно, как ч а й к а, глотает эти помои прямо из ведра. Уговаривать ее бесполезно. Она сама забыла себя, прежнюю.

Зато Маруся Острейко, староста зоны, умудряющаяся даже здесь поддерживать перекисеводородный цвет локонов, бегаёт по зоне в кокетливом меховом тулупчике и звонко кричит: «Женщины, давайте! Давайте, женщины!» Маруся — существо явно высшее, независимо от того, кем она была на воле.

Как ни странно, но и здесь сложилась категория номенклатурных работников. Те, кто уже побывал в нарядчиках, старостах, работниках КАВЕЧЕ, обычно снова попадают в придурки, даже если по какой-либо провинности и были временно сняты с должности.

Наш седьмой барак, где дневальной Марья Сергеевна, предназначен для лагерного третьего сословия. Не для придурков, но и не для «работяг», не вылезających с общих наружных работ. Здесь живут те, кто имеет уже определенную лагерную специальность и ценится на производстве. Тепличницы с агробазы, возчики и конюхи с конбазы, санитарки, медсестры, уборщицы.

Марья Сергеевна строго требует, чтобы каждая ежедневно приносила с работы хоть по маленькому полешку дров. Вот где хошь, там и бери! Хоть и трудно порой это полешку украсть и пронести под бушлатом через вахту, но все же требование справедливое.

Зато у нас в бараке всегда тепло. И есть котелки, — добыла Марья Сергеевна, — чтобы вечерами варить потихоньку от надзора удивительные кушанья из мороженого турнепса. И пайки с вечера аккуратно сложены на фанерном подносе и довесочки приколоты щепочками, а на горбушку соблюдается железная очередь. За ночь Марья Сергеевна встанет не раз, чтобы перевернуть сохнущую у железной печки обувь. Так что к утру у нас все сухое.

Хорошо у нас в бараке! Особенно по вечерам, когда так мирно пахнет вареным турнепсом, постирушкой, а иногда даже рыбьим жиром, который умудряются потаскивать работники больницы.

Но весь этот уют расположен на вершине дремлющего вулкана. Потому что существует УРЧ — главная исполнительная власть нашего фантастического государства. И в любой момент может хлопнуть барачная дверь, может войти нарядчик с длинными полосами бумаги в руках. Это списки этапов, составленные в УРЧе. Особенным этапным голосом, беспощадным и заранее отвергающим все вопросы, он будет выкликать фамилии отправляемых на точки командировки. И все будут сидеть на нарах, неподвижные как изваяния, а те, кто услышит свою фамилию, будут тихо охать и скрючиваться, точно в них попала пуля.

Многие считали, что потрясение от вызовов на этап ничуть не легче первого ареста. Даже, пожалуй, тяжелее. Там еще была надежда на ошибку, на недоразумение. А здесь недоразумений быть не может, потому что так решил сам УРЧ. Безошибочно и точно тебя выталкивают из закутка, где ты притаился в надежде, что тебя забудут. Нет, вспомнили. И вот выталкивают тебя снова в ледяную мглу.

Особенно болезненно воспринимали появление в бараках урчевских гонцов и приказных те заключенные, кто находился в Эльгене еще в тридцать седьмом-восьмом, пока мы, тюрзаки, сидели в ярославских одиночках.

— Хоть вы, тюрзак, и считаетесь самыми-рассамыми опасными политическими преступниками, а ведь, пожалуй, главного-то ужаса вы и не видели, отсиделись от него в своей Ярославке, — говорят нам старые эльгенские жительницы, обладательницы статьи КРТД — Соня Тучина, Маша Ионович, Люся Джапаридзе, дочь расстрелянного бакинского комиссара.

С их слов мы знаем, что означало появление в бараке гонца из УРЧа в тридцать седьмом, в разгар «гаранинщины». Особенно если гонец являлся к ночи.

— На Серпантинку! А оттуда еще никто не возвращался...

Полковник Гаранин, наместник Сталина на этой окоченевшей колымской земле, император и самодержец всеколымский в конце тридцатых годов. Полковник был всем сердцем предан интересам производства. Он так болел за план добычи золота, что не в силах был сдержать праведный гнев, если видел, что какой-нибудь враг народа, симулируя болезнь или слабость от голода, вяло управляется со своей тачкой. И так как полковник Гаранин был натурой порывистой и пылкой, то он нередко выхватывал свой револьвер и сражал симулянта наповал прямо в забое, у рабочего места.

Впрочем, чаще полковник проявлял похвальную выдержку и предварительно заносил фамилии саботажников в записную книжку. Уже потом, на другой день, он издавал приказ: таких-то и таких-то за контрреволюционный саботаж, выразившийся в систематическом невыполнении плана, — к высшей мере наказания.

Такие списки читались на разводах и поверках. Прочтут и добавят: приговор приведен в исполнение.

Иногда люди попадали в гаранинские списки и без личных столкновений с полковником, очевидно просто по характеру своих следственных дел. И снова в бараке появлялся гонец УРЧа, окруженный вохровцами и режимниками.

— Такая-то — с вещами! Еще такая-то — с вещами!

Люди вскакивали с нар и начинали судорожно, с маниакальной настойчивостью разыскивать свои мокрые портянки, сушившиеся у печки. Урчевцы торопили их, довольно прозрачно намекая, что портянки вряд ли понадобятся.

Среди имен невернувшихся мне особенно запомнилось имя старой коммунистки Нушик Заварьян. О ее поступке уже несколько лет передавали из уст в уста. Наша Марья Сергеевна рассказывала историю Нушик каждой новой квартирантке своего барака.

— Видно, надоело ей жить... Гордая была... Голод-холод терпела, а вот унижения-то ей обрядли. Взяла да и написала начальнику Дальстроя заявление. До каких, мол, пор такой

произвол и беззаконие! А самое интересное — это адрес. Как она свое заявление адресовала! «Генерал-губернатору Колымы от заключенного большевика-ленинца Нушик Заварьян» . . . Ну и увезли на Серпантинку . . .

Отдельным счастливчикам из попавших в сферу гаранинского правосудия удавалось ограничиться новым сроком. Так и называлось — гаранинский срок. В нашем бараке, например, такой новый десятилетний срок вдобавок к старому получила Лиза Кешви, родственница Николаева, официального убийцы Кирова.

Мы, тюрзаки, прибывшие на Колыму в тридцать девятом, Гаранина уже не застали. Судьба его нам неизвестна. Но позднее мы узнали, что на Печоре существовал некто Кашкетин — двойник Гаранина по стилю и методам работы. Так что ясно: такие «превышающие власть» раздражительные темпераментные полковники, помогающие сталинской юстиции справляться с огромными массами саботажников, не были чем-то исключительным, а составляли часть хорошо разработанного общего плана.

Теперь, после тридцать девятого, деятельность этих людей уже вроде бы отошла в прошлое. В наше время набеги из УРЧА могли означать всего-навсего отправку на такие работы, где почти невозможно выжить. А новые дела, с расстрелами в итоге, заводились теперь индивидуально, по сексотовским материалам, через оперуполномоченного.

Кроме того, теперь, наряду с УРЧем, нами усердно занималась и КАВЕЧЕ — культурно-воспитательная часть. Это уже само по себе было явлением прогрессивным, так как работа КАВЕЧЕ, очевидно, исходила из допущения, что оголтелые враги народа могут все-таки поддаваться благотворным воспитательным усилиям.

КАВЕЧЕ вывешивала плакаты и лозунги. В столовой: «Мойте руки перед едой!» и «Стланик предохраняет от цинги!» В лагерьном клубе: «Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся». У ворот зоны: «Выполним и перевыполним производственный план совхоза за такой-то квартал!»

Политическое просвещение сводилось в основном к громкой читке газет полугодовой давности. Но у нас, в деткомбинате, заключенные врачи и медсестры допускались на политзанятия, которые проводила с вольняшками главный врач Евдокия Ивановна.

Врачом Евдокия Ивановна стала уже после срока, начав с санитарки. Сейчас ей было за пятьдесят, но она все еще не переставала внутренне удивляться и своей прическе «перманент», и своему волшебному умению писать рецепты по-латыни. Безгранично преданная строю и фанатически верующая в марксизм-

ленинизм, она без тени сомнения приняла на веру все, что ей говорили о террористах и диверсантах при ее оформлении на работу в системе Дальстроя. Однако крестьянское чувство реальности заставляло ее порой как-то пристально приглядываться к нам и даже пускаться в туманные рассуждения насчет коварных агентов международного империализма, сумевших обойти и втянуть в свои гнусные дела молодых и в общем-то вроде бы неплохих бабенок.

Исходя из этой своей теории, Евдокия Ивановна и предложила нашему КАВЕЧЕ допускать нас — заключенных работниц деткомбината — на ее политзанятия. Старательно подавляемое чувство человечности и сочувствия нам вылилось у нее в горячее желание перевоспитать нас, врагов народа, непостижимо оказывающихся при повседневном общении добросовестными работниками и даже, черт возьми, славными людьми. Главврач твердо решила помочь нам вернуться в семью трудящихся. Именно для этого она и включилась в число добровольных активистов нашего КАВЕЧЕ.

Мои чувства к главврачу были совершенно такие же. Мне тоже ужасно хотелось заняться ее воспитанием. Потому что, несмотря на все ее пространные речи о величии Сталина и злодействах врагов, пробравшихся на командные посты в нашей партии, несмотря на весенний эпизод со щенятами, я чувствовала симпатию к этой типичной рабфаковке и женотделке, научившейся писать рецепты по-латыни. Почему-то мне казалось, что и мои когдатощные усилия вложены в дело превращения санитарки Дуси в главврача Евдокию Ивановну. Иногда я так ясно представляла себе эту Дусю преданно слушающей мою лекцию, сидя на первой скамейке большой рабфаковской аудитории.

Но поскольку мне, заключенной медсестре, вряд ли пришлось бы теперь заняться ее воспитанием, я охотно согласилась пойти послушать, как она будет перевоспитывать меня. Пусть в непосредственном человеческом общении начинает помаленьку мучиться: если, мол, это враги, то кто же тогда порядочные люди? Лиха беда — начало. Одним словом, я аккуратнейшим образом, даже после ночной смены, посещала политзанятия у Евдокии Ивановны, тем более что она все же давала хотя бы отрывочные сведения из недоступных нам свежих газет.

Отчетливо помню одно такое занятие. Мы изучали доклад Молотова. В докладе говорилось о прогрессивном значении гитлеровского режима для укрепления германской экономики. Ликвидирована безработица. Построены новые автостреды. За восемь лет национал-социалистского руководства Германия из страны нищей, раздавленной Версальским договором, превратилась в одно из ведущих европейских государств.

Евдокия Ивановна немного понизила голос и конфиденциально посоветовала нам на данном этапе наших отношений с мощным соседом не употреблять термин «фашисты», а пользоваться выражением «немецкие национал-социалисты». При этом она хитро и добродушно подмигнула нам, давая понять, что такая форма учтивости приносит нам сейчас большие выгоды, о которых наивные гитлеровцы поди и не догадываются.

. . . Так и прошел этот год, самый, пожалуй, спокойный в моем лагерном существовании. В изнурительной, но все-таки выносимой работе. В вонючем волгллом тепле нашего великолепного седьмого барака. В ночных страхах перед этапами. Под эгидой двух решающих сил: УРЧа и КАВЕЧЕ.

А время бежало все стремительней. Приближался июнь сорок первого.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ВОЙНА! ВОЙНА! ВОЙНА!

Весть о ней распространилась, как пожар в тайге.

— Немцы! Фашисты! Границу перешли . . .

— Отступают наши . . .

— Не может быть! Сколько лет твердили: «Своей земли ни пяди не отдадим!»

До утра не спят, гудят эльгенские бараки. Мы точно пробудились от нелепого мучительного сна. Нежданный удар как бы протрезвил нас, и мы оглядываемся вокруг с недоумением.

Почему мы здесь? Зачем с серьезным видом играем в эту дьявольскую игру? Повторяем на поверках: «Статья, срок . . .» Выстраиваемся в очередь, чтобы пройти через вахту? И как это случилось, что мы так измельчали? Так всерьез стали устанавливать порядок получения пайки с горбушкой?

Нет, сейчас мы уже не пыльчики, не возчики с конбазы, не няньки из деткомбината. С необычайной яркостью вдруг вспомнили «кто есть кто» . . . Спорим до хрипоты. Стараемся уловить перспективы. Не свои, а общие. Люди поруганные, истерзанные четырьмя годами страданий, мы вдруг осознаем себя гражданами своей страны. За нее, за нашу родину, дрожим мы сейчас, ее отвергнутые дети. Кое-кто уже раздобыл бумагу и огрызком карандаша выводит: «Прошу направить меня на самый опасный участок фронта. Являюсь членом Коммунистической партии с шестнадцатилетнего возраста . . .»

Точно и не лежит между нашими колымскими бараками и Землей Людей тринадцать тысяч километров и тонны злобы, клеветы, мучительства . . .

— Может быть, ОН опомнился? Ведь сказал «Братья и сестры» . . . Никогда раньше этого не было . . . Может, дрогнуло наконец сердце?

— Вряд ли ТАКОЕ сердце может дрогнуть . . . Но рассудок . . . Рассудок ему подскажет, что нет толку гноить в тюрьмах миллионы людей, готовых голыми руками на фашистов кинуться. Ведь в глубине души знает, кто мы . . .

В эти лихорадочные дни и ночи все больше всего завидовали Маше Миронович. Ее пятилетний срок кончался буквально на днях. И конечно же, Маша поспешит на фронт. Только тревожились, удастся ли ей добраться до своей охваченной пламенем Белоруссии.

— Пробьюсь . . . Я тамошня . . . Где лесом, где бережком . . .

Но однажды вечером, вернувшись с работы, мы застали Машу Миронович лежащей на верхних нарах. Глаза ее были воспалены и устремлены в одну точку. Марья Сергеевна, дневальная, делала всем отчаянные знаки: не выспрашивайте, молчите, пусть отойдет человек . . .

Потом мы узнали: Машу вызвали в УРЧ и дали ей расписаться в том, что она оставлена в лагере до конца войны. Маша оказалась номером первым в списке нового лагерного сословия — так называемых пересидчиков. В течение ближайших шести лет число их все увеличивалось. Сначала они пересиживали свои сроки «До окончания войны», потом просто «До особого распоряжения».

А еще через день на разводе раздался властный голос начальника режима. Команда его на этот раз была не сразу понята нами.

— А ну, все, кто на БЕРГИ, на БУРГИ, на ШТЕЙНЫ всякие — влево давай! Которые вообще там разные Гин-ден-бург-ги или Дит-ген-штейны . . .

Организовывался немецкий барак с усиленным режимом. Началась паника. Начались, как всегда, курьезно-трагические недоразумения. Кричали на Аню Шолохову. Как она посмела укрыться под русской фамилией! Раз она фашистка! Какой там русский муж! Хорош русский — на фашистке женился!

Одна из блатнячек билась в истерике, клянясь, что фамилию Шифмахер она приобрела с последним украденным паспортом. Черт же его знал, что война начнется! Она и выговорить-то путем никогда эту фамилию не могла и всегда говорила просто Шахермахер. А так-то, в натуре, у нее установочные данные — Карякина Ольга Васильевна. Только тот паспорт еще давно был похерен . . . Еще когда первый раз загремела . . . Чего ж вы меня, землячки, в фашистский барак толкаете?

Поскольку режимник сформулировал четко: «Все, кто на БЕРГИ и на БУРГИ», то я механически подпадала под этот



странный признак. Дежурный вохровец-казах, не шибко просвещенный «по-национальному», привязался вплотную:

— Давай, ГинзБУРГ (нешадно ударяя на криминальное окончание!), давай с вещой в немецкий барак!

Хорошо, что удалось убежать в УРЧ, уговорить инспекторшу «поднять дело», установить гражданство и национальность. Елеле отбилась.

Первый раз в мировой истории оказалось выгодно быть еврейкой!

... Наш главврач Евдокия Ивановна, рискуя репутацией, умоляла УРЧ повременить хоть с недельку с нашим снятием с работы. Тщетно! Было уже ясно, что вопреки нашим розовым иллюзиям о всенародном (в том числе и нашем) единстве в защите родины, врагов народа не только не причисляли к народу, но наоборот — в военных условиях режим мест заключения резко ужесточался. Нам, по нашим статьям, полагалось работать только на общих подконвойных тяжелых наружных работах. Главврачу предлагалось обходиться услугами уголовных. Напрасно Евдокия Ивановна со слезами доказывала, что этих бандиток к детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. Вольные? Да ведь всего три вольных медсестры на весь деткомбинат...

Но УРЧ твердо стоял на своем. Террористов, диверсантов, шпионов — под неусыпный конвой! Неужели главврач не понимает? Война ведь, война!

Прощай, деткомбинат, моя тихая заводь! Уже на третий день войны нас всех снимают «по статьям». Срочно, до оформления этапов на отдаленные лесные точки, из нас создают полевую бригаду. В производственном смысле она никому не нужна, и Полевой Стан не знает, чем занять нас. Но это неважно. Важна подконвойность. Бдительность конвоиров возросла на сто процентов. Нас непрерывно пересчитывают, переставляют «по пяти!», проверяют у с т а н о в о ч н ы е д а н н ы е. В промежутках мы что-то такое пропалываем или окучиваем под неистовыми таежными лучами, отражая атаки комариных полчищ.

— Накмарники выдайте! Сил больше нет!

— Где их взять-то! Ничего, обойдетесь... Не до вас теперь... Сколь сейчас лучших людей каждый день ни за что пропадает, а уж вы-то...

И Федя-татарин, конвоир, раньше славившийся своим добродушием, смотрит на нас таким взглядом, точно это именно мы пустили гитлеровские шайки на поля Белоруссии.

Через несколько дней такой, с позволения сказать, работы на Полевом Стане наши руки и лица превращаются в сплошной расчес, в страшные опухоли, нагнаивающиеся от пыли, зудящие до того, что хочется выть вслух.

По ночам — обыск за обыском. Только успеешь сомкнуть воспаленные веки, как хлопает барачная дверь и врывается, заполняя собой все пространство, зычный голос Лидки-пом-старосты.

— Встать! Строиться! — и уже потише, как бы с ремаркой «в сторону»: — Давайте, бабы, давайте быстро . . . Шмон, шмон, великий шмон . . .

Мы выстраиваемся шеренгой вдоль нар, а вохровцы и блатнячки из старостата бросаются на наши нары, нижние и верхние. Погром! Можно бы сказать — пух летит! Но пуха нет. Уже четыре года мы спим только на узлах и на соломе. Зато беспощадно изымаются так называемые личные вещи, и даже те, что официально получены в посылках. В помойку летят все изобретения нашего технического гения: самодельные котелки и сковородки. Еще чего выдумали — стряпать тут! До основания разрушается та кустарная оседлость, которую с такой неистребимой женской изобретательностью создала себе каждая на своих досках.

— Фотографические карточки? Запрещено! Вышивки на мешковине? Не разрешается! Собственная ложка? А откуда вы ее взяли? Нет тут у вас ничего собственного!

Так сталкивались в неразрешимом конфликте два встречных потока мыслей и чувств, два типа реакции на войну.

Мы готовы все забыть и простить перед лицом всенародного несчастья. Будем считать, что ничего несправедливого с нами не сделали. Только дайте нам хоть теперь не сидеть здесь на потеху садистам, на убажнение параноиков. Пустите на фронт! Ведь война! Ведь фашисты!

Наши тюремщики: закрутить режим! На уничтожение! Какие сейчас могут быть церемонии с врагами народа! Ведь война! Ведь фашисты!

Тут действует, видимо, инерция клишированных формул, вбиваемых в головы с детства. «В ответ на вылазку того-то усилим то-то» или: «Никакой пощады врагам . . .» А каким врагам — потом выяснится . . . По непостижимой схоластической аргументации ненависть, адресованная гитлеровцам, проливается на нас. Ведь тех врагов, которые все глубже с каждым днем врезаются в просторы России, отсюда, с Колымы, не видать. А эти, замороженные «враги народа», под рукой. Раззудись же, плечо, замахнись, рука!

КАВЕЧЕ почти свернуло работу. Нам сейчас не передают писем из дома, не читают даже прошлогодних газет. Да, нам ничего не сообщают, но удивительно — откуда-то мы все равно узнаем о событиях. И самое страшное в нашей страшной жизни — это

названия городов. Они поджидают нас в бараке, когда мы, полуживые, возвращаемся с Полевого Стана.

Смоленск. Минск. Киев. Господи, неужели Ростов? Не может быть! Но оно есть. Тоже безумие. Другой аспект безумия, которым так щедро одаряет нас этот выпавший на нашу долю век.

По ночам мы с Леной все-таки продолжаем читать друг другу стихи. Шепчемся на верхних нарах, хоть на нас и покрикивают. Теперь чаще всего повторяем Блока:

*И век последний, ужасней всех  
Увидим вы и я.  
Все небо скроет черный грех,  
На всех устах застынет смех...  
Тоска небытия...*

Блок предчувствовал. А нам выпало — увидеть.

Наряду с правдивой информацией, проникающей в лагерь неизвестно откуда, возникают и фантастические слухи-выдумки, так называемые «парашаи».

— Слыхали? Колыму продают Америке!

— С людьми или без людей?

Возможность торговли людьми — в частности, нами — никого не поражает.

— Хорошо бы с людьми!

— Бросьте чушь молоты!

— Почему чушь? Китайскую железную дорогу ведь продали... Без людей, правда.

И уже готов страстный спор между теми, кто мечтает о спасении любой ценой, и теми, кто, черт с ним, хоть подохнуть, да дома... Подытоживает голос скептика:

— Не спорьте! Разве непонятно: если бы такое и было, то перед такой акцией нас всех выведут в расход... Мы слишком много знаем, чтобы нас продавать за границу...

Кроме общего горя страны, которое мы, отверженные, переживаем еще острее еще изумленнее, чем другие, у каждого теперь есть еще свой собственный ужас. Дети! Наши дети! Ведь в этой обстановке растопчут прежде всего их, наших сирот...

У многих семьи в тех городах, которые уже заняты фашистами. Пройдет некоторое время, и мы узнаем, что гитлеровцы расстреляли в Ростове четырнадцатилетнюю Ларочку, дочку нашей соседки по нарам. Фотографией этой удивительной красавицы мы всегда любовались, а когда мать читала нам вслух ее письма — заслушивались. Надо же, при такой наружности еще и душа такой редкостной красоты. Ларочку — полукровку, полуукраинку, полуеврейку — расстреляли по доносу ее школьной подружки, ревновавшей Лару к однокласснику.

Теперь все чаще между названиями городов я слышу слово, которое откликается во мне самым кровным, самым раздирающим. Ленинград. Алеша. Первенец мой.

Нет, это мне не кажется задним числом. Я знала, что потеряю его. Никогда не говорила себе этого словами, но всегда ощущала безошибочностью инстинкта. Он был еще жив в эти первые месяцы войны, а я уже стыла от отчаяния и сверлила темноту ночного барака бессонными глазами. Не в силах была от этой угрозы пальцем пошевелить. Коченела, как мертвая. Знала.

Днем я стараюсь быть, что называется, разумной. Ведь нам всегда кажется, что разумно именно то, что заглушает единственно верный нутряной пророческий голос. Я выслушивала утешения товарищей. Конечно, он не успеет попасть на фронт. Ведь ему еще нет и шестнадцати. Война кончится. И от себя добавляла вслух, что мои ленинградские родственники, приютившие Алешу, хорошие, солидные люди. Они, конечно, сделают все, чтобы вовремя эвакуировать мальчика. Так говорила и старалась думать днем. Но по ночам твердо знала, что еще и эта главная казнь моей жизни уготована мне, и вот он настанет, час ее исполнения.

... Однажды мимо Полевого Стана, где мы что-то пропалывали, прошла вольная медсестра из деткомбината. Эта Анечка — колымский вариант людоедки Элочки Шукиной — прибыла сюда за «длинным рублем», чтобы в дальнейшем посрамить своими туалетами если не дочку Вандербильда, то уж во всяком случае всех модниц своего родного города Бузулука.

В либеральные довоенные времена Анечка иногда приходила ко мне на мое ночное дежурство в изоляторе деткомбината и с пристрастием расспрашивала, как, мол, там, на курортах, ответственные дамы одевались-то? Поскольку сама Анечка дальше Бузулука нигде не бывала. При всем том Анечка была очень добра, чувствительна, легко плакала от жалости к больным детям и их злополучным матерям, совала кормящим «мамкам» куски сахара и конфеты. Мне она всегда оказывала неоценимую услугу: переправляла мои письма к маме «через волю». (Мама была моим единственным адресатом. Детей, сестру я не хотела компрометировать «связью с репрессированной».)

Я оглянулась. Конвоир далеко. Бросилась к Ане.

— Анечка, родная! Дайте маме телеграмму! Ведь она там сейчас умирает от тревоги. И спросите ее, где Алеша. Анечка!

— Что вы! — Жест древнеримской матроны. Возмущенное подрагивание мочальных крашенных кудряшек. — Что же я не советский человек, что ли! Такая война, а я буду врагам народа помогать...

Но пройдя мимо меня всего несколько шагов, Аня вдруг обращивается, возвращается ко мне и . . . Простецкая бузулукская деваха берет-таки верх над римлянкой, только что получившей на занятиях по политграмоте урок высоких гражданских добродетелей.

— Не плачьте! Пошло! Адрес помню. Беда мне с вами . . . Сам черт не разберет, кто тут плохой, кто хороший . . .

. . . У вахты, на разводе, блатнячка Лелька, которую толкнул и, не рассчитав удара, сбил с ног молодой здоровенный конвоир, закричала, истерически взвизгивая на верхних нотах:

— Служишь Советскому Союзу, падла? Там люди кровь проливают, а ты тут баб лупишь да бабы подолы стережешь, вояка! Ишь ряшку-то отъел, падлы кусок!

Лельку тут же утащили в карцер. Но конвоир просто дрожал от оскорбления. Лицо его пошло пятнами. Он даже испытывал потребность оправдаться перед такими никчемными свидетелями этой сцены, как мы.

— Подтянись, говорю! — зверским голосом вопил он, шагая вдоль нашего строя. — Подтянись, говорю, бес вас навязал на мою шею. Сдались вы мне, чтобы я стерег вас, выроdkов! Сто разов просился на фронт, так ведь не пуцают!

Приближалась осень, начинался сезон лесоповала. Если до войны при отборе на эту тяжелую работу еще могла играть какую-то роль лагерная медицина, спасавшая иногда самых ослабленных, цинготных, то теперь забирали поголовно всех, только «по статьям».

Мне выпала на этот раз отдаленная таежная точка Сударь. Говорили, что там валят не обычный лес, а строевой. Рассказывали, что там у женщин из прежних этапов от непосильных подъемов тяжестей выпадение матки стало самой повседневной болезнью, вроде легкого гриппа. Но был среди этих толков и один хороший слух: командиром ВОХРы туда назначен Артемов, добрый человек.

— Это вохровец-то добрый?

— А что, не бывает разве?

Но споры теперь увядали, не разгоревшись. Не седьмой вагон. Уже нет сил языком шевелить. Помалкиваем. Бредем своим строем загробных теней именно так, как я сочиняла в своих стихах о Колыме:

*И я бреду в толпе других невольниц,  
Как персонаж с картины Кете Кольвиц,  
Сутулая спина и мертвый взор . . .*

## СОРОК ДЕВЯТЬ ПО ЦЕЛЬСИУ

Сорок девять — это самое худшее, что только может быть. Потому что только начиная с пятидесяти вводится в действие официальный гуманизм санчасти. Пятьдесят градусов мороза — это уже активированный день, на работу в лес идти не надо. Но попробуй добиться у вохровца по прозвищу Веснушчатый признания того, что да, это именно пятьдесят, а не сорок девять!

Градусник висит на черной бревенчатой стене вохровского барака. Он кажется анахронизмом. Как будто общая мировая катастрофа уже произошла, а на земле — снова первобытной, изначальной — случайно уцелел этот обломок погибшей цивилизации.

— Ну посмотрите! Вот с этой стороны взгляните! Ясно видно — пятьдесят, — говорю я, поднося спичку к мерцающему ртутному столбику. Веснушчатый, хрустя новым белым дубленным полушубком, подходит ближе, высекая огонь из зажигалки.

— Аккурат сорок девять!

Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль . . . Ежедневно жизнь начинается для меня именно с этого диспута: сорок девять или пятьдесят? А пайки все меньше и меньше. Уже по первой категории, по самой высокой лесоповальной выработке, четыреста граммов. А кто ее выработать может, первую-то категорию? Еле на ногах стоим.

Мороз и голод. Голод и мороз. Пожалуй, это была самая черная, самая смертная, самая чумная из всех моих лагерных зим.

А ведь мне еще сравнительно с другими здорово повезло. При отправке нашего сударского этапа из центральной эльгенской зоны, уже в самый последний момент, когда Мария Сергеевна со слезами провожала нас, прибежала Лидка-помстаросты и передала мне от УРЧа, что я там буду только на половинной норме. Дров напиливать только полдня, да и то для отопления барачков, помещения охраны, кухни и амбулатории. А вторую половину дня — лечить. Поскольку больше никаких медперсон среди нас нет, а я за год работы в деткомбинате с врачами уже наверняка выучилась на лекпома. Вот и пусть по вечерам больных принимает. Да пусть спасибо скажут, поскольку она тюрзак, а время военное, кантоваться да рассиживаться в амбулаториях не приходится.

Вот почему я и допущена к ежедневному препирательству с Веснушчатым. Акт о невыводе зэка на работу по случаю активированного дня должен быть подписан вохрой, бригадиром и

представителем медицины. А погодой в нашей усиленной вохре, состоящей из семи солдат, ведает как раз Веснушчатый. Командир наш (его мы называем настоящей фамилией — Артемов, потому что он действительно добрый парень) сам знает, что для такого дела он малость мягковат. Вот и назначил Веснушчатого. А уж тот признает пятьдесят не раньше, чем увидит минимум пятьдесят три.

Сударь в восемнадцати километрах от эльгенской центральной зоны. И он сказочно красив, этот уголок девственной тайги. Величественный строевой лес, устремляющий кроны прямо к звездам. Таежная река, своевольно опрокинувшаяся против высокого неба, сильная даже под сковавшим ее льдом. Сопки как изваянные. По ночам небо пламенеет созвездиями, какими-то нестерпимо древними, переносящими в начало начал.

И главное — он полон топлива и пищи, наш Сударь, где мы умираем от голода и холода, где мы подыжаем, доходим, догораем, доплываем, дубаря даем... То и дело мимо нас пробегает, переваливаясь, ослепительно белые куропатки, с деревьев доносится уханье глухарей. Река полна рыбы местных пород: хариусы, каталки, даже омули. Стоят в снежном убранстве непроходимые заросли смородинных и малиновых кустов, кедровых орешков. Если бы уметь, если бы сметь принять ту пищу, что предлагает тайга.

Но мы не умеем и не смеем. Даже вохровцам недосуг заняться охотой или рыбной ловлей. У них дел по горло. Им надо гонять, таскать, пересчитывать, отчитываться, бояться приездов начальства. Да и как не бояться! Ведь не угадаешь! Если застанут теплонатопленные бараки, а в них жилые съедобные запахи, — могут скривить губы и зловеще бросить: «Уютно устроились! На фронтах лучшие люди гибнут, а тут... курорт!» Но с другой стороны, не исключено, что, застав ледяные оползни в углах бараков, несколько человек больных доходяг, стонущих на нарах под грудой лохмотьев, могут вдруг заорать совсем в другом ключе: «Как мухи мрут тут у вас! Архив «А» разводите! Интересно, кто план выполнять будет, если все передохнут? Пушкин?» И тут же опять-таки помянут тех лучших людей, гибнущих на фронтах, теперь уже с явным намеком на тех, «кто окопался тут баб сторожить», отсиживаться от войны в теплых вохровских бараках...

Впрочем, о бараках здесь можно говорить лишь очень условно. Только вохровская хата еще на что-то похожа. А наше жилье — это две хижины, обросшие льдом, засыпанные снегом, покосившиеся, с дырами в потолке. Каждый день затыкаем эти дыры заново лохмотьями от старых с п и с а н н ы х бушлатов. Трясущаяся от всякого порыва ветра х а в и р к а — это кухня.

Что касается «амбулатории», то она прилепилась сбоку к бревенчатому вохровскому домишке, тоже основательно продувному. Вот и вся сударская командировка, становище печенегов...

В амбулатории я провожу только три вечерних часа, когда работники возвращаются из леса. Смазываю йодом ссадины, выдаю аспирин «от головы» и салол — «от живота», накладываю ихтиоловые повязки на фурункулы и повязки с рыбьим жиром на отмороженные места. Кроме того, выдаю по ложке рыбьего жира внутрь. Выдаю из собственных рук, вливаю собственноручно в благоговейно раскрытые рты. Я священнодействую, замирая от страха — не пролить бы хоть каплю вожделенной жидкости, в которой материализованы все наши надежды на жизнь.

Эта процедура — источник нескончаемых сомнений и мучительных раздумий для меня. Дело в том, что рыбий жир выдается только на «резко ослабленных», примерно на половину состава. Но как отобрать? Как будто здесь есть не резко ослабленные! И я решаю этот вопрос вопреки партийным установкам о недопустимости уравниловки. Пусть по неполной ложке, но всем! На сколько уж хватит. А там... Загадывать даже на день вперед нам не приходится.

Этим моя медицинская практика исчерпывается. А весь день, с шести утра, я работаю пыльщиком. На свежем воздухе при температуре по Цельсию и по Веснушчатому — сорок девять. Пилую, пилую, пилую... Даже во сне передо мной продолжают мелькать баланы, толстые и тонкие, тяжеленные и полегче, сучковатые и гладкие. Дров надо много. Особенно для вохры. Они тепло любят.

Но разве можно сравнить мою пилку с той, что в тайге! Во-первых, у меня козлы, крепко придерживающие балан. Во-вторых, мне только распиливать, не валить с корня, не складывать штабелями. А главное — у меня жильё рядом. В любой момент могу зайти в барак и погреться не у костра, клубящегося черным смолистым дымом, а у железной печки.

Да, я привилегированный человек. Он действительно спас меня, милый доктор Петухов, сделав медперсоной. Дай ему бог забыть, что есть на свете Колыма!

Тем острее ощущение моральной ответственности, долга перед моими товарищами, которые в данный момент несчастнее меня. До спазм в глотке сражаюсь с Веснушчатым за активровку дней.

— Пятьдесят!

— Аккурат сорок девять!

— Пятьдесят! Буду жаловаться в санчасть...



— Хо-хо . . . Напужала! Вот подам рапорт, так сама на общие загремишь.

На освобождение работяг от работы по болезни лекпом с пущена строгая норма. Ко мне уже дважды приезжал с инспекцией начальник санчасти Кучеренко, и между нами происходили удивительные диалоги.

— Который лекпом превышает норму бюллетеней, тот недолго прокантуется в санчасти, — многозначительно говорит Кучеренко, поднимая на меня свои тяжелые, обожженные морозом веки. — Сейчас «Все для фронта» — л о з у н г (с удалением на У.)

— А от полумертвых людей какая фронту польза, гражданин начальник? Только архив «А» разводить. А за него ведь тоже не похвалят.

— Гм . . . А д и а г н о з зачем всем пишете «алиментарная дистрофия»? Или других болезней у вас тут нет?

— А я вообще мало диагнозов знаю, гражданин начальник, — с подкупающей доверительностью отвечаю я, — моему, это все от голода. Ну, а по-латыни это называется алиментарная дистрофия.

Странно, но это так и было. Других болезней почти не наблюдалось. Ни воспалений легких, ни острых бронхитов, ни гриппов, казалось бы таких естественных при двенадцатичасовом рабочем дне на морозе. Никаких тифов . . . Только фурункулы и трофические язвы. Только шатающаяся, почти без центра тяжести, походка. Только воспаление десен и зубы, которые можно вынимать изо рта просто пальцами.

И я действую примитивно, исходя все из той же уравниловки. Нам она сейчас больше всего подходит. В порядке очереди — и все тут. Каждый вечер, после отбоя, я захожу в барак и, соблюдая строгий порядок и последовательность, наклоняюсь то к одной, то к другой скрючившейся на нарах фигуре.

— Надя, завтра вы не работаете. Вы завтра больны. И вы, Катя, тоже.

Потом несу бумажку со списком освобожденных от работы на завтра в вохру, к командиру Артемову. Он, оглянувшись на своих служах, притворно строго покашливает.

— Многовато что-то освобожденных-то . . .

Потом набрасывает на плечи полушубок и так же строго добавляет:

— Пройдемте по баракам. Санитарное состояние проверим . . .

Мы выходим с ним из духоты их жилья, провонявшего махоркой, овчиной, грубым жирным варевом. Мы выходим под волшебный звездопад зимней таежной ночи. В целомудренную белизну

ее снегов. Идем тихонечко по дорожке, протоптанной от вохровского домика к баракам рабочих. И начинается разговор, в котором только обращения «командир» и «лекпом» напоминают о том, где мы находимся.

— Беда, лекпом! Под Москвой ведь Гитлер-то!

— Но не пройдет ведь, а? Скажите, командир, не пройдет?

— А бес его знает! Не должны бы вроде пустить... А вот проснусь среди ночи — да так и захохоту весь. Мыслимо ли? Ведь двадцать пять лет советской власти... Как думаешь, лекпом, союзникам-то доверять можно?

Его тревога, смятение, боль рвутся наружу, и нет им выхода в обществе Веснушчатого или вечно гогочущего Монгола. И происходит неслыханное, подрывающее все основы: делится он своей неизбывной тревогой с женщиной из загадочного племени «врагов народа». В великом своем страхе за страну, перед угрозой крушения незыблемого, он, простой, умный и добрый человек, доверяет теперь своей интуиции больше, чем казенным инструкциям.

Мы тихонько шагаем по узкой тропке между высоких ослепительных сугробов и вдруг замечаем, что небо над нами пылает.

— Смотрите! Северное сияние!

Оно оказалось совсем некрасивым жидким красноватым заревом. А на фоне его — сполохи, сполохи, беспорядочно пульсирующие огни.

Перед тем как зайти в барак и натянуть на лицо непроницаемую маску, командир вохры Артемов задумчиво резюмирует:

— Я так думаю: кто эту зиму перезимует — хоть здесь, хоть там, под Москвой, — тот уж жив останется. Верно?

Не знаю. Сама каждый день консультируюсь на эту тему — можно ли пережить такую зиму — с настоящим квалифицированным врачом, с Ольгой Степановной Семеняк. Она недавно этапирована сюда, к нам, на общие работы. Сурово покарала ее начальник ОЛП Циммерман. За то, что, являясь врачом центральной эльгенской зоны, Ольга Степановна тайком посещала молитвенные собрания религиозниц в лагерной кипятилке. Это были сектанты, адвентистки седьмого дня.

Ассистент Харьковского мединститута, Ольга Степановна в практической лагерной жизни — дитя малое. Ей и десятой доли сударской лесоповальной нормы не выполнить. А это — голодная смерть. Спасаем ее все вместе, как можем. Крохами хлеба, частыми «бюллетенями».

— Ну как, Ольга Степановна? Выживем?

— Гм... Вообще-то... Трофическое голодание... Рас-

стройство всех функций... Глубокое нарушение белкового обмена...

— А все равно не похожи на умирающих. Послушайте, как разговаривают, как мыслят...

Ольга Степановна в ответ цитирует библейское — о немощной плоти и бодром духе. Да, как это ни странно, но дух если не бодр, то во всяком случае деятелен. Вопреки разрушению организма, внутренняя жизнь шла активно. Писали интересные содержательные письма домой, пряча их под соломенные матрацы до лучших времен, когда представится возможность отослать не через лагерь. Жадно ловили обрывки вестей с фронтов, доходившие через вольных — бывших эков — трелевщиков леса и возчиков. Читали наизусть и даже сочиняли стихи. Шутили!

— Девочки! Загадка! Чем отличается от всех нас Катя Кухарская? Не знаете? Ну присмотритесь внимательней! Мы все похожи на русских нищих, на калик перехожих, а Катя — на чехословацкого нищего. (У Кати была какая-то фантастическая душегрейка-жилеточка, придававшая ей, видите ли, «западноевропейский вид».)

... Голод. Хлебная пайка с каждой неделей становится миниатюрнее и соблазнительней. Если оставить половинку на утро (а пайки выдают вечером), то не заснешь всю ночь. Не даст она заснуть, будет жечь тебя из-под соломенной подушки. Точно на динамите лежишь. Все будешь ждать — скорей бы утро, чтобы уже можно было ее съесть. А если съесть всю с вечера, то как утром, голодная, дотащишься до своей пилы?

Некоторые из нас как-то приноровились к постоянному голоду. Точно ссохлись. Другие переносят более мучительно, находя разрядку в страстных скандалах по поводу «неправильного веса пайки», а то и в судорожных попытках найти нечто съестное на стороне.

Иногда происходило страшное. Помню один непроходимо темный беззвездный вечер. Вдруг рывком открылась дверь «амбулатории» и ввалилась, упав сразу на деревянный топчан, женщина с потемневшим искаженным лицом. Я еле узнала ее. Одна из наших. В руках у нее было чудо — буханка черного хлеба. Она с размаху бросила ее на сбитый из трех досок стол.

— Ешь! Не могу я... Хоть ты наешься один раз досыта!

— Откуда? Что с тобой? — расспрашивала я, уже догадываясь о чем-то непоправимом.

Долгие сотрясающие рыдания. Потом истерический хохот.

— Ах, вот беда с интеллигентщиной-то, вот беда! Ведь и трагедии-то никакой нет, верно? Другие ведь так зарабатывают свой хлеб. Ну и я з а р а б о т а л а... Чем? А тем, чем тысячи других женщин зарабатывают, когда ничем другим нельзя. В об-

щем, шел мужик тайгой. А я одна пилила, напарница больна, ты знаешь. И конвой как раз далеко был. Какой мужик-то? Не знаю, не заметила. Я все на хлеб смотрела. Он вынул из мешка и показал мне. На снег прямо положил буханку. Глаз отвести не могла. А теперь вот почему-то не могу есть.

Я вливаю ей в рот огромную дозу брома. Глажу ее по голове. А сказать ничего не могу, точно онемела. Вспоминаю ее в этапе, в седьмом вагоне. Веселая была, кудрявая, все радовалась, что успела до ареста кандидатскую защитить.

Обнимаю ее за плечи и веду в барак. Надо уложить ее поскорее, пусть забудется. После истерического взрыва она ослабела, еле бредет. Тропинка от амбулатории к бараку очень узенькая. А по бокам, как стены, синие окаменевшие снега. Мы скользим, сбиваемся с шага.

Тучи над нашими головами вдруг расступаются, и мы видим далеко в вышине окоченевшие, продрогшие звезды. Звезды Сударя.

Мороз . . . Сорок девять по Цельсию . . .



## СОДЕРЖАНИЕ

А. Аксенова. О матери . . . . .	4
---------------------------------	---

### Часть I

Глава 1. Телефонный звонок на рассвете . . . . .	7
Глава 2. Рыжий профессор . . . . .	8
Глава 3. Прелюдия . . . . .	10
Глава 4. Снежный ком . . . . .	13
Глава 5. «Ума — палата, а глупости — саратовская степь...» . . . . .	17
Глава 6. Последний год . . . . .	21
Глава 7. Счет пошел на миги . . . . .	24
Глава 8. Настал тридцать седьмой . . . . .	27
Глава 9. Исключение из партии . . . . .	30
Глава 10. Этот день . . . . .	31
Глава 11. Капитан Веверс . . . . .	35
Глава 12. Подвал на Черном озере . . . . .	38
Глава 13. Следствие располагает точными данными . . . . .	43
Глава 14. Кнут и пряник . . . . .	46
Глава 15. Ожившие стены . . . . .	50
Глава 16. «Простишь ли ты меня?» . . . . .	54
Глава 17. На конвейере . . . . .	59
Глава 18. Очные ставки . . . . .	62
Глава 19. Расставанья . . . . .	69
Глава 20. Новые встречи . . . . .	70
Глава 21. Круглые сироты . . . . .	79
Глава 22. Тухачевский и другие . . . . .	83
Глава 23. В Москву . . . . .	88
Глава 24. Этап . . . . .	91
Глава 25. Бутырское крещение . . . . .	96
Глава 26. Весь Коминтерн . . . . .	103
Глава 27. Бутырские ночи . . . . .	107
Глава 28. С применением закона от первого декабря . . . . .	110
Глава 29. Суд скорый и праведный . . . . .	115
Глава 30. «Каторга! Какая благодать!» . . . . .	118
Глава 31. Пугачевская башня . . . . .	122
Глава 32. В столыпинском вагоне . . . . .	127
Глава 33. Пять в длину и три поперек . . . . .	130
Глава 34. Двадцать две заповеди майора Вайнштока . . . . .	135
Глава 35. Светлые ночи и черные дни . . . . .	137

Глава 36. «Собака Глана» . . . . .	141
Глава 37. Подземный карцер . . . . .	145
Глава 38. Коммунисто итальяно... . . . .	149
Глава 39. «На будущий — в Ерусалиме!» . . . . .	153
Глава 40. День за днем, месяц за месяцем . . . . .	156
Глава 41. Глоток кислорода . . . . .	160
Глава 42. Пожар в тюрьме . . . . .	162
Глава 43. Второй карцер . . . . .	165
Глава 44. Мы вспоминаем Джордано Бруно . . . . .	168
Глава 45. Конец карлика-чудовища . . . . .	170
Глава 46. Время больших ожиданий . . . . .	175
Глава 47. Баня! Просто обыкновенная баня! . . . . .	179
Глава 48. На развалинах нашего Шлиссельбурга . . . . .	182

## Часть II

Глава 1. Седьмой вагон . . . . .	185
Глава 2. «Разные звери в божьем зверинце» . . . . .	189
Глава 3. Транзитка . . . . .	223
Глава 4. Пароход «Джурма» . . . . .	238
Глава 5. «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть...» . . . . .	244
Глава 6. На легких работах . . . . .	250
Глава 7. Эльген — по-якутски «мертвый» . . . . .	268
Глава 8. На лесоповале . . . . .	274
Глава 9. Спасайся кто может! . . . . .	278
Глава 10. Здесь жили дети . . . . .	284
Глава 11. «Ветерок в кустах шиповника...» . . . . .	290
Глава 12. Между УРЧем и КАВЕЧЕ . . . . .	296
Глава 13. Война! Война! Война! . . . . .	302
Глава 14. Сорок девять по Цельсию . . . . .	309

Евгения Семеновна Гинзбург  
КРУТОЙ МАРШРУТ  
Хроника времен культа личности  
Том 1

Редактор В. Дозорцев.  
Техн. редактор В. Ирбе.  
Корректор Л. Соколовская.

Подп. к печ. 17.04.89. ЯТ 00122. Форм. бум. 60х90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта Таймс. Печать офсетная. Печ. л. 20,0. Усл. печ. л. 20,0. Усл. кр.-отт. 20,25. Уч.-изд. 21,0. Тираж 50 000 экз. Изд. № 9328. Зак. 835. Цена 3 р. 50 к.

Издательство ЦК КП Латвии кооператив „Курсив”  
226081, Рига, Баласта дамбис, 3  
Творческая фотостудия Союза журналистов Латвийской ССР  
226050, Рига, Марсталю

Отпечатано в Московской типографии № 6 Госкомпечати СССР  
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.  
По заказу издательства „Советский композитор”



**Гинзбург Е.**

**Г 492 Крутой маршрут: хроника времен культа личности: том 1. — Р.: Издательство ЦК КП Латвии, «Курсив» — Творческая фотостудия Союза журналистов ЛССР, 1989. — 318 с.**

Широко известная во всем мире, эта книга начинает свой путь к читателям нашей страны. Драматическое повествование о семнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок потрясает своей беспощадной правдивостью, вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломили эти страшные испытания. «Крутой маршрут» — документ эпохи, которой больше не должно быть места в истории человечества. Книга предназначена для широкого круга читателей.

**Г ~~0503020000—838~~ 89**  
**М 801(02)—89**

**63.3(2)72**

3 руб. 50 коп.